Новый Журнал

131
THENEW
REVIEW

THE NEW REVIEW HOBЫЙЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942 С 1946 по 1959 редактор М. Карпович С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать седьмой год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. АНДРЕЕВ и РОМАН ГУЛЬ (главн. редактор) Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1978

Quarterly No. 131
2700 Broadway, New York, N. Y. 100025
Subscription Price \$20 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию 5
<i>И. Елагин</i> — Стихи
Ю. Кротков — Бабушка Граня
Г. Андреев — Минометчики 54
<i>И. Чинов</i> — Стихи
Д. Святополк-Мирский — O современной русской поэзии
(Публ. Г. Струве и послесловие Дж. Смита) 76
<i>А. Головина</i> — Стихи110
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи116
А. Величковский — Стихи116
воспоминания и документы:
А. Бахрах — По памяти, по записям. Разговоры с Буниным117
Неопубликованные воспоминания А. Вырубовой145
В. Розанов — Последние листья
<i>Н. Андреев</i> — Бунин о Л. Андрееве
<i>А. Столыпин</i> — Конница Буденного214
·
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:
А. Авторханов — Кузницы мастеров власти219
М. Гардер — О международном положении и тенденциях его
развития242
ПАМЯТИ УШЕЛШИХ:
<i>И. Балуев</i> — Проф. Н. С. Арсеньев
<i>Прот. К. Фотиев</i> — В. С. Варшавский271
<i>Ю. Иваск</i> — О. А. Мочалова
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: Библиотека имени Гоголя в
$\mathit{Pume} \mathit{Дp}. \; \mathit{B}. \; \mathit{\mathcal{I}} K$ нига русского ученого. $-\mathit{P}. \; \mathit{\Gamma} O$
неприличии и оглоблях. — Тайная агентура СССР 279

БИБЛИОГРАФИЯ: M. Paee — G. Putnam. Russian Alter-	
natives to Marxism. Ю. Иваск — Алэн Прешак. Совет-	
ская литература. Дж. Болт — Игорь Голомшток и А. Гле-	
зер. Советское искусство в изгнании. С. Крыжицкий —	
Устами Буниных, под ред. М. Грин. Т. Петровская —	
И. Сабурова. Королевство. Е. Климов — Пушкинский Пе-	
тербург. Г. Струве — Э. Штейн. Поэзия русского рассеяния	288
А. И. Солженицын. Расколотый мір.	
Речь на ассамблее Гарвардского университета	305
А. И. Гинзбург. Биографическая справка	

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ГЛАВА І

Вступление

Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи у власти, сказал о французских эмигрантах: "родину нельзя унести на подошвах сапог". Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет. Многие французские эмигранты — Шатобриан, герцог Энгиенский, Ришелье и другие, у кого была память сердца и души, сумели унести Францию. И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний — "Я унес Россию".

Под занавес я хочу рассказать о моей почти шестидесятилетней жизни за рубежом. Это будут некие мемуары d'outre tombe, ибо я начал работать над этим рассказом в 1977 году, когда достиг Мафусаилова возраста. Удастся ли закончить? Только Бог знает. Замогильные мемуары я хочу начать с очерка

Откуда есть пошли Гули.

Будучи подростком я был обуреваем "множеством страстей": в гимназии игра "в перышки"; на нашем большом дворе — в лапту и чушки (рюхи); потом — бильярд; кроме того я "водил голубей" (страстный был — и остался — голубятник); потом — собаки;

Это — вводная глава книги "Я унес Россию". Р.Г. Copyright by The ew Review, ew York, 1978.

потом — лошади рысистые и верховые. Между прочим, я любил родословные и лошадей и людей. Это тоже была страсть. Конские "аттестаты" вызывали во мне какое-то "волнение", похожее на волнение при игре в карты. Странно, но это так было. Я с увлечением перечитывал длинные листы плотной, приятной бумаги, исписанные каллиграфическим почерком: — "Волга — от Потешного и Летуньи. Потешный — от Кролика и Волнистой. Летунья — от Крепыша и Бури. И т.д. и т. п.". Сходное чувство было у меня и к людским родословным. Хотя тут, конечно, примешивались и чувствования более сложные.

Мальчиком я во все глаза глядел, когда дед Сергей Петрович Вышеславцев (отец мамы) иногда (редко) показывал мне родословное древо дворян Вышеславцевых. И я узнавал, что вышли они из Литвы при Василии Темном. Дед рассказывал, что один из Вышеславцевых, воевода, при Иване III усмирил Новгородское восстание. Широко разветвленное древо, усеянное множеством кружочов, вызывало чувство ухода в тайну моего собственного бытиж, в исток рода, в ощущение, что моя маленькая жизнь как-то связана со всем множеством кружочков этого развесистого древа.

Бабушка Марья Петровна, уродженная Ефремова, происходила, как и дед, из небогатых дворян, но не Керенского, а Краснослободского уезда Пензенской губернии. Если бы я писал о детстве (а не воспоминания об эмиграции), я бы много написал о Марии Петровне, которую люблю до сих пор. Но я об этом не пишу.

Любил я слушать рассказы об отце деда. Он, оказывается, был в хозяйственном смысле никчемушний помещик. Почти все свое имение в Керенском уезде он пропустил (что во мне вызывало к нему какое-то умиление, мне нравились помещики, пропускавшие свои имения). Деду он оставил всего 200 десятин, да брату деда столько же. Но и брат деда, Митрофан, всё свое тоже пропустил, как и отец. Дед говаривал, что Митрофана "ограбил купчишка Самошка Сударев". Этот Самошка обобрал Митрофана так, что Митрофаново имение все перешло к Самошке, а Митрофан спился.

У деда характер был иной. Смолоду он пошел служить по земству. Почти всю свою жизнь был председателем Керенской земской управы, неким самодержцем уезда. Иногда бывал предводителем дворянства. Но этого поста не любил: хлопотно, приемы, поездки и пр. Я описал деда в "Коне Рыжем".*

Но насколько в роду Вышеславцевых и Ефремовых все было ясно, настолько происхождение Гулей для меня было окутано туманом. И никто никогда мне — мальчишке — этот туман прояснить не хотел. "Ах да отстань, Рома, со своими глупостями".

Только после смерти отца, разбирая его бумаги, в ящиках громадного резного орехового письменного стола я нашел старинную, свернутую в трубку бумагу: свидетельство о крещении младенца Карла в протестантской церкви в Царском селе. В свидетельстве было указано, что младенец внебрачный и что родители его: отец — ротмистр Ея Величества Кирасирского полка,* светлейший князь Иосиф Иосифович Вреде, а мать — Каролина Гуль. Были указаны и восприемники. Помечен документ был 1834 годом.

"Туман Гулей" для меня рассеялся, и об этом происхождении деда мне тогда уже, после смерти отца, рассказала и мама, и особенно дядя Сережа (младший брат отца). Он рассказал, что Каролина Гуль, будто бы, была женщиной необычайной красоты (что и подтверждал старинный дагеротип). Была она шведского происхождения, как и князь Вреде. Но была не из богатой и знатной семьи, а из скромной. По словам дяди, брак ее с светлейшим ротмистром был законный, но когда светлейший вскоре — через два года — захотел жениться на очень богатой тамбовской помещице Петрово-Соловово, то будто бы, благодаря своим высоким связям при дворе, брак он как-то расторг, и дед оказался "внебрачным". В рассказ дяди Сережи я не верил. Просто, вероятно, связь с скромной Каролиной светлейшему оказалась больше не нужна и м. б. тягостна, а женитьба на богатейшей девице Анастасии Петрово-Соловово, хорошего рода, светлейшему была весьма кстати. Вот он и сочетался "законным браком".

^{*}Роман Гуль. "Конь Рыжий". Изд. 2-е. Изд. Мост. Нью Иорк. 1975 (283 стр.)

^{**}Не помню точно "Ея Величества" или "Его", т.е. был ли он "синий" или "желтый" кирасир. В документе же, о котором я говорю ниже, полк не указан, сказано просто, что умер в чине полковника.

Но Каролину и своего сына светлейший на произвол судьбы не бросил. Каролина с двухгодовалым сыном только уехала из Петербурга в Гамбов. Всю ее жизнь (Каролина замуж никогда больше не вышла), светлейший ее содержал. Своему же сыну дал хорошее образование. Дед мой окончил среднее учебное заведение в Гамбове. Потом поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет, который блестяще окончил, как тогда писалось, "со званием лекаря".

Семейное предание говорит, что когда дед окончил университет, светлейший отец захотел встретиться с несветлейшим сыном и пригласил его на обед в знаменитый ресторан "Яр" отпраздновать получение докторского диплома. По семейным рассказам дед был человек огненно-вспыльчивый и резкий. На обед с светлейшим отцом он приехал, прошел в указанный отдельный кабинет "Яра" и тут в первый раз в жизни увидел своего отца, того, кто дал ему жизнь. Руки светлейшему он не подал, сказав: "Я приехал сюда только для того, чтобы сказать вам, что вы мерзавец!". Повернулся и вышел. Больше светлейшего отца своего он никогда не видал. Мать же свою Каролину дед страшно любил и за нее-то (я думаю) и отомстил.

Сейчас в Нью-Йорке, когда я работал над этими memoires d'outre tombe, я как-то разговорился с князем Алексеем Павловичем Щербатовым, профессором-историком и большим знатоком генеалогии старых русских и иностранных родов, и оказалось, что А. П. прекрасно осведомлен о всех Вреде. Он прислал мне не только печатные документы о них, но и рассказал, что его отец и дядья (Щербатовы) были хороши с детьми князя Иосифа Иосифовича и Анастасии Петрово-Соловово. По ее матери (княжне Наталии Щербатовой) дети Вреде даже приходились Щербатовым дальними родственниками.

В документах я прочел, что Вреде — шведский род. До сих пор в Швеции есть Вреде. Но в далекие времена, в 1612 году, одна ветвь Вреде (Генрих Вреде) переселилась в Баварию и здесь достигла знатности. Тут-то Вреде и стали "светлостью". И до сих пор под Мюнхеном, говорят, стоит замок Вреде—Эйлинген.

Мой "внебрачный" прадед (так оно и есть, извиняюсь перед мещанами всех мастей, но из этой романической песни слов

выкидывать не хочу) Иосиф Иосифович ничего особого в жизни не достиг. Зато его отец — фельдмаршал — оставил некий след в истории. Когда Наполеон воевал с союзниками в Европе сей фельдмаршал был с Наполеоном и командовал баварцами против австрийцев. За сие, в 1809 году, от Наполеона он получил титул "comte de l'Empire" (граф Империи). Известно, что Наполеон был весьма шедр на раздачу всяческих высоких титулов тем, кто ему служил. Именно в это время со своим приятелем генералом Бернадотом Вреде ездил в Швецию. Но когда Наполеону пришлось туго, то Вреде попросту "вывернул жилетку", повернув баварские штыки против Наполеона. Поэтически это называется — "и продали шпагу свою".

Не знаю, остался ли Вреде в Швеции у Бернадота, ставшего ни много ни мало "королем". Знаю только, что сын Вреде, Иосиф Иосифович переехал из Швеции в Россию, принял русское подданство, дослужился до гвардии полковника, благодаря браку с Анастасией Петрово-Соловово стал несметно богат, но все же скончался в 1871 году.

По окончании университета мой дед Карл Иосифович уехал из Москвы в свою родную Тамбовскую губернию, чтобы стать там земским врачом. Вероятно, хорошо зная о его происхождении, к нему тепло относились тамошние большие помещики — Петрово-Соловово и Ланские. Петрово-Соловово даже предложили деду жить в их усадьбе. Там дед и поселился в отдельном доме. Вскоре, будучи уже земским врачом Кирсановского уезда, дед познакомился с тамошними помещиками Аршеневскими и влюбился наповал в их дочь Екатерину Ивановну. Любовь оказалась взаимной, и дед сделал предложение. Однако, ее родители этого брака не захотели. Но дед был человек решительный. В один прекрасный день он умыкал Катю и в какой-то захолустной деревеньке простенький батюшка, за хорошую мзду, их обвенчал. Перед церковным браком родители склонились, и дед с Екатериной Ивановной зажили в особняке усадьбы Петрово-Соловово.

Прожили они свою жизнь счастливо. Екатерина Ивановна родила ему девять детей. Двое умерло в младенчестве, а семь остались в живых. Прекрасная фотография Екатерины Ивановны была в нашем имении в моей комнате. Я собирал семейные

портреты и все они висели у меня на стенах, пока не погибли в революцию, когда дом и всю усадьбу — по завету Ильича "грабь награбленное!" — до тла сожгли крестьяне. Зачем? Есть, говорят, некая страсть "к огню", к уничтожению. Если бы восстановить все десятки тысяч усадеб, сожженных в революцию, вырос бы большой и хороший город. Но та же революция жестоко отмстила крестьянам. Так что жаль уж не семейные фотографии, а крестьян, преврашенных партией в крепостных, в бессловесных роботов этой партии.

Екатерина Ивановна, по рассказам, была барыней старинного стиля: французский язык, французские романы, утреннее кофе подавалось в постель. Аршеневские по рассказам были склонны к чванству, считая в своем роду и Соломонию Сабурову, несчастную жену Вел. Кн. Василия III, и Кудеяра и другие исторические фигуры. Но как многие помещики и они пропустили свое имение в Тамбовской губернии, разорились.

Расскажу историю, которая еще в детстве мне нравилась. Один из Аршеневских, кажется, дядя Екатерины Ивановны, был человек крепко запьянцовский и разорился настолько, что из помещика превратился в... извозчика в Тамбове. Естественно, что жена не захотела быть "женой извозчика" и разошлась с ним. Она поступила преподавательницей в местную женскую гимназию, и вот родовитый извозчик, будучи всегда в подпитии, но не теряя остроумия, ежедневно подъезжал на своей кляче к женской гимназии, когда классы кончались, и гимназистки и учительницы шли домой. Тут он ждал ушедшую от него жену, и когда она выходила, ехал по мостовой нараллельно ее пути по тротуару, крича: "Маша! Маша! Ну что ж ты пешком плетешься! Садись, подвезу!". Это, разумеется, шокировало и бывшую жену, и всех кто с ней шли, не понимавших, кто же такой этот Ванька и почему он так грубо пристает к учительнице Аршеневской.

В крови Аршеневских, по-моему, было что-то от татар, и шесть Гулей (мои дядья и тетки) делились на блондинистых (Гулей) и чернявых, с татаршинкой в глазах (Аршеневских). К сожалению, ни деда по отцу, ни бабушку Аршеневскую я никогда не видал. Дед умер 57 лет от роду от разрыва сердца, до моего рождения. А Екатерина Ивановна жила под старость в Тифлисе у

старшего сына (моего дяди Анатолия), который был полковник артиллерии и служил в штабе наместника на Кавказе. Там она и скончалась.

Ну вот, откуда, стало быть — есть пошли Гули. От скромной красивой женщины шведского происхождения Каролины Гуль, фамилия которой покрыла и Вышеславцевых, и Ефремовых, и Аршеневских, и Вреде.

Я в России — до эмиграции

Думаю, что читателю нужно знать, кто пишет эту книгу. Кем был этот человек в России, что делал, что думал, чем жил? В некоторых своих книгах ("Конь Рыжий", "Ледяной Поход") я кое-что о себе рассказал. Здесь же я дам только крайне сжатый, почти "конспективный" очерк своей жизни в России — до эмиграции. Я не хочу писать, как Шатобриан, три толстенных тома обо всем пережитом. Я выбрал одну тему — Россия в эмиграции.

Отец Сергий Булгаков в своих "Автобиографических заметках" хорошо говорит, что такое — родина: "родина есть священная тайна каждого человека, так же, как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерьюземлей и со всем Божьим творением... Моя родина, носящая священное для меня имя — Ливны, небольшой город Орловской губернии, — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Всё, всё мое — оттуда... Рассказать о родине так же трудно, как и рассказать о матери...".

Мой родной город не Ливны, а — Пенза. Он — моя родина. "Кто видел Лондон и Париж / Венецию и Рим / Того ты блеском не прельстишь/ Но был ты мной любим". Разумеется, губернская Пенза была много краше уездных Ливн. Но конечно

^{*} Прот. Сергий Булгаков. Автобнографические заметки. ИМКАпресс. Париж. 1946 (165 стр.)

Булгаков прав. Мила та сторона, где пупок резан. И я тоже умер бы от "изнеможения блаженства", если б увидел свою Пензу. Но ее увидеть уже нельзя. За годы революции моя Пенза исчезла. Я получил как-то альбом фотографий советской Пензы. Как же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой "интернационалистической" партии. Беспартошная, страшная, без роду, без племени нелюдь, силой захватившая власть в России, в Пензе взорвала православные храмы. А их было множество, около 30-ти, и они-то давали Пензе лицо. На Соборной площади стоял величественный, высоченный собор, белоснежный, с золотым куполом и высоким сияющим крестом. Собор взорвали, сравняв с землей. А он оглавлял всю Пензу. Возвышался на обнесенной зеленью площади, стоя на вершине холма: вся Пенза раскинулась на большом холме. Уничтожены и два монастыря (мужской и женский).

Вместо же старины, прекрасности и благолепия "партия" построила какие-то, а ля "пензенский Корбюзье", безобразные, "конструктивные" казармы-дома-коробки для роботов. Прелесть города, его стиль убили. Но они этого и не чувствуют.

Отец мой был нотариус города Пензы (их было три — отец, Грушецкий и Покровский); был домовладелец (на главной Московской улице стоял наш двухэтакжный каменный вместительный дом); был и помещик Инсарского и Саранского уездов: имение в 454 десятины пахоты, леса и лугов раскидывалось в этих уездах. Но не думайте, читатель, что этот достаток отца свалился ему с небес, за прекрасные глаза, по какому-нибудь "наследству". Всего этого отец добился своим упорным трудом.

Но чтобы рассказать об этом я должен еще раз коснуться характера моего деда (по отцу). Дед был человек властный в отношении всей семьи, а иногда и самодур. Если деду за обедом что-нибудь не нравилось, он в бешенстве вскакивал и, схватив скатерть за угол, сбрасывал все стоящее на столе на пол. От детей требовал — беспрекословного послушания. И когда старший сын Анатолий, кончив гимназию, захотел поступить в военное училище дед наложил вето, отправив его в Московский университет на юридический факультет. Не чувствуя никакейшего призвания к юриспруденции, Анатолий зря проболтался

год на юридическом и все-таки поступил в Михайловское Артиллерийские Училище, которое окончил, став офицером.

Отец мой — наоборот — хотел именно на юридический, но дед сказал: "нет! пойдешь в Московское Императорское Техническое!" Мой отец не ослушался, хотя призвания к инженерии не ощущал. И через год из Москвы написал отцу, что все-таки хочет перейти на юридический. Дед ответил, что может переходить куда угодно, но никакой денежной поддержки тогда от него не получит. Мой отец был с характером. И все-таки перешел. Лишившись всякой поддержки, отец бедствовал, перебивался уроками, не брезговал никакой работой, но все же занимался любимой наукой — правом. А потом, выдержав экзамен на нотариуса, получил назначение в уездный город Керенск Пензенской губернии, где встретился с моей матерью. Они полюбили друг друга (более счастливого брака я не видел в жизни). А уж из Керенска отец перешел нотариусом в Пензу, причем на требуемый "реверс" денег не было: помогли — мой дед Вышеславцев, и друг отца и мамы — Петр Алексеевич Дураков (отец русского эмигрантского поэта Алексея Дуракова, убитого в бою с немцами во вторую мировую войну в Югославии; мой друг детства Лёша пошел добровольцем к югославским партизанам).

В Пензе у отца дела пошли хорошо. Отсюда постепенно начались и лостатки: имение, о котором я упоминал; дом с нашей квартирой в девять больших высоченных и этим приятных комнат (таких теперь уж нигде не строят). В отцовской нотариальной конторе человек 10-12 писцов (ах, как они каллиграфически писали!); в доме прислуги 7 человек; во дворе конюшня на 4 стойла: для двух верховых (моей и брата), рысака и рабочей лошади; коровник для молочной голландки; курятник с множеством кур (рыжих кохинхинов и пестро-серых плимутроков); большой сеновал, где я устроил свою голубятню. Состоятельные пензяки в те времена жили как помещики.

В декабре 1913 года от сердечного припадка 46-ти лет внезапно умер отец. Жизнь семьи резко оборвалась. О смерти отца я говорю в "Коне Рыжем". Смерть отца была отмечена в самой распространенной тогда в России ежедневной газете, в московском "Русском Слове", как смерть видного обще-

ственного деятеля Пензы. Отец был гласный Городской Думы, председатель родительского комитета нашей гимназии, председатель Пушкинского общежития для детей сельских учителей, член правления "Общества Взаимного Кредита", основатель первого в Пензе кооператива — "Потребительская Лавка", член правления Драматического кружка, создавшего Летний театр (прекрасный, всегда с столичными гастролерами). Был отец даже членом Бегового Общества (это была уже моя страсть, и я всегда увязывалася с отцом на бега на Пензенский ипподром). По душе отец был широкий и отзывчивый. Вечно у него были какие-то стипендиаты из неимущих студентов, которых кто-то рекомендовал и которых он иногда даже не видел. Кое-кто из неимущих учащихся у нас просто жили.

Политически отец был кадет, т. е. член конституционнодемократической партии, и в 1905 году издавал в Пензе вместе со своим другом Николаем Федоровичем Езерским ежедневную газету "Перестрой". Н. Ф. Езерский был член I Государственной Думы и даже "выборжец". Но когда мы встретились с ним в эмиграции, в Берлине, он был в черной рясе с крестом на груди. Н. Ф. стал православным священником, настоятелем русской церкви на Находштрассе в Берлине. Потом его перевели в Будапешт, где он и скончался до II Мировой войны.

Я родился в 1896 году. Мой брат Сережа — за полтора года до меня. Его выкормила грудью мать, но когда в мире появился я, мать кормить грудью была не в состоянии и мне наняли кормилицу — Марию Пронину, крестьянку села Бессоновка, недалеко от Пензы. Село это славилось луком и бессоновцы носили прозвище "лучников", так же как все пензяки — "толстопятых". Марья-лучница меня и выкормила, и я вроде Владислава Ходасевича могу сказать: "Не матерью — бессоновской крестьянкой Марией Прониной я выкормлен...". В семье у нас была фотография — Марья в полном уборе кормилицы, в кокошнике, в сарафане с высоко перетянутыми грудями, держит младенца в распашонке (меня). Свою "кормилку" я хорошо помню, ибо когда мне было уже лет 10-12, она часто приезжала из села к нам посмотреть на "своего Рому". Смотрела. А я, мальчишка, стеснялся. Мне было странно себе представить, что вот эта статная, приятная баба выкормила меня своею грудью.

После учения дома я поступил в Пензенскую Первую Мужскую Гимназию. В этой старинной гимназии, окруженной общирным старым парком, в свое время учились разные достопримечательности: террорист Дмитрий Каракозов, повешенный за покушение на Александра II; неистовый Виссарион Белинский; и, наконец, расстрелянный маршал Михаил Тухачевский. Он был на два класса старше меня. Я знал и его, и его старшего брата Александра, и сестру красавицу Марусю. Об этом я говорю в книге "Тухачевский".*

Весной 1914 года я окончил гимназию и поступил в Московский Университет на юридический факультет. В университете я "на весьма" сдавал все экзамены. Но юриспруденция, как таковая, меня не увлекала. Я чувствовал, что я совершенно не "юрист". Я занимался главным образом в семинарах профессора (тогда приват-доцента) И. А. Ильина, будущего эмигранта, опубликовавшего за рубежом много книг; после Второй мировой войны скончавшегося в Швейцарии. Я слушал у него курс "Введение в философию" и второй — по "Общей методологии юридических наук". Высокий, очень худой, красивый, мефистофельский (хотя и блондин) И. А. был блестящим лектором и блестящим ученым. Его я тогда в Москве попросил указать мне книги для систематического занятия философией, ибо сам я все сидел на скучнейших, толстенных томах "Истории новой философии" Куно Фишера. Хорошо помню, какой список первых книг дал мне И. А.: "Апология Сократа", "Диалоги Платона (Парменид)", "Метафизика в Древней Греции" кн. С. Н. Трубецкого, "Пролегомены ко всякой будущей метафизике" Э. Канта, какую-то книгу Гуссерля и какую-то работу 3. Фрейда. Слушал я и лекции по "Философии права" проф. Б. П. Вышеславцева, тоже будущего эмигранта и автора многих книг, вышедших за рубежом, скончавшегося после II Мировой войны в Париже. Слушал и "Государственное право" у проф. Н.Н. Алексеева, тоже будущего эмигранта, умершего после И Мировой войны в Швейцарии. Слушал и проф. Байкова — "Энциклопедию права". Байков тоже оказался эмигрантом, не знаю, где заграницей он умер.

^{*}Роман Гуль, "Гухачевский". Изд. "Парабола". Берлин 1932 (стр. 182).

На семинарах И. А. Ильина в прениях иногда выступали, оставленные при университете для подготовки к профессорской кафедре, — Н. Устрялов и Ю. Ключников (оба будущие эмигранты, в 20-х гг. идеологи сменовеховства). Блестящего публициста и ученого Н. Устрялова чекисты удушили шнуром (под видом "грабителей") в Сибирском экспрессе, когда по "милому" восточному приглашению Сталина Устрялов с Дальнего Востока ехал по Сов. России. Ю. Ключников, в 20-х гг., вернувшись из эмиграции в РСФСР, умер при "невыясненных обстоятельствах". Кажется, шнуром его все-таки не удушили.

В 1916 году я перешел на 3-й курс, но летом студентов моего года рождения призвали в армию: в офицерские школы. И в августе 1916 года я приехал в Москву уже не в университет, а в Московскую Третью Школу прапорщиков. Эти три школы были открыты для мобилизованных студентов в казармах у Драгомиловской заставы, на окраине Москвы. Срок обучения краткий — 4 месяца. Так что в ноябре 1916 года я, успешно окончив школу, получил офицерский чин — прапорщика. И так как кончил я портупей-юнкером, то мог выбирать "вакансии" в хорошие полки: предлагался, например, Московский Гренадерский. Но я стремился только в свою Пензу, где мать осталась одна, поэтому и уехал туда в 140-й пехотный запасный полк. Это — самая что ни на есть последняя инфантерия, самая последняя пехтура.

В Пензе в 1917 году меня застала революция. Об этом я рассказал в "Коне Рыжем". Весной 1917 года с маршевым батальоном я отправился на юго-западный фронт, где началось известное, бесславное "наступление Керенского". В моем послужном списке романтически стояло: "Участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии". Верно. Где только теперь эта Австро-Венгрия?

На фронте сначала я командовал второй ротой 457 Кинбурнского полка 117 дивизии. Потом был полевым адъютантом командира полка — бравого полковника Василия Лавровича Симановского. В. Л. был кадровый боевой офицер, по крови чистый украинец, с "белым крестиком" в петлице — за храбрость. Большевизм (да и Керенского!) он ненавидел совершенно люто. Был я и товарищем председателя полкового комитета (от офицеров), где вместе с председателем (моим

другом, латышом прапоршиком Даниилом Дукатом, тоже студентом) мы пытались хоть как-то остановить обольшевиченье полка. Оставался я на фронте до полного его развала, пока Василий Лаврович мне не сказал: "Ну, Рома, езжайте-ка домой в вашу Пензу!". И я уехал в Пензу в солдатской теплушке, переполненной озверелыми и одичавшими за войну, да еще пьяными, дезертирами. Об этом я говорю в "Коне Рыжем".

В конце 1917 года В. Л. Симановский (он был близок к ген. Л. Г. Корнилову) прислал ко мне в Пензу нарочного, зовя бросить все и пробираться на Дон к Корнилову. "Пойдем на Москву... наш полк будет охранять Учредительное Собрание!". Увы, ничего этого не случилось: ни Москвы, ни полка, ни Учредительного Собрания.

В эти декабрьские дни 1917 года Россия была в разгаре своего "окаянства". Из народных недр вырвалась ранее невидимая и незнаемая страсть всеразрушения, всеистребления и дикой ненависти к закону, порядку, праву, покою, обычаю. Точно по "Бесам" — "Всё поехало с основ". "Надо все переворотить и поставить вверх дном", "Надо развязать самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не сдерживало народ в его ненависти и жажде истребления и разрушения". Все эти дикие бакунинские* бредни воплотились теперь в каждом дне русской жизни. Это был именно тот всенародный бунт, о котором Пушкин писал: "бессмысленный и беспощадный". Мы в нем, в этом омерзительном бунте — жили. "Грабь награбленное!", и в Пензе бессмысленно грабят все магазины на Московской улице. "Жги помещичьи усадьбы!", "Убивай буржуев!". И жгут. И убивают всех, кто "подлежит уничтожению". Ведь нет уже ни судов, ни судей, ни тюрем, ни полиции. "Всё поехало с основ", как хотели того Шигалев и Верховенский.

В Пензе на вокзальной площади какого-то проезжавшего через Пензу капитана самосудом убили за то, что он не снял еще погоны. И разнаготив убитого с гиком и хохотом волокут большое белое тело по снегу Московской улицы — то вверх, то вниз. А какой-то пьяный остервенелый солдат орет: "Геперь

^{*}Роман Гуль. Бакунин. Историческая хроника. Изд. "Мост", Нью-Йорк. 1974.

наша власть! Народная!". Нотариуса Грушецкого сожгли в его имении живым, не позволили выбежать из горящего дома. Помещика Керенского уезда Скрипкина убили в его усадьбе и затолкали его голый труп "для потехи" в бочку с кислой капустой. И все это с хохотом — "теперь наша власть! Народная!"

В ненависти и страсти истребления убивали не только людей, но и животных (не "народных", не "пролетарских"). В знакомом имении на конском заводе железными перебили хребты рысакам, потому что — "господские". У нас при разгроме имения какой-то "революционный мужичок" при дележе добра получил нашу рысистую кобылу "Волгу" и впрягши ее в соху, стал злобно нахлестывать: пусть сдохнет. барская... "Рысаки господам нужны. А господов нонче нет". В другом имении жеребцу-производителю вырезали язык, а Иван Бунин в "Окаянных днях" расказал, как в имении близ Ельца мужики и бабы ("революционный народ") ощипали все перья у павлинов и пустили окровавленных птиц "голыми". Зачем? Да затем, что — "Теперь павлины же не нужны, теперь же все трудовое, а не барское". Митинговые большевицкие пропагаторы до хрипоты орут именно это — "теперь". И это действомистически. "Tenepь все по-другому", власть народная", теперь всем свобода!", "теперь нет тюрем!", "теперь нет полицейских, стражников, урядников", "теперь все наше, народное!". И я видел воочию, как в это теперь народ сдуру, сослепу верит.

Расскажу еще об одном диком и бессмысленном убийстве. В соседнем с нами именьи при селе Евлашеве убили старуху-помещицу Марию Владимировну Лукину. Боясь за нее, друзья уговаривали бросить деревню, переехать в город. Но упрямая старуха на всё отвечала: "в Евлашеве родилась, в Евлашеве и умру". И действительно умерла в Евлашеве.

Ее убийство было проведено по всем правилам "революционной демократии". Евлашевские мужики обсуждали это мокрое дело на сходе. Выступать мог свободно каждый. На

^{*}Иван Бунин. "Окаянные дни". Вступ. статья и примечания С.П. Крыжицкого. Изд. "Заря". Лондон. Канада. 1973 (202 стр.)

убийство мутил фронтовик-дезертир, хулиган-большевик Будкин. Но выступили крестьяне и против убийства. И когда большинство, подогретое Будкиным, проголосовало убить старуху, несогласные потребовали от общества приговор, что они в этом деле не участники. Сход вынес "резолюцию": старуху убить, а несогласным выдать приговор.

И сразу же со схола, с кольями в руках, толпа повалила на усадьбу Лукиной: убивать старуху, а заодно и ее дочь, которую все сєло знало с детства и полуласково-полунасмешливо называло "цыпочкой". М. В. Лукину кто-то из крестьян предупредил: идут убивать. Но сырая старуха не успела добежать даже до сарая. "Революционный народ" кольями убил ее на дворе. С "цыпочкой" же произошло чудо. Окровавленная она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер. В сопровождении сеттера она и доползла до недалекого хутора Сбитневых, а они отвезли ее в Саранскую больницу.

Подчеркиваю, что вовсе не всё крестьянство *поголовно* было охвачено окаянством убийств, грабежей, поджогов. Было и несогласное меньшинство, но его захлестывал большевицкий охлос дезертиров, хлынувший в деревню с фронта.

Помню, к нам пришла "цыпочка" Наталия Владимировна Лукина. Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно, страдальчески улыбалась. И как это ни странно, ни противоестественно, к убийцам ее матери и недобившим ее мужикам она злобы не чувствовала.

- Ну, звери, просто звери... А вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог...
 - Да это же они испугались, что отвечать придется!
- Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это правда, они жалели меня... И "цыпочка" плачет, поникая забинтованной головой. В ее душевном состоянии, я думаю, было что-то и христианское, но и какая-то неприятная мне покорность захватившему всё злу.

Хочу подчеркнуть один факт русской революции, о котором никто никогда не писал: — как приняли русские богатые и

состоятельные люди (по-марксистски — "имущие классы", "буржуазия", "эксплуататоры", "капиталисты") потерю своего имущества. В большевицкой литературе рассказывается и о "сопротилении буржуазии", и о "заговорах буржуазии", и о том, как "доблестные большевики" сломили наконец злостную буржуазию. Все это чистое вранье. Русская, если хотите, "буржуазия" теряла свое имущество водиночку (не пытаясь "организоваться"), безропотно, без сопротивления. Правда, в Февральскую революцию существовал какой-то Землевладельцев", но больше на бумаге. Вся его деятельность была в том, что подавались революционному министру земле делия "докладные записки" о бесчинствах, разгромах, поджогах. Причем министр в своей революционной занятости, наверное, и не отвечал на эти сообщения, не до того было. К Октябрю же "Союз" растаял.

Русские вообще легко теряют материальные ценности. Я думаю, много легче, чем люди Запада. Помню, как председатель Пензенской Земской управы, молодой образованный помещик Ермолов (родственник знаменитого генерала Ермолова) на большом митинге, когда большевики и меньшевики стали с мест перебивать его речь демагогическими криками: "Ну, а как же с вашей землей?!", ответил презрительно: — "С моей землей? Знайте, господа, что не унижусь участвовать в общей давке, подбирая падающие яблоки. Была земля, теперь не будет — только и всего."

И те же злорадные выкрики были на одном из Петроградских митингов, когда выступал председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. "А вы нам лучше скажите, как вот с вашей землицей-то?!" — "Как Учредительное Собрание решит, так и будет", ответил Родзянко. Как все здравомыслящие люди, он прекрасно понимал, что в России все помещичьи, казенные и удельные земли перейдут к крестьянству. И никакого "сопротивления" у имущих это не вызывало.

Помню, в Пензе в эти окаянные дни я встретил Ольгу Львовну Азаревич (по первому мужу кн. Друцкую-Сокольнинскую, урожденную кн. Голицыну). Она потеряла все, случайно не осталось даже денег в банке. А терять было что: имение "Муратовка" в 3.000 десятин, винокуренный завод,

овцеводство, множество лошадей, коров, всякого добра в доме. Все расхищено, разграблено. Лишь кое-какие ценные картины успела передать в музей Пензенского Художественного Училища, чтобы не погибли. Но в отчаяние от всего этого О. Л. не пришла. "Ну что ж, — сказала, — Бог дал, Бог и взял". Я не лумаю, чтобы Господь Бог мог когда-нибудь заниматься раздачей латифундий и уж особенно отобранием их руками остервенелых, одичалых, пьяных солдат. Но такая несвязанность благами земли, по-моему, прекрасна. И это очень русское чувство, я наблюдал его у многих имущих. Русские нетвердо прикреплены к земле. "Я знаю, я знаю / Что прелесть земная/ Что эта резная прелестная чаша / Не более наша/ Чем воздух, чем звезды...", — писала Марина Цветаева.

В эмиграции, в Ницце, Ольга Львовна держала крохотную столовую для русских же эмигрантов. День-деньской работала, ходила на базар, готовила обеды, ужины для столовой. В Ницце и скончалась в преклонном возрасте. У Марины Цветаевой есть чудесные строки, посвященные А. А. Стаховичу:

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь! Рук не исправишь — топором рубя! О, откровеннейшее из сокровищ Порода! — узнаю тебя!

Как ни коптись над ржавой сковоролкой Все вкруг тебя твоих Версалей тишь. Нет, самою косой косовороткой Ты шеи не укоротишь...

Никогда от Ольги Львовны никто не слыхал какой-то жалобы, каких-то ламентаций о былом "сребре и злате", хотя его было избыточно. Но в ее жизни, как и у многих других, было и нечто иное, что всегда много дороже "злата" и "сребра".

Подпольщики-большевики, в октябрьские дни захватившие власть над Россией, в большинстве своем носили псевдонимы: Ульянов-Ленин, Бронштейн-Гроцкий, Джугашвили-Сталин, Радомысльский-Зиновьев, Скрябин-Молотов, Судрабс-Лацис, Валлах-Литвинов, Оболенский-Осинский, Гольдштейн-Володарский и т.д. По-моему, в этом есть что-то не случайное и страшное. Тут дело не только в конспирации при "царизме".

Псевдонимы прикрывали полулюдей. Все эти заговорщикизахватчики были природно лишены естественных, полных человеческих чувств. О полноте чувства жизни хорошо у Пастернака говорит Живаго: "Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны...". Жизни псевдонимов были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно — партия. В партии интриги, склока, борьба, но главное — власть, власть, власть, власть над людьми. Кто прочтет книги бывшего большевика Η. Валентинова* "Встречи С Лениным" "Малознакомый Ленин" или книгу дочери Сталина Светланы Аллилуевой "Голько один год"*, увидит разительное сходство октябрьских "псевдонимов" с "Бесами". Для меня эти "псевдонимы", эти вульгарные материалисты были получудовищами.

Хорошо сказал о деле псевдонимов — о т.н. "коммунизме" — А.И. Солженицын в речи в Америке: — "дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания". И еше лучше пояснил это И. Шафаревич: — "социализмом движет инстинкт смерти"***. Но вся эта правда была сказана двумя замечательными людьми через 60 лет после начала дела псевдонимов. В декабрьские же дни 1917 года эта "смерть" неосознанно ошушалась мной в странной и страшной тревоге — псевдонимы несли и физическую смерть множеству людей и духовную смерть исторической России. "А на Россию, господа хорошие, нам наплевать!", сказал псевдоним № 1 Ленин, и всем подручным ему псевдонимам на Россию было действительно "наплевать". Многие из них кроме ненависти к ней ничего и не питали.

Российская мужицкая вольница, разлившаяся по стране после Октября, в сути своей была не только псевдонимам чужда,

^{*}Н. Валентинов "Встречи с Лениным". Изд. Имени Чехова, Нью-Йорк, 1953 (356 стр.), Н. Валентинов, "Малознакомый Ленин". Изд. Пять Континентов, Париж, 1972 (195 стр.).

^{**}Светлана Аллилуева, "Только один год", Изд. Харпер и Роу. Нью-Йорк, 1969, (381 стр.)

^{***} И. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. ИМКАпресс. Париж. 1977.

но и смертельно опасна. Псевдонимы это прекрасно понимали, они боялись мужика. Это был их "потенциальный враг". И это вполне по Марксу, ненавидевшему всякую деревню. Много чернил извели Маркс и Энгельс на писания об "исконном идиотизме деревни". Русская мужицкая вольница 1917 года была, конечно, стихией врага Маркса — Бакунина. Петр Струве говорил, что большевизм это смесь западных ядов с истиннорусской сивухой. Да. Псевдонимы были западным ядом, а бакунинское мужицкое буйство истинно-русской власть псевдонимы, демагогически подогревая Захватившие мужицкое погромное буйство, ненависть к имущим, ненависть к государственности, ненависть к церкви, ненависть к прошлому. — потихоньку плели и для мужика бесовскую марксистскую удавку, свою мертвую петлю.

Предвестник Ленина Петр Никитич Ткачев (под конец своей короткой жизни — сумасшедший) в свое время писал: — "Захват власти — это только прелюдия революции... Насильственным переворотом не оканчивается дело революционера. Захватив власть, они должны уметь удержать ее и воспользоваться ею для осуществления своих идеалов"*. Того же мнения был и Маркс. И Ленин при помощи своих псевдонимов террором, тюрьмами и концлагерями, которые он создал на пятнадцать лет раньше Гитлера, осуществил "свои идеалы". Мужика сначала укрощали комбедами, заградотрядами, продотрядами. И наконец Сталин в "раскулачивании" просто убил "15 миллиончиков крестьян", как

^{*}Самая "гениальная идея" П. Ткачева была, конечно, в предложении для паиболее скорого наступления револющии убить всех без исключения жителей Российской Империи старше 25 лет. Об этом в своих воспоминаниях рассказала его сестра А. Анненская, известная детская писательница своего времени, уномянув, что от этой идеи Ткачев впоследствии отказался. Немудрено, что 44 лет от роду Ткачев умер в доме умалишенных. Известно, что Ленин необычайно высоко ценил Ткачева-революционера и предлагал "всем его изучать".

О психике Ленина интересные сведения приволит Н. Валентинов в книге "Встречи с Лениным". Он рассказывает, что близкий к Ленину в течение лет, известный большевик и писатель А.А. Богданов, по профессии врач-психиатр, в 1927 году говорил Валентинову: "Наблюдая в течение лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывают иногда психические реакции с явными признаками ненормальности".

пишет А. И. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ"**. 15 миллионов жизней (мужчин, женщин, детей) — это примерно 5 Норвегий (если поголовно вырезать!), или 3 Швейцарии, или 5 Израилей. И что же? Чем ответил на это массовое убийство культурный Запад? В левых и социалистических органах статьями о том, что коллективизация может быть "интересным социальным и экономическим экспериментом"! 15 миллионов убитых вызвали — "научный интерес". Когда люди это писали, они не понимали, что подписывают себе самим смертный приговор.

Гогда, в декабрьские дни 1917 года, во мне жили два чувства: дневное и ночное. Дневное говорило: единственный путь — ехать на Дон и оттуда силой, железом подавлять всеобщий развал и бунт, дабы ввести страну в берега законности, правопорядка и отстоять идею Учредительного Собрания. Но ночью меня охватывало жутко-пронизывающее чувство. Казалось, что Россия летит в пропасть и дна у этой пропасти нет и никогда не будет, что страна гибнет навсегда, навеки. Признаюсь, и теперь, через 60 лет, ко мне то и дело возвращается это ночное чувство. Кажется, что стремительный лёт России в бездонную пропасть не кончился и через 60 лет, что Россия все еще куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна дойдет только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она и другие страны превратятся в отравленые полупустыни с миллионами трупов. Вот тогда ленинская "авантюра во всемирном масштабе" закончится. Дно будет наконец-то достигнуто.

Итак, в сочельник 1917 года я и брат (скончавшийся в 1945 году во Франции) решили ехать к Корнилову на Дон на вооруженную борьбу с большевизмом. Нас было шестеро "толстопятых" пензяков: Борис Иванов (нынче в Америке, в Детройте), Н. Покровский (отбыл советский концлагерь, умер в Болгарии), Эраст Ващенко (убит в "Ледяном Походе", на Кубани) и Дм. Ягодин (мой однополчанин и друг, прапорщик из бывших семинаристов).

^{*}А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛАГ". 1918 — 1956. Изд. ИМКАпресс. Париж. 1974.

До Новочеркасска добрались с подложными документами. Через день-два пошли записываться в бюро Добровольческой Представились зведующему — гвардии полковнику Хованскому. Вылощенный, пшютоватый петербуржец, "аристократически" растягивая слова, сказал нам: "Поступая в нашу (это он подчеркнул) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская!". Прием Хованским меня поразил. "Неужели, думал я, он не хочет, чтобы это была народная армия, а хочет только офицерскую?". На Дмитрия Ягодина прием произвел такое ипечатление, что на другой же день он решил ехать назад в Пензу. Он долго уговаривал и меня. "Разве ты не видишь, говорил он, что такая "офицерская" армия победить никогда не сможет?". В глубине души я чувствовал, что Дмитрий прав. Но психологически я для себя "отрезал все концы". И я остался. Не одни же Хованские в армии, думал я — мы приехали к казаку Корнилову.

От Ягодина в эмиграции в 20 г.г. в Берлине я получил с оказией письмо из Пензы. Он писал: "Я заделался нэпманом", он корошо жил, женился на Софии Карповой (Карповы до революции — богатые пензенские купцы). Больше писем я не получал. А позже узнал, что Ягодин при ликвидации НЭПа попал в концлагерь, где и погиб. А когда в 1960-х гг. его двоюродный брат Быстров, ставший американцем, ездил из Санфранциско в СССР и побывал в Пензе, то, вернувшись, мне писал: "Пензу нашу ты бы не узнал. Ее просто нет. Кого мы знали, никого нет. Одни могилы, могилы и могилы".

В "Ледяном Походе" я участвовал как рядовой боец Корниловского Офицерского Ударного полка. На Кубани под станицей Кореновской в атаке на красный бронепоезд (мы шли на него с одними винтовками) был ранен в левое бедро пулеметной пулей с этого бронепоезда. Попади красная пуля на полвершка правее — перебила бы кость, и меня бы оставили умирать на чужом, темневшем вечернем поле: таких раненых не подбирали. Тыла у нас не было. Лазаретов не было. И меня, наверное, добили бы красные. Но пуля, к счастью, не перебила кости, и меня взяли в обоз с ранеными. В обозе раненых я и долелал Ледяной Поход. Брат Сережа был ранен тоже сравни-

тельно удачно; под Усть-Лабинской пуля раздробила ему ступню. И он тоже попал в обоз-лазарет.

Когда мы вернулись из похода в отбитый казаками у большевиков Новочеркасск, нас вскоре здесь в лазарете разыскала мать. Все бросив в Пензе, с большим риском для жизни она пробралась из Пензы до Волги, потом по Волге и по Северному Кавказу на Дон, искать нас. И нашла.

Как добровольно я вступил в Добрармию, добровольно и ушел. Я не мог оставаться — и политически и душевно. Политически потому, что всем существом чувствовал: — такая "офицерская" армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что "псевдонимы" сильнее (они слабее), а потому, что народ не с ней. К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней, страшный разрыв между интеллигенцией и народом ("пропасть между культурой природой", по слову А. Блока). Если бы вместо генерала Антона Деникина во главе армии стал бы тамбовский сельский учитель Антонов, с мужицким лозунгом "земля и воля", тогда бы дело было иное. Но в 1918 году до взрыва крестьянских восстаний (тамбовского, Кронштадта и др.) было далеко. Крестьяне еще пребывали в бакунинском дурмане революции. И царскому генералу Антону Деникину, а уж тем более гвардии полковнику Хованскому, мужик не верил. В этом была беда и мужика и всей России.

Другая причина моего ухода из Добрарми была душевноличная. Если бы я работал в каком-нибудь штабе или в Осваге у меня не было бы предметного опыта гражданской войны. Но я был простым бойцом с винтовкой в руках: поэтому — опыт имелся. Я узнал до конца, что значат слова: гражданская война. Это значило, что я должен убивать неких неизвестных мне, но тоже русских людей: в большинстве хрестьян, рабочих. И я почувствовал, что убить русского человека мне трудно. Не могу. Да и за что? У меня же с ним нет никаких "счетов". За что же я буду вразумлять его пулями? По моему чувству, он мне брат.

Странно, такого чувства на Юго-западном фронте, в войне

против Австро-Венгрии у меня не было. Там я воспринимал войну, как некий национальний рок — может быть, как Божий урок. Тут — другое. Тут должна была быть проявлена моя воля. Причем я вовсе не вегетарианец. Я сторонник смертной казни за уголовные преступления: за убийства. Я сочувствую выстрелам в Кремле, у Боровицких ворот по лимузинам тиранов. Убийство Л. Канегиссером грязно-кровавого чекиста Урицкого я вполне понимал, так же как убийство рабочим Сергеевым бывшего ньюйоркского портного В. Володарского, ставшего вельможейтеррористом большевицкого Петрограда. И убийства Войкова Борисом Ковердой и Воровского Конради я вполне понимал. Покушению Фанни Каплан на "гениальную гориллу" — Ленина я всем сердцем сочувствовал и жалею, что она его не убила, чем спасла бы не только Россию, но все человечество. Как мог спасти Германию граф Штауффенберг убийством Гитлера. Все эти русские выстрелы не были похожи на выстрелы какого-то полубезумного немецкого террориста Баадера. Нет, русские выстрелы были не террором, а сопротивлением террору псевдоиимов. Так же как налет израэли на Энтеббе в Уганде — ответ на терроризм. Это были тираноубийственные русские выстрелы.

Расстрелы же добровольцами крестьян в селе Лежанка мне были непереносимы, из-за них все во мне восставало, и я в них не участвовал, ибо политически считал самоубийственными, а душевно во мне невмещаемыми. Не за свое же "имение" я буду кого-то там расстреливать? Я не последователь "классовой борьбы" этой "школы озверенья" по слову Н. К. Михайловского. "Бог дал, Бог и взял".

Я, брат и мать решили из Новочеркасска ехать в Киев к тете Лене Высочанской, сестре отца, а там — что будет. И в октябре 1918 года наш поезд переехал границу Всевеликого Войска Донского и тихо пошел по Украине. Украина тогда была некой восставшей не то Мексикой не то Македонией. Большие города и жслезнодорожные узлы заняты немцами. А по селам и весям шарят и шалят банды атаманов. Откуда-то с Запада идет Петлюра. А с севера вот-вот навалятся большевики. В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которой он очень дорожил: — сфотографирован каким-то уездным фотографом ражий детина

довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит "развалемшись" в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом — круглый стол, на котором — отрубленная человечья голова. И детина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это — атаман Ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселья, но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года.

В Киеве в ноябре 1918 года меня и брата, как офицеров, призвал в войска гетман Скоропадский, весьма не блестящая фигура гражданской войны. Мы должны были защищать Киев от наступающего Петлюры. Защита была беспомощна и трагична, ибо в Киеве царило полное разложение всех и вся, и в этом развале некоторые наши "начальники" просто смылись. А под Киевом бессмысленно гибла брошенная туда военная молодежь, такие же, как я и брат.

Я и брат уцелели. Но попали к петлюровцам в плен и нас (около 3 тысяч человек), обезоружив, заключили под стражу в Педагогический музей на Владимирской. Арестованные заняли в музее все залы, комнаты, проходы, лестницы. Весь этот позорный и омерзительный эпизод киевской гражданской войны я давно описал и потому его не касаюсь.*

Скажу главное: живы мы остались исключительно благодаря немцам. Они ввели в Педагогический музей свой караул под командой решительного лейтенанта. И немцы стали рядом с петлюровцами в папахах с нашитыми желто-блакитными кусками материи. Этот решительный лейтенант и предупредил резню нас, когда в настежь распахнутые двери музея с красными бантами на папахах, на шинелях, даже на винтовках, ворвалась какая-то солдатская банда. Впереди с маузером в вытянутой руке, с выбившимися лохмами волос из-под папахи, весь ограначенный и совершенно озверелый какой-то унтер. За ним, шелкая затворами винтовок, — толпа солдат — типичная обольшевиченная банда. Было ясно, что въехавший на белом коне в "побежденный" Киев Симон Петлюра и уж не знаю, на чем

^{*}Роман Гуль, "Киевская эпопея". Архив Русской Революции, издававаемый И.В. Гессеном, Берлин. 1921.

въехавший Владимир Кириллович Винниченко (автор нашумевшей в свое время на всю Россию пьесы "Черная пантера") будут скоро своими же украинскими большевиками, плюс московскими, раздавлены. Конечно, перестрелять нас хотел не Петлюра, он сам был во власти охлоса. Из-за этого и погиб. В 20-х годах он бежал с обольшевиченной Украины и стал эмигрантом в Париже, а в 1926 году на бульваре Сан-Мишель его в упор застрелил еврей Шварцбарт, мстя за еврейские погромы, чинившиеся тем же охлосом, который ворвался и в музей перестрелять и переколоть — "гетьманцев". То есть — нас.

Но немецкий лейтенант с криками "Хальт!" бросился тогда наперерез им. За ним — баварцы-солдаты с винтовками наизготовку. И этим предупрежден наш массовый расстрел в музее.

Я и брат лежим на полу в громадном зале No. 8. Все тут лежат вплотную друг к дружке, как огурцы. Ходить можно только перешагивая через тела. Но если резня не удалась, то вскоре ночью музей задрожал и затрясся от взрыва адской машины, брошенной в вестибюль. Все окна вышиблены, а стеклянный купол в большой аудитории рухнул на спяших, ранив больше 200 человек. Их куда-то увезли.

В эти дни от пришедшей на свиданье матери (у музея весь лень — толпа матерей, жен, сестер, невест: свиданье давали на пять минут в вестибюле) я узнал, что в Керенске чекисты убили дядю Мишу (ее младшего брата). За покушение Фанни Каплан в Москве на Ленина псевдонимы мстили расстрелами по всей России ни в чем неповинных людей. Это — "устрашающий" террор, по слову Троцкого-Бронштейна. "Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести", писала "Правда: пером псевдонима Сосновского. "В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти "ленинские дни", но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца дней", писал заключенный тогда в Бутырки историк С.П. Мельгунов.

В уездном Керенске убили восемь человек: дядю, М.С. Вышеславцева, как образованного юриста, бывшего председателя земской Управы и тем самым ставшего

Комиссаром Временного Правительства, бывшего предводителя дворянства Волженского, мелкого помешика Александровского, богатого купца Балкашина (четырех других не помню). Убили подло, погнали пешком на станцию Пачелма (57 верст!) будто бы везти "на суд в Пензу" и у урочища Побитое перебили штыками и прикладами. С дядей Мишей я и брат были большие друзья. Помню свое чувство при вести о его убийстве. Со дна души поднялась такая ненависть к этим зверям, что, словно вижу, как въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам перестрелял на месте, как бешеных собак.

В музее случайно узнал и о гибели моего командира полка Василия Лавровича Симановского. Его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк банда какого-то атамана. За что? За то, что был полковник царской армии. Вот всё его преступление.

Я лежу на полу зала № 8 и чувствую, как я чудовишно устал от всей этой всероссийской "кровавой колошматины и человеко-убоины". Я скажу сейчас очень непопулярные вещи. Но непопулярности не боюсь. В те дни я возненавидел всю Россию: от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России у меня места нет. Хорошо бы вырваться из этого кровавого человеческого месива в какую-нибудь беззвучную тишину, в тихие поля, в тихие леса, а еще лучше попасть бы как-нибудь на Афон и стать там монахом, думаю я. Но знаю твердо, что никуда я не вырвусь и если не убили сейчас петлюровцы, то наверняка убьют напирающие на Киев большевики, везя уж готовую ЧеКу, оглавленную Лацисом и Португейсом.

В музее — мороз: окна ведь выбиты взрывом адской машины. Теперь нас всего человек 500. Все другие освободились по связям, а больше за деньги. Остались безденежные и "бессвязные". И судьбы своей мы не знаем.

Но вот внезапно пришла и наша судьба. 30 декабря 1918 года в зал № 8 вошел сам командир Осадного корпуса полковник Е. Коновалець с комендантом музея. Коновалець* невы-

^{*} Коновалець убит в Роттердаме в 1938 г. советским агентом.

сокий, худой, невзрачный. Сделали перекличку, и комендант объявил, что сегодня ночью нас — полуголых, полуголодных, вшивых — под конвоем вывозят... в Германию. В эту невероятность нельзя поверить. Но — да, ночью вывозят — под немецким и украинским конвоем. Позднее я узнал от сопровождавшего нас лейтенанта, что нашей судьбой обеспокоился какой-то видный немецкий генерал и настоял перед Украинской Директорией на нашем вывозе в Германию. Он, конечно, спас луши наши! И я жалею, что запамятовал его фамилию. Помню только — "фон" и что-то вроде Вестфален (но не Вестфален, конечно!).

Темные, скотские вагоны нашего поезда, где мы вповалку лежим на соломе медленно ползут по Украине под беспрерывные то пулеметные очереди, то одиночные винтовочные выстрелы. У двух станций — Казатин и Голубы (граница тогдашней Украины) на поезд пытались напасть какие-то банды. Но Бог миловал. Лейтенант был человек решительный и мы пересекли у Голуб границу Украины.

А 3 января 1919 года пересекли и границу Германии. Поезд стал у первой немецкой станции — Просткен. Двери вагонов откатили. Солнце. Голубое небо. Ветерок. Легонькие облака. Совершеннейшая тишина. Ни одного выстрела. И первое ощущение: "какое отдохновение!". Этим с 3 января 1919 года и началась моя — эмиграция.

Роман Гуль

Туман клубится Над этажами. Идут убийцы, Блестя ножами.

Все, может, даже — Обман по сути. Дома — миражи, Миражи — люди.

И мы могильной Летим пустыней В автомобильной Своей кабине.

Упорно старым Гремим железом. А тротуары — Головорезам!

Бандит, старуху Ножом истыкав, Ушел. Все глухо. Не сышно криков.

Звезды сиянье На мертвых рельсах. Что марсиане С твоим Уэльсом?!.. По узкому спуску скрипя, дребезжа, Сосед выезжает из гаража.

И вот он сейчас пропадет за углом, Как будто он канет в небесный пролом,

Как будто он рухнет куда-то в закат, И листья сухие за ним полетят.

Казалось бы — рядом годами живем, А разве я что-нибудь знаю о нем?

О чем он мечтает, вздыхает о чем За темной стеною, увитой плющем?

Зачем он умчался за тот поворот, Куда он столбы световые несет?

Куда он поплыл между звезд и ветвей В кабине своей, в одиночке своей?

И я для него, верно, тоже не в счет, Хотя он при встрече рукой мне махнет,

А если столкнут обстоятельства нас, Он скажет незначащих несколько фраз.

И хоть мы живем во вселенной одной, Но каждый рожден под своею звездой,

И между тобою и мною, сосед, Мильон световых простирается лет,

Такая же даль между мной и тобой, Как между моей и твоею звездой!

Иван Елагин

БАБУШКА ГРАНЯ

Каждый раз, когда я прохожу по Кропоткинской, мимо этого шестиэтажного, старомодного дома, с "фонарями", я вспоминаю горячую пору всесоюзной кампании по выборам в Верховный Совет СССР.

Потрудились мы тогда на славу!

Я был на третьем курсе Института иностранных языков (изучал английский и французский) и, конечно, принимал активное участие в общественной жизни.

По комсомольской линии меня включили в список агитаторов 3-го участка Фрунзенского Избирательного округа. Мы с моей однокурсницей, Лелей Кишмишевой, толстушкой и залирой, разделили напополам этот старомодный дом с "фонарями". Она взяла от цоколя до третьего этажа, а я — выше. Всего жильцов, или, как обычно говорят, квартиросъемшиков, у нас было что-то около 250-ти. На мою долю пришлось 136 "носов", включая и бабушку Граню.

Собственно, никто толком не знал сколько ей было лет, да и она сама путала. По избирательному же списку ей стукнуло 84. А выглядела она на 50. Ну, прямо подрумяненный батон и все. Круглолицая, с добрыми чуть слезящимися глазами. Только что глубоких и суховатых морщин на шеках и на лбу было многовато, и губы слегка подергивались, ну и шея уже была, как у старых кур, жилистая. Ходила она неторопливо, переваливаясь с боку на бок, говорила с заметным аканьем и тихо, про себя, смеялась. Носила она одно и то же: широкую, рыжую фуфайку времен царя Гороха, и длинную юбку, сшитую, кажется, из материи, называющейся чертовой кожей.

Замечу, что несмотря на, так сказать, преклонный возраст, давно уже получая пенсию, бабушка Граня регулярно, дважды в пелелю, убирала места общего пользования (с мытьем полов) в своей квартире 276 с девятнадцатью "носами", и такую же, этажом выше, за что, конечно, получала соответствующую оплату (налогом фининспектор ее не облагал).

Прожила много лет, да почти всю свою жизнь, в комнате для прислуги, при кухне, построенной буквой "Г", со входом из кухни и с окном на лестничную клетку, постоянно пользуясь электричеством. В комнате у нее было чисто и опрятно. Стояли: железная кровать, что-то вроде круглого стола, два стула и пузатный комод, заслонявший окно. На перекладине кровати писела небольшая икона, а на стене — фотография в нарядной рамке, с изображением красивого мужчины с нафабренными усами и в фетровой шляпе, какой-либо граф или виконт, так я решил поначалу.

Собирал я жильцов моих квартир, главным нечерами (им было удобнее, да и я не хотел пропускать лекций), и, как правило, в коммунальных кухнях, с веревками, протянутыми от стены к стене, для сушки белья; проводил с ними "собеседования" о кандидатах в депутаты Верховного Совета СССР, тов. Мышкине и тов. Леонтьевой, выдвинутых трудя-Фрунзенского района; отвечал на злободневные вопросы, раздавал литературу и бесплатные билеты концерты и в кино, ну, а когда были устроены две встречи с кандидатами, обеспечил явку избирателей в клуб завода Каучук, где эти встречи и имели место.

Бабушка Граня тоже заглядывала на мои "собеседования", особенно, когда со мной появлялась член избирательной комиссии, тов Рудакова, энергичная баба с военной выправкой, к тому же директор Венерологического диспансера на Метростроевской улице. Сядет бабушка Граня, бывало, в уголочке, у своего кухонного столика с клеенкой, и молча, кивая и улыбаясь, просидит с полчаса. И в клуб завода Каучук отправлялась на троллейбусе, хотя мороз на дворе перевалил за 25 по Цельсию, может быть, зная, что в буфете клуба по этому торжественному случаю будут продавать дефицитные мандарины и печенье "Мечта".

Конечно, как агитатор, я отдавал много времени и индивидуальной работе. Заходил к тем или иным жильцам в их комнаты (если приглашали) или даже пил с ними чай (если угощали). Был я раз и у бабушки Грани. Она меня накормила оладьями с клубничным вареньем. И рассказала о хозяине этого дома архитекторе, на собственные деньги и построившем его, заняв в нем квартиру, в которой ныне и жила Бабушка Граня. Было это задолго до Октябрьской революции. А после, архитектора сперва уплотнили, а в 30-х годах арестовали и сослали с семьей куда-то в Среднюю Азию. Вот у этого архитектора-то и начала работать кухаркой 18- летняя Граня, приехавшая на "чугунке" в Москву из деревни Пальчики, Смоленской области, с сестрой, Дусей, в поисках куска хлеба и крыши.

— Ох-х и хороший человек был, Иван Аристархович, самто, красавчик, царствие ему небесное, — вздыхая, крестясь и кивая на фотографию графа или виконта, произносила бабушка Граня.

Она была точь-в-точь, как мой дотошный и сварливый дед Афанасий, который жил в Саратове. И у того была рабская психология. Всю жизнь ишачил он на фабриканта Августовского и, вместо ненависти, до сегодняшнего дня молился за его "загубленную большевиками" душу.

Ну так вот, после напряженной деятельности по выдвижению кандидатов в депутаты, после предвыборной кампании со встречами избирателей с кандидатами, после наших "собеседований" и всяких других мероприятий, примерно через две недели, наступил долгожданный день выборов.

Воскресенье выдалось солнечное.

Накануне же я, опять вместе с тов. Рудаковой, обошел все свои 12 квартир, с последним напоминанием. Мне повезло, как никому: никто у меня не умер, не заболел, и только трое уехали в командировки, заранее взяв открепительные талоны. Так что все было как бы в ажуре. Я посоветовал своим подопечным проголосовать завтра по возможности пораньше, сказав, что избирательный участок откроется в 6 часов утра.

Да, еще уточнил, кому из престарелых понадобится машина. В 6 часов утра у иллюминированного цветными лампоч-

ками и украшенного хвойными гирляндами входа в избирательный участок, который помещался в здании нашего Института ипостранных языков, выстроилась очередь, длиной с очередь в мавзолей Ленина. Честное комсомольское, не вру. Некоторые явились за три часа до открытия. Двое, в цигейковых шубах, в каленках, с замотанными шерстяными шарфами шеями, оба с Полуэктового переулка, ну типичные Бобчинский и Добчинский из "Ревизора" Гоголя, чуть было не подрались, доказывая репортерам "Московской правды" и Московского телевидения, кто из них пришел первым.

Да, наш народ отличается энтузиазмом!

Должен прямо, по-комсомольски, сказать, что атмосфера на участке была, в общем, приподнятая. Члены избирательной комиссии, празднично одетые, сидели за длинным столом, покрытым красным сукном, с графинами воды на нем, как будто бы это было торжественное заседание по случаю 50-летия Совстской власти. Ни больше ни меньше. Председатель комиссии, тов. Кумыкин (зам. председателя Фрунзенского Райисполкома), высокий как жердь, сутулый, с белым и костистым носом и отвислыми ушами, все время вытирал о брюки свои потные лалони (наверное они потели от волнения), а представитель КГБ, темноволосый, как ворон, с кучей бородавок, величиной с горошину каждая, на шеках, майор Темкин, был в гражданской паре с белым цветком в петлице пиджака и улыбался так, точно попал в спецясли с малыми детьми, присланными, например, из дружественной Монгольской Народной Республики.

Избиратели же, то есть, наша паства, входя в участок, пувствовали себя, наверное, как входят в Музей Революции: говорили в полголоса, осторожно ступали по застланному малиновой ковровой дорожкой полу, постоянно извиняясь, не плевали куда попало, а только в никелированные плевательницы, и большинство заглядывало членам избирательной комиссии, всем 12-ти из них, в глаза, как бы свидетельствуя: "Вы на советскую власть, и мы за советскую власть".

Целый день по радиотрансляционной сети передавалась бравурная музыка и поэты разных поколений читали лирические стихи.

Мы же, агитаторы, как стайка хамсы, держались больше в

коридоре перед центральным залом с кабинами и урной, но так, чтобы было видно все, что там происходит. Ведь нам надо было следить за своими избирателями и отмечать тех, которые "отголосовались".

Я сказал, что все было как бы в ажуре. Да, конечно, но было и несколько "накладок". Естественно. Как же без них? Жизнь есть жизнь. Ее многообразие признавали и Маркс с Лениным. Ну и не обошлось-таки без трех-четырех эпизодов, вернее, эпизодиков.

К примеру, один избиратель, кажется, горбач, с розовыми, как у кролика, веками, я думаю, побывав в Сандуновских банях и выпив потом 100 граммов водки, раскис, да взял в кабине и заснул. Даже захрапел. По храпу его и обнаружили. Ну и вывели под руки, вежливо, усадили в одну из дежурных машин и отвезли домой на Курсовый. Тов. Кумыкин, как бы сожалея, сказал горбачу на прошание:

— Дорогой избиратель, в кабинах спать не положено.

Другой тип, здоровенный бугай с прямым затылком (жена называла его при всех "орловской дубиной"), бесспорно выпивший не меньшеполлитровки, был на крутом взводе и начал обнимать и целовать по очереди всех членов избирательной комиссии, а потом взобрался на стул и, покачнувшись, заорал своим мошным голосом:

— Да здравствует, товарищи, наш родной Верховный Совет, товарищщи! Ур-ра, товарищщи!

Члены избирательной комиссии на секунду растерялись, переглянулись, но вслед за тем все дружно закричали: "Ур-ра!" (нельзя же было не ответить на патриотический призыв избирателя, хотя он был и продиктован, отчасти, алкогольными парами).

Девушка лет 22-х, по имени Ия, белесая, с губами дудочкой и жидкой челкой, кажется приемщица в химчистке, неожиданно потребовала (да, да потребовала), чтобы ей дали возможность *лично* переговорить по телефону с кандидатом в депутаты, тов. Леонтьевой. Сначала тов. Кумыкин воспротивился и сказал:

Вас тысячи, а она одна.

Гогда Ия отказалась голосовать (смелая была девица!). А

тов. Темкин нахмурился и заиграл своими бородавками. Но кончилось все мирно. Решили побеспокоить тов. Леонтьеву. И Ия заявила ей по телефону, что она с радостью "отдает" ей свой голос, потому что, по ее мнению, в Верховном Совете СССР должно быть побольше людей медицины. А тов. Леонтьева не имела ничего общего с медициной, будучи директором Института философии Академии Наук СССР.

Непонятно повел себя избиратель Гимошук, средних лет, рыжеволосый, с коротким, как бы подпиленным подбородком. Он откровенно сказал тов. Кумыкину, что решил голосовать против обоих кандидатов в депутаты, хотя всей душой и хочет голосовать за них. Против и за — одновременно! Ну, тов. Кумыкин отвел Гимощука в сторонку и минут десять разъяснял ему нашу советскую конституцию. И тов. Гемкин пришел на номощь. Гак они вдвоем и убедили избирателя проголосовать все же за.

Пожалуй самой неприятной была история со старым большевиком, персональным пенсионером, Евгением Александровичем Арбатовым (это из "паствы" Лели Кишмишевой). Усатый и бородатый, похожий на Карла Маркса, держащийся прямо, несмотря на годы, с сильным голосом и манерой говоря размахивать правой рукой и притоптывать правой ногой, он обратился к членам избирательной комиссии и прочитал им лекшю. Он сказал, примерно, следующее:

— Товарищи члены избирательной комиссии, я конечно проголосовал за двух кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, однако я прошу вас подумать о том, что пора нам, перевалив за полвека, устраивать всамделишние выборы. А какие же это выборы, когда из двух кандидатов надо выбрать двух. И пора выдвигать кандидатов всенародно, а не назначать их по указанию ЦК. Скажем, выдвинуть пятерых или шестерых, с тем чтобы выбрать из них двух. Вот тогда это будут всамделишние выборы.

Его лекция, особенно слово "всамделишние", прозвучала лиссонансом. Тов. Кумыкин поморщился и вытер о брюки свои испотевшие ладони, а тов. Темкин что-то записал в блокноте самопиской и потом смотрел на старого большевика прищурив левый глаз.

Но Арбатов на этом не кончил. Он добавил:

— А кроме того, товарищи члены избирательной комиссии, следует изменить порядок выдачи бюллетеней. Вот эта гражданочка и этот гражданин, давая каждому из нас избирательные бюллетени, ставят на них карандашиком какие-то заковырочки, шифры что-ли. А мы, люди, боимся после этого голосовать, например, против, потому что по заковырочкам можно ведь определить, кто именно голосовал, например, против. А советская конституция гарантирует нам *тайну* выборов.

Тут тов. Темкин прищурил уже оба глаза и опять что-то записал самопиской в блокноте. А те, которые сидели на выдаче бюллетеней (кажется это были сотрудники Темкина), заерзали на своих стульях.

Тов. Кумыкин встал из-за стола и хотел сказать что-то Арбатову, но тот опередил его;

— Я — Арбатов, Евгений Александрович, член коммунистической партии с 1917 года.

И повернувшись пошел к выходу.

Ну и последний трагикомический эпизод, вернее, эпизодик. Гражданка Клавдия Бурковец, из дома 15 по Лопуховскому переулку, грудастая женщина лет сорока, с зобом, ни с того ни с сего, перед тем, как идти в кабину, расплакалась и, сев прямо на пол, заявила:

— Не буду голосовать, если домоуправле: че не побелит потолок в моей комнате. Ржавые пятна со всех сторон. А у меня дитя есть. Уже полгода домоуправ, тов. Пичужкин, собирается побелить, да не белит.

И это свалилось на бедную голову тов. Кумыкина. Он торжественно обещал Клавдии Бурковец, что потолок в ее комнате будет побелен в течение ближайших трех дней и даже обещал влепить выговор домоуправу Пичужкину за головотяпство.

Ну вот... а в общем, повторяю, атмосфера на участке была праздничная и вполне соотвутствующая выборам.

В полдень в коридоре появился член избирательной комиссии, секретарь Партбюро нашего института, лысый и

шуплый, тов. Симбирцев. Как всегда заикаясь, но шумно и старательно, он обнял меня за плечи и сказал:

- -- Тов. Чукчин, ты вот у нас самый быстрый, головастый и поздри у тебя, как у пирата, а с избирателями отстаешь.
- То есть, как это отстаю, тов. Симбирцев? запротестовал я. Ничего подобного. Иду в ногу.
- Нет, брат, отстаешь, улыбаясь, продолжал он. Вот мы подсчитали только что. У тебя прошло только 57 процентов, а вот у Лели Кишмишевой, к примеру, 68 процентов (Лелька тут хихикнула). Значит, ты давай подталкивай свой народ. Их надо подталкивать, брат, а как же? Давай, давай, вали в свой дом и подталкивай своих избирателей. Скажи им, что кандидаты нашего блока коммунистов с беспартийными не ждут.

Ну и я пошел "подталкивать". И ходил я в свой дом, на свои три последних этажа "подталкивать" то есть, не раз и не два, а пелых шесть раз. Между прочим, агитаторы со сторожем говорили мне, что обычно затруднения возникают между 7-ю и 12-ю часами ночи, с последними 8-ю-10-ю процентами избирателей.

Один раз со мной пошла "подталкивать" даже тов. Рудакова.

И вот во время этих, так сказать, неурочных посещений квартир, я невольно соприкоснулся с тем, что принято называть "булнями коммунальной жизни". Ведь когда я приходил на "собеседования", об этом все заранее знали и большинство хотели показать себя с лучшей стороны. А тут всплыла, так сказать, реальность.

В квартире 29а при мне разразился скандал. Выяснилось, что жилец Барматов, носатый, длиннорукий, механик с автобазы Мосгорторга, раздобыл где-то четыре новеньких покрышки для "Москвича" (а они на вес золота, в магазине — не купишь), хотя "Москвича" у него самого и не было, и что он привез их два пля назад и сложил в передней, тщательно накрыв брезентом. Сын же ткачихи, Анны Ивановны Строгановой, коротконогой и отчаянной курильщицы, 14-летний хулиган Юрка, вытащил из лвух покрышек шины и загнал их на Усачевском рынке. Барматов гонялся по коридору за Юркой, а Анна Ивановна, запищая свое чадо, обзывала Барматова "хапугой", "леваком", и

грозилась сообщить в уголовный розыск о том, что тот крадет с автобазы запчасти. Юрка же выскочил через окно на крышу соседнего дома, а Барматов споткнулся и расквасил о подоконник нос.

Я сказал ему осторожно:

— Тов. Барматов, забудьте про нос и шины. Надо проголосовать за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву.

Он же мне ответил:

— Щины денег стоят. А тов. Мышкина и тов. Леонтьеву и без меня выберут, — и он язвительно добавил: — Даже если я проголосую против. Народ выберет! Все как один!

В квартире 22, у двери в ванную, сошлись трое жильцов. Они убеждали инженера автозавода им. Лихачева Васькина в том, что он регулярно, особенно по праздникам, нарушает коммунальные правила и моется больше положенных 20 минут.

— Как вам не стыдно, Владимир Степанович! — восклицали они. — Ведь вы живете тут не один. Вот получите индивидуальную квартиру, тогда и купайтесь себе сколько влезет.

А Васькин, плескаясь и фыркая, весело отвечал через закрытую на крючок дверь:

- Не нравится идите к домоуправу.
- Сегодня день выборов в Верховный Совет, нельзя ссориться, усовещивали его трое.
- Или напишите письмо в "Правду", и Васькин громко рассмеялся.
- Владимир Степанович, продолжали усовещивать трое, мы же ждем, а вы и в ус не дуете себе, распеваете песни, сидя в ванной, и даже свистите.
 - И буду, буду! донесся голос Васькина.
 - Да вы же член ВУСПС!

— И еще МОПР'а!

- Мы будем жаловаться, черт возьми! Довольно! Каждый день одно и то же. Поет, свистит...
- Позвоните в КГБ. Пусть двое "оперов" вынесут меня на руках из ванной, голого и свистящего.
- Владимир Степанович, да ведь некоторые жильцы хотят... ну, зубы почистить...
 - Пусть чистят в кухне, там есть кран.

- Там полно народа. И там не удобно.
- Тогда пусть едут в Америку. Там удобно.

Минут через пять трое уже пытались взломать дверь в ванную и уже с обеих сторон неслась уличная брань.

- Мы тебе ряжку разукрасим, паразит!
- Гады, в тюрьму сядете!

Васькин уже не пел и не свистел.

Мне же надо было, чтобы он и трое проголосовали за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву.

В квартире 21с я попал в неловкое положение. Как говорят, "влип". Постучал я в комнату молодоженов Евнуховых. Сначала никто не отозвался, но я услышал из-за двери стоны и всякое такое, интимное. Постучал окать. Через минуту-две дверь открыл он, Евнухов, волосатый как обезьяна, с плечами как у борца, взлохмаченный, с красным возбужденным лицом, и в чем мама родила.

- Чего тебе, агитатор? хрипло спросил он.
- Тов. Евнухов, проголосовать бы надо, вам и вашей жене, Танечке...— начал я.
 - Сгинь! оборвал он. Мы с Таней в любовь играем.
 - Да, но тов. Мышкин и тов. Леонтьева...
 - Сгинь, говорю!

И он захлопнул передо мной дверь и из-за нее опять донеслись стон и всякое такое, интимное.

Надо же! Взялись за любовную игру в воскресенье днем, в лень выборов в Верховный Совет СССР! Ночи им было мало, что ли? Ведь вчера, когда я в последний раз обходил квартиры, этот Евнухов был со мной любезен и сказал, что проголосует с Таней с утра. А тут нате вам: сгинь!

На кухне, в квартире 19, гражданка Крючкова вцепилась в волосы гражданки Мухаметдиновой. Первая, квадратная, со свирепыми глазами и шрамом над левой бровью, кричала во все горло:

— Нет от тебя больше мочи! Не могу! Опять эта татарка проклятая жарит свои котлеты на рыбьем жире! Опять провоняла всю квартиру! А у меня крошки малые. Им кислороду надо.

Мухаметдинова, тощая, раскосая, с припухлыми веками, то

ли улыбалась, то ли плакала, и говорила с сильным татарским акцентом:

— Если бы я жарила котлеты на касторке, тогда жалуйся, а то...

Тут же кто-то из жильцов обвинил артиста Мосгорэстрады, фокусника Орландо (по паспорту Семен Чесноков), в том, что тот свернул в кухне кран и потом перевязал его грязной тряпкой. — Это же, как мертвому припарка, — заметил один из жильцов, заглянувший в кухню в кальсонах. — Вода-то все одно течет себе и течет.

Орландо, лысый и костистый, с орлиным носом, вышел из своей 9-метровой комнаты, обклеенной красными обоями с золотой прожилкой, скрестил руки на груди, как демон, и категорически заявил, что он не имеет никакого отношения к крану и к грязной тряпке.

В квартире 28, отец, работник Комитета по Делам религиозных культов, с длинными волосами (его соседи прозвали "дьяконом"), отчитывал дочку за то, что она, как он выражался, "часами висит на коммунальном телефоне", а жильцы, естественно, требовали, чтобы он, "дьякон", платил поэтому в два раза больше. А дочка, тоненькая, с косичками и маленькими глазками-угольками, отбивалась от отца и, с писком, повторяла:

— Иди ты на фиг, кафедральный зулус!

Ну а в квартире 31, метростроевец, дважды орденоносец, Богданов, в прошлом фронтовик-минометчик, широкоскулый и с ноздрями вроде моих, недавно вернувшись из трехмесячной командировки в Кубу, отлупцевал жену, Марию Ивановну, которая торговала в Парке культуры и отдыха им. Горького пивом и зарабатывала уйму денег. Как мне говорили соседи, Богданов бил ее регулярно за то, что она была на семь лет старше его, очень уж мордоворот, и за то, что она приносила слишком много денег домой, а тратить их он боялся, будучи членом КПСС. Смешно, но после поездки в Кубу он, оказывается, обзывал Марию Ивановну какими-то неприличными испанскими словами.

Жалуясь на побои, Мария Ивановна говорила:

У меня от этого Кастро рак будет.

Стал я свидетелем и коллективного спора: кому из жильцов сколько платить за электрический свет в коридоре, в ванной, в уборной и на кухне. Удивительно, но спор этот закончился благополучно.

Итак, к семи часам вечера все квартиросъемщики с моих трех этажей "отголосовались". С помощью "подталкивания", конечно. "Отголосовались" и Евнуховы. Пришли оба изможденные, как кошка после ночных похождений. Она, ростом с ноготок, от него ни на шаг не отступала, держа его как папу за руку. А он зевал чуть ли не с ревом. Барматов же продержал Юрку на крыше соседнего дома до темноты, потом плюнул и сказал мне:

— Я теперь весь резиной пропахну. Придется покрышки в комнате под кроватью хранить, — и язвительно добавил: — Эпоха.

И пошел голосовать за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву.

Инженер же с автозавода, Васькин, явился на участок в новых поскрипывающих фетровых бурках и председатель избирательной комиссии, тов. Кумыкин, приняв его за важного представителя Центральной избирательной комиссии, выехавнего на места для проверки работы, подбежал к нему и стал жать руку.

Я сказал, что к семи часам вечера все мои люди, то есть жильцы с моих трех этажей, "отголосовались". Да, все, кроме одного. И тут начинается самое существенное — так сказать, центральный эпизод, по выражению тов. Рудаковой — "ЧП" ("Чрезвычайное Происшествие").

Не проголосовала бабушка Граня.

В 9 утра, по свидетельству очевидцев, она позавтракала своей перловой кашей и черным хлебом с маслом, выпила два стакана чаю, и, одев старое плюшевое пальто, отправилась в "церкву", молиться. Тут ничего не скажешь: в "церкву" так в "церкву". Этому не воспротивишься. И мой дед Афанасий до сих пор ходит в "церкву". Нет, стариков не перекуешь! Да только после того-то бабушка Граня и исчезла. Как корова ее языком слизнула. Или как будто бы американские гангстеры ее похитили. Нет бабушки Грани и нет. В полдень не появилась. В 5 часов ее не было. В 7 часов ее не было. Ну хоть в милицию

звони. А ведь накануне она улыбалась, кивала, опять оладьями с клубничным вареньем угостить собиралась, да я отказался, и обещала проголосовать пораньше.

Короче, пропала старушенция и все!

Между прочим, в 5 часов я вместе с тов. Рудаковой на дежурной машине объехал все церкви во Фрунзенском районе, а их в нем немного — три. Даже в Елоховский Собор махнули. Везде службы давно закончились и церкви были закрыты.

Мы уж подумали, что бабушка Граня заперлась у себя в комнате и уснула. Тов. Темкин же заметил, что, может быть, она там, так сказать, окочурилась и запах пускает. При содействии домоуправа открыли дверь запасным ключом, но ни бабушки Грани, ни се трупа ("пускающего запах") не нашли.

Помню, как сейчас, в начале девятого двое соседей, Рыбакова, из диетического магазина на Арбате, хромоножка с сильно напудренным лицом и Иван Трынь, счетовод из Мосгоршвейпрома, с двумя красными пятнами под глазами и с волосами на голове как выцветшая пакля, сообщили мне, что во время прошлых выборов в Верховный Совет СССР произошла аналогичная история и что тогда бабушка Граня после церкви уехала на электричке к своей младшей сестре Дусе, в Серпухов, где та жила в одном из железнодорожных бараков, прослужив 50 лет уборщицей в привокзальном ресторане.

Это был след. И его было достаточно для того, чтобы, так сказать, расправил крылья и показал мастерство Шерлока Холмса майор Гемкин. По своим телефонным каналам, через Областное управление КГБ он в течение получаса установил адрес Дуси Пастуховой. Обе сестры были Пастуховы. Интересно, что тов. Гемкин установил и тот факт, что Дуся прожила всю жизнь одна и, как и бабушка Граня, была верующей.

Словом, в Серпухов командировали меня, и со мной отправили помощника тов. Темкина, старшего лейтенанта Оглоблева, тоже одетого в гражданскую пару, но с пистолетом, оттопыривавшимся из-под пальто, угрюмого и похожего на черепаху.

Отыскали мы сестер Пастуховых в два счета, безо всяких

затруднений, хотя электричества на улицах в Серпухове было маловато. Досчатый, уже подгнивший железнодорожный барак, находился почти рядом со станцией и почти во всех окнах горел свет и виднелась напиханная между рамами вата (от холода).

Бабушка Граня и Дуся сидели за столом и пили чай, закусывая бубликами, когда мы, я и Оглоблев, постучавшись в дверь, вошли в комнату. Это была каморка метров в 8-10, со стенами, густо обклеенными цветными картинками из "Огонька" и "Смены". Обратил я внимание, конечно, сразу на столетнюю швейную машину "Зингер" (такая и у моей мамаши, досталась в наследство от бабушки) и на медный самовар, весело попыхивавший паром. Затем передо мной всплыло круглое и красное от чаю лицо бабушки Грани.

Старший лейтенант Оглоблев остановился на пороге, а я подошел к столу и, выдавив из себя улыбку, произнес:

Бабушка Граня, а как же насчет — проголосовать?

Она ничуть не смутилась, отерла ладонью потный лоб, и в глазах ее я уловил что-то неприятное.

- Чай пить будете? спросила она вместо ответа.
- Нам не до чаю, гражданка, отчеканил Оглоблев.
- Нам не до чаю, повторил я и добавил: Мы приехали за вами. Машина ждет. Собирайтесь.
 - Куда это?
- Как куда? В Москву, конечно. А куда же, я волновался, но старался говорить спокойно и, повторяю, выдавливая из себя улыбку.
 - Не хочу. Я у сестры переночую.
- И не думайте! воскликнул я. Вам проголосовать надо за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву. Собирайтесь!
- Не буду голосовать за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву, вдруг решительно произнесла бабушка Граня и опять в глазах ее я уловил что-то неприятное.
 - То есть, как это не буду? изумился я.
 - А так, не буду.
- Не будете? как бы рикошетом, угрюмо изумился и Оглоблев.
 - Не буду, ничуть не испугавшись, повторила бабушка

Граня.

- Это... это почему же? спросил я.
- А потому, что оканчивается на у.
- Почему, гражданка Пастухова? спросил Оглоблев, сделав акцент на слове "гражданка".
- Я сказала: а потому, что оканчивается на у. Не хочу и все тут.

Сестра ее, Дуся, одутловатая, как моя тетка, которая страдает атрофией щитовидной железы, куря сигареты "гвардейские", глядела перед собой в стакан с чаем, и молчала, не вмешиваясь в наш разговор. Но я подумал, что она-то, наверное, "отлогосовалась".

Сокращая весь этот эпизод, скажу, что бабушка Граня стала не бабушкой Граней, а кем-то совсем другим. Перед нами был твердый орешек, камень, гранит. Заартачилась так, что и многозначительные покашливания Оглоблева в кулак на нее не действовали, ну и все мои угрозы тоже не действовали. И, главное, она не собиралась объяснять нам причину, по которой она отказалась от самой почетной функции советского гражданина — выбирать свое народное правительство.

— Потому, что оканчивается на у, — продолжала твердить она бессмысленно, а в зрачках ее я уловил уже даже гнев.

Время же шло. Шофер в машине погудел нам, о чем мы заранее условились, как бы напоминая о том, что избирательный участок в полночь закрывается.

Ну и пришлось нам пойти на попятную (это был тактический ход, конечно). Я сказал бабушке Гране:

— Ладно, пусть будет по-вашему. Хотите голосуйте, хотите нет. Это ваше право. Мы вас в тюрьму посадить не можем. По Конституции не положено.

Эти фразы прозвучали, как лозунг, с восклицательным знаком на конце и явно понравились бабушке Гране, и она опять предложила чаю с бубликами.

Ну что ж! По тактическим соображениям мы со старшим лейтенантом сели за стол и, обжигаясь, выпили по стакану чаю и прожевали по бублику. А потом потратили еще минут десять на

то, чтобы убедить бабушку Граню вернуться в Москву.

— Да ведь машина есть, — кипятился я. — Мы вас с ветерком прокатим, и не придется вам завтра в электричке толкаться.

Помогла тут нам Дуся. Она тоже посоветовала сестре вернуться с нами. И, поколебавшись, бабушка Граня согласилась.

По дороге в Москву, по-стариковски уронив голову на грудь, она хотела было вздремнуть, но я не дал ей этого, и шофер наш, рябой черт, бывалый парень, понял ситуацию и все старался въезжать в рытвины и вел машину, как новичок, делая резкие повороты.

Сидя рядом с бабушкой Граней, я решил разжалобить ее, использовав ее веру в Бога.

- Бабушка Граня, сказал я, ведь вот вы думаете только о себе, а Христос думал о своем ближнем, тут я даже пустил слезу. Вот вы не хотите голосовать за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву, а для меня это, все одно, что смертный приговор.
- Это почему же? Начальство ругать будет? Скажет, плохой агитатор, что ли?
- Да нет, бабушка Граня, продолжал я, не только это. Ругань пережить можно. Ну, плохой агитатор, ну, не сумел убедить вас, и так далее. Нет, не это, бабушка Граня.
 - А чего же?
- А вот чего: я же студент, понимаете? Мать моя из последних сил выбивается, работает на телеграфе в Саратове, присылает мне на жизнь, хотя я получаю от советской власти стипендию и имею койку в общежитии (отец мой погиб во время авиационной катастрофы). Но ведь хочется же мне и в киношку сходить, ну и чего-нибудь сладкого к чаю купить. Ну вот... я написал мамаше письмо, и написал ей, что если выборы в Верховный Совет СССР пройдут успешно, то я, как отличавшийся агитатор, в награду, получу бесплатную путевку на две недели в дом отдыха. Написал я мамаше, что мечтаю походить на лыжах в Подмосковье. Ну вот, а теперь... плакала моя путевочка. Если пы, бабушка Граня, не проголосуете, путевку получит только Леля Кишмишева, моя однокурсница, тоже агитатор. Так мне сказал наш секретарь Партбюро, тов. Симбирцев. Он так и

сказал: проголосует тов. Пастухова, проведешь свои зимние каникулы на лыжах, а не проголосует, не взыщи брат...

(Между прочим, все это было правдой.)

Бабушка Граня ничего не ответила, но я почувствовал, что нанес ей первый серьезный удар. А второй вышел по случайности, но это была, так сказать, роковая случайность, и для меня и для нее.

— Ох, как хочется мне походить на лыжах в Подмосковье, — продолжал я плачущим голосом, под одобрительное покашливание Оглоблева, который сидел рядом с шофером. — Вот Лелька Кишмишева уже пронюхала, что путевки будут в местечко Зелиноградская.

Не успел я произнести название этого курортного поселка, как бабушка Граня ахнула, схватила меня за руку и сказала:

- Неужто Зелиноградская? Ну, это от Бога...
- Что от Бога?
- Да ведь сам-то, хозяин мой, Иван Аристархович, красавчик наш, там дачку имел, с колоннами и с бассейном. Мы туда на лето всей семьей выезжали. И экипаж у него там был. Краасивые места.
- А рядом, как я слыхал от Лельки Кишмишевой, знаменитая деревня Абрамцево, подхватил я. А там, говорят, дом есть, в котором знаменитые русские художники прежде жили.
- Как же, как же, оживленно воскликнула бабушка Граня. Мы туда на экипаже ездили. Сам ездил, и меня с дочерьми брал. Кра-асивые места.

Тут я вздохнул и повторил:

Плакала моя путевочка. Не видать мне этих кра-асивых мест.

У нас там и лошади были, — вспомнила бабушка Граня. — И корова была, моя любимица... Маруня...

И она вдруг расплакалась. Я дал ей носовой платок, а старший лейтенант Оглоблев в этот момент, ни с того ни с сего, взял и чихнул.

Когда мы въехали в Москву, бабушка Граня уже деловито сказала:

— Везите меня на участок. Проголосую я за тов. Мышкина и тов. Леонтьеву.

Мы вошли в зал в 11.45, за пятнадцать минут до закрытия. Там уже готовились к подсчету бюллетеней. Правда, майор Темкин, сидя за столом, склонив голову на локти, дремал. А председатель избирательной комиссии, тов. Кумыкин, вытерев свои потные ладони о брюки, лично провел бабушку Граню в кабину и закрыл за ней занавеску.

Что же касается тов. Симбирцева, то он подошел ко мне, поздравил меня, и сказал:

— Молодцом, тов. Чукчин. Теперь у тебя все 100 процентов. У тебя и у Лели Кишмишевой. Золотой вы народ, комсомольцы! Работаете не покладая рук! Хвалю, хвалю...

В итоге, бабушка Граня "отголосовалась", в процентах наш участок вышел на второе место по району, показав 99,6 процента по охвату избирателей и 99,8 процента по голосованию за блок коммунистов с беспартийными, а я поехал на две недели в Зелиноградскую, походил там на лыжах и побывал в знаменитом доме русских художников в Абрамцево.

Через несколько месяцев, совершенно случайно, я встретил на Крымской площади Ивана Трынь, счетовода из Мосгоршвей-прома, с двумя красными пятнами под глазами и с волосами на голове как выцветшая пакля. Он улыбнулся и сказал мне:

- А вы все же доконали бабушку Граню.
- То есть, как это доконали?
- Да ведь на следующий день после выборов она же загнулась... померла...
 - Померла?

Я не понял почему, собственно, Иван Трынь улыбался. Это же было весьма неприятное известие. Неужели вся эта история так на нее подействовала, что она... может быть, свою роль сыграли и воспоминания о Зелиноградской, и о корове... Маруне...

Трынь сообщил мне кроме того, как бы между прочим, что сестра бабушки Грани, Дуся, проработав всю жизнь уборщицей в привокзальном ресторане Серпухова, тайком от милиции, дома, галала на картах и была очень даже популярной. К ней кое-кто из московской знати даже ездил.

Я подумал: а что если в тот вечер Дуся нагадала бабушке Гране трефового валета и что если им оказалася я?

— Скажите, товарищ Трынь, как по-вашему, почему бабушка Граня не хотела голосовать за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР? — спросил я.

Трынь скривил губы, поправил на голове волосы и ответил:

- Да потому что она никак не могла простить советской власти то, что она ущемила, а потом арестовала и сослала в отдаленные края ее хозяина, архитектора, как его, Ивана Аристарховича, моего тезку...
- Эх, обломки прошлого! воскликнул я и попрощался с Трынем.

Да, каждый раз, когда я прохожу по Кропоткинской, мимо этого старомодного шестиэтажного дома с "фонарями", я вспоминаю горячую пору всесоюзной кампании по выборам в Верховный Совет СССР.

Потрудились мы тогда на славу!

.

Ю. Кротков

Мы постоянно здесь живем В каком-то трудном разночтеньи То с тайным спутником вдвоем, То в пустоте, в уединеньи.

Мы здесь с нездешним наравне, Здесь вперемежку прах и чудо, Вот даже этот вздох во сне: Ведь он и здешний и оттуда!

О том, что я уже дошел, Что вот и там тебя цалую, Что мне там даже хорошо — Сказать оттуда не смогу я.

Вот почему уже сейчас За то, что верю в это чудо, Разрешено мне в первый раз Тебе сказать о том отсюда.

Дм. Кленовский, 1976

МИНОМЕТЧИКИ

В СТРАНЕ АМУНДСЕНА, ИБСЕНА, ГАМСУНА

Неудача так расстроила нас, что пропал всякий интерес к окружающему. Малость растолкав проснувшихся рядом с дверью, пробрались к стене, привалились спинами к ней, а плечами друг к другу и решили заснуть: не спали всю ночь. Рядом шумели, волновались, колготали пленные, старались растолковать конвоирам-немцам, чтобы пустили в уборную, — нам ни до чего не было дела. Спали, тяжело дремали, старались ни во что не вникать. Раза два конвоиры кричали, чтобы бежали в станционную уборную неподалеку. В вагоне, несмотря на отодвинутую с одной стороны дверь, было жарко, душно, с нас лил пот. — оно и лучше бы ничего не замечать. Ни есть не давали, ни пить. Состав наш передвигали в одну сторону, в другую, разобраться в этом движении было нельзя.

И только в сумерки, когда стало прохладнее и сильно запахло соленой водой, остановились видно совсем. Эшелон стоял в порту. Пер д нами, всего в десятке метров, возвышался темный борт большого корабля, с борта, в нашу сторону, спускался широкий трап.

Немцы-конвоиры не спеша ходили от корабля к эшелону и обратно, наверно о чем-то договаривались. Наконец, вагон за вагоном, пленные стали сходить на землю и, вслед за конвоирами, идти к трапу. Подошла наша очередь, вошли по трапу и мы, на железный борт. Дальше, на железной же палубе, был открыт большой люк, в нем уходили вниз, в темноту, деревянные ступе-

Продолжение. См. книгу 119 и последующие.

ни широкой лестницы. Спустились, — дальше еще лестница вниз, и еще одна, как в пропасть, остановили на третьем этаже трюма. Пока шли, глаза привыкали к темноте: на этажах по обеим сторонам, до высокого потолка, полки-нары, уходившие вглубь, как темные норы. На нарах соломенные тюфяки; места хватило всем и все равно просторно.

Это был очевидно большой транспорт для перевозки войск. Мы заняли только один этаж трюма, — а было еще два или три ниже и два над нами. Только разместились на нарах, — я порадовался: широко, и не так жестко, не на голых досках, — как нереводчик закричал: "Давай наверх с котелками, обед получать! Пе толпись, не торопись, на всех хватит. Наверху сразу вытягинайся в цепочку, в очередь, чтобы полный порядок!"

Опять по лестнице наверх. На палубе, в середине, большой навес, закрытый с трех сторон, из толстых железных плит, — называется наверно камбуз или как иначе, мне ни к чему, — в нем несколько кухонь. Очередь медленно проходит, немец зачерпывает в котле кухни и накладывает в котелок что-то вкусно пахнущее, совсем не похожее на лагерную баланду. Тут же другой немец берет из больших коробов порции хлеба и дает тебе одну, граммов в триста. Дальше, если есть у тебя кружка, можно напедить в кипятильнике кофе, — эрзац, конечно, но подслащенный и даже кажется чуть молоком скрашенный, — давно мы такого не пили!

Может быть, обед не был рассчитан на пленных? Он был и обильнее, и вкуснее даже тех обедов, что давали в шпионской школе.

Пока получили обед, стало темно. Впрочем, наверно так голько кажется: вчера ночь была совсем светлая. И верно, приглядевшись, можно различить мостик, на нем фигуры, лвижущихся людей на берегу. Нигде ни одного фонаря, ни проблеска: затемнение. Здесь наверно особенно боятся налетов. Голько по сторонам командного мостика едва обозначались синевато-фиолетовые глаза-пятна, не дававшие света: синее пудали не видно.

Спустился вниз, не спеша съел обед, выпил кофе. Занимаясь этим, заметил вокруг какое-то необычное оживление: пленные

поднимали соломенные матрасы, внимательно осматривали нары. Что они там ишут? Покончив с обедом, я тоже приподнял свой матрас — и обнаружил под ним, в ногах, большую корку высохшего хлеба. Очевидно солдаты или раненые, которых перевозили на этом транспорте до нас, были не голодные и остававшийся хлеб засовывали под матрасы. Пошарив потом в головах, я нашел еще порядочный кусок хлеба и даже — предел всех мечтаний, — смятую пачку с тремя-четырьмя мятыми же сигаретами. Я уже забыл, когда курил последний раз, — прикурив у курившего в проходе пленного и затянувшись несколько раз, почувствовал, как закружилась голова, и поспешил лечь на свое место.

Табак был крепкий, но какого-то еще неизвестного мне вкуса, словно бы и не табачного. Рассмотрел пачку: надписи на французском языке. Это были французские голуазы, о которых тогда я и не слышал. Может быть, и пароход был французский и перевозили на нем французские войска и с тех пор ни разу не убирали, не чистили трюмы.

Воодушевленные находками, пленные разбрелись по всем этажам, везде проверяя нары под матрасами. И многие радовались: многим попадалась новая добыча.

Удачи малость примирили с жизнью: приличный обед, дополненный найденными кусками хлеба, крепкая сигарета, внушали впечатление почти сытости и удовлетворенности. Я задремал. Уже известно, что везут в Норвегию. Хотел вспомнить что-нибудь о ней, из школы: фьорды, красивые пейзажи, — это все не для нас. А что для нас, зачем туда везут? Никто не знает. Что там могут быть за работы? Не догадаешься. Незаметно, я крепко заснул.

Проснулся должно быть утром, ощущая, что пароход плавно качается, — впервые в жизни было у меня это странное пароходное представление, что под тобой не твердь, а зыбкая, колышащаяся масса, которой нельзя доверять до конца. Вспомнил, что первый раз еду по морю, и никогда у меня не было такого ощущения, что под тобой — сотни метров одной воды, ничего твердого, на что можно с уверенностью ступить. Впрочем, на море меня никогда не тянуло: вырос на Волге, воды

достаточно. Правда, не море, река, но — Волга, не какая-нибудь Клязьма или Десна. У волжанина всегда чувство, что он почти вровень моряку.

Думая так, почувствовал, что тут какая-то фальшь. Откуда она? Даже встревожился: в чем это я наврал? Ах, да, опять все то же. Как же я забыл? Я же ездил уже по морю, видел его. Совсем педалеко, всего два часа езды. Из Кеми в Соловки, потом обратно в Кемь, а спустя четыре года — еще раз туда и обратно по тому же Белому морю. Как это забылось и я подумал, что вижу море первый раз? Или такое оно тогда было неприятное, не до него, что лучше его было забыть? Оно и забылось?

Кофе на завтрак можно было взять две и даже три кружки. Выдали опять по небольшому куску хлеба, к нему кусочки маргарина и сыра: ничего, червяка можна заморить. Спустились вниз. Переводчик объявил: разрешается подниматься на палубу и оставаться там, только не ходить по всему пароходу и не заходить ни в одну дверь, — за это посадят в карцер, в железную клетку, без выхода из нее на все время перехода. И еще весть: на первом, верхнем этаже есть большая баня, пользоваться ею можно кто сколько хочет и в любое время. Тотчас же устремились в баню.

Она в самом деле большая: по обе стороны с полсотни лушевых кабинок. И горячей воды не как в лагере, где не успеваешь лицо помыть: из душа вода вырывается с паром, обживает, полощись в ней, сколько твоей душе угодно. Пароход ведь, вода из котлов. Мылись чуть не до изнеможения, потом блаженно отдыхали на своих соломенных тюфяках.

Перед обедом, остыв от жаркой бани, поднялся наверх. Солнца нет, вокруг колышется прозрачная дымка не густого гумана. Справа, не так далеко, вырисовывается корпус другого парохода, всмотреться, такой же выступает то явственно, то расплывается в тумане и слева. Значит, плывем целым караваном. Потом слева выплыл из тумана серый военный корабль, очевидно сопровождающий караван. Немцы на палубе с тревожными, пасмурными лицами, все посматривают на воду по сторонам. На нас почти не обращают внимания.

Переводчик говорит, что немцы побаиваются подводных

лодок, бывает, нападают на немецкие караваны. Нет, не советские: советские к берегам Германии и Дании почти не отваживаются подходить, действуют английские. И самолеты могут налететь, тоже английские. Невольно и мы стали всматриваться в воду: не покажется ли случаем перископ подводной лодки? Скоро тревожное чувство распространилось и среди нас. Выходя на палубу, уже нельзя было не смотреть внимательно на воду, не следить за ней, хотя и без нас, с мостиков кораблей, наверно шарят по ней десятки глаз.

Страха однако не было, будто мы отупели. Мы словно уже привыкли, что война была глупой, нелепой, не похожей на прежние, которые можно было называть войнами. Гогда воевали на фронте, непосредственная опасность угрожала только тем, кто действительно воевал. Теперь дошли до того, что опасности подвергаются все. Вспомнил, как в марте проезжал через Сталинград, там, у городского вокзала, бродили какие-то странные понурые, словно бы поношенные люди, из стоявших на путях эшелонов. Это были эвакуированные из Ленинграда, их везли окольными путями на Северный Кавказ, где было не так голодно. Я заходил тогда проведать жившую неподалеку двоюродную сестру и в калитке столкнулся с одной ленинградкой, заходившей попросить кусок хлеба. Женщина была пожилой, но похожей на ветхую древнюю старуху, только глаза у нее необычно светились: она смотрела на собачонку, выбежавшую из двора. Показывая на нее скрюченным пальцем, она сказала, как показалось, с какой-то хищной ноткой в скрипучем и словно недоумевающем голосе: "Собачка... Ее же съесть..." — и сколько ни слышал я до этого и после рассказов о страшной участи ленинградцев, никто не сказал мне столько, сколько было в этих словах и их хищном тоне.

В первую войну у немцев тоже были наши пленные и тоже голодали, но опасности быть убитыми они не подвергались, — тепер никто из нас не мог надеяться, что останется в живых. Больше шансов, что не выживешь. А если выживешь, то угробят потом, дома, в "отечестве трудящихся". Настала повальная бойня, это уже не война, а бойня, — мы сумели уподобиться скоту.

А плывем в Норвегию, страну Ибсена, Гамсуна. Был у нас в двадцатые годы, при газете, тогда еще губернской, литературный кружок. Без особых, выдающихся талантов, но было и иссколько преданных литературе, влюбленных в нее молодых людей. Один из них, мой приятель, мог страницами читать на намять из "Пана", так увлекался Гамсуном. А Ибсен — разве не оказал он заметное влияние на нашу литературу начала века? Да и только ли на нашу? Вся Европа была без ума от его "Брандта", "Пер-Гюнта", "Кукольного дома", "Строителя Сольнеса" (кто теперь помнит о них?). В какой-то мере и оттуда пошли наши "Будем как солнце" или "Человек это звучит гордо". Как даже не палеялись, а видели тогда, что вот-вот люди достигнут какой-то псобыкновенной, лучезарной жизни! Что все будут свободными, сильными, счастливыми, и, понятно, хорошими.

К тем видениям и могли так хорошо подходить такие люди, как Амундсен, Нансен, и Норвегия представлялась страной отважных, честных, верных людей. А может быть, так оно и было? Видения необыкновенного будущего были тогда для многих такими явственными и пьянящими, они кружили головы, заставляли пускаться чуть ли не в вакхический пляс, — а он привел в эту вот вонючую лужу, в неизбывную бойню, которую шкто не знает, как можно было бы остановить...

Пока предавался этим мрачным размышлениям, пароход стало качать, сначала немного, потом больше и больше: море входило во вкус. Я плохо переношу качку, но сейчас никакой пеловкости и тошноты не чувствовал. Подумал, что наверно от истощения: желудок если не совсем пустой, то и полным его не пазовешь, жиру на теле и в помине не осталось, с чего же будет кружиться голова? Поднялся наверх. В мачтах и снастях свистел пстер, за бортом, куда хватает взгляд, везде бегут друг за пружкой взбудораженные барашки, по высоко вздымающимся валам. Похоже, входим в бурю.

Пора обеда. Спустился вниз за котелком и поразился: многие пленные катались по матрасам, стонали, корчились. Э, ист, на меня так не действует. Надо только скорее брать котелок и выбираться наверх: вид корчащихся и едкий запах тошноты, уже успевший наполнить трюм, могут действовать заражающе,

на свежем воздухе лучше. Наверху у кухни — коротенькая очередь: несмотря на голод, многие, страдавшие морской болезнью, за обедом не пришли. Тем выгоднее нам: примостившись вблизи на палубе, я съел обед, подставил немцу котелок еще раз — он даже с удовольствием зачерпнул мне со дна погуще. Можно бы подойти и третий раз, но боязно, как бы после голодовки не повредить себе, если сразу так много съесть. Еще заболеешь, что уж совсем ни к чему. Две порции получил и на ужин, думая, что надо пользоваться редким случаем: наголодаться успею, от этого никуда не уйдешь.

Вечером волнение утихло: вошли наверно в узкий пролив между Данией и Швецией. Когда-то по этим проливам, между множеством островов и островков, пробиралась эскадра Рожественского, на Дальний Восток, чтобы найти себе могилу на дне Цусимского пролива. Где-то здесь почудился им в рыбачьих судах враг, они открыли огонь, оскандалившись на весь мир, к радости западных газетчиков, всегда относившихся к нам враждебно.

Загремили якорные цепи: караван видимо опасался продолжать плыть ночью. Спать больше не хотелось, лежал, дремал.

Утром новое развлечение: решено пропустить всех еще раз через баню, а одежду — через парилку, для уничтожения насекомых. Но их уже не было, приказ встретили с неудовольствием. Во всех больших лагерях — в Умани, Холме, Седлеце, в Восточной Пруссии начинали с бани и "вощебойки", где паровой, где серной. От серной все кожаные части сгорали, а одежда потом воняла несколько дней, но она убивала насекомых; после парилок одежда была сырой, а насекомые попрежнему жили в ней. Но за столько санобработок их все же уничтожили без пропали и все бумаги, документы, ними фотографии, у кого они еще оставались. С каждым разом я с грустью смотрел на свои тетради с записями, были у меня еще и разные справки, — все они раз за разом расползались, сгорали и в конце концов погибли без остатка, оборвав последние связи с прошлым и родным. В баню с собой не возьмешь, а оставлять где-нибудь не разрешали.

Так и теперь: помылись, как бы впрок, — нужды в мытье не было, — потом получили сырую одежду. Напялили ее на себя и спустились отлеживаться, чтобы одежда просохла. Благо, в трюме тепло, не надо мерзнуть на дворе, под ветром, как нередко бывало в таких случаях.

Перед утром двинулись дальше, в страну Ибсена, Гамсуна (тогда я не знал, что его, оказывается, обвиняли потом в сотрудничестве с нацистами, может быть он тоже был "квислинговцем", — еще одно нелепое прозвище), Амундсена, Нансена. Впрочем, осталось ли что в ней от них? Как вот в этих немцах, что окружали нас, начиная от Крыма, — что в них от величественного духа Гете или Шиллера, Бетховена или Вагнера, Канта и Гегеля? Время не то, всякие фюреры, вожди и вождята, благодетельствуя, уволокли народы чуть не на тысячу лет назад. И что осталось нам от недавнего величия этих народов?

Когда-то, в школе, учили, что столица Норвегии Христиания. Теперь, в век расхристианизации, столица называется как-то иначе, наверно сочли, что Христиания звучит слишком не по-современному и вызывающе. Оно и верно, если пвигаться "вперед" к Вотану или негритянским, либо норманнским божкам.

Впрочем, что толку во всех этих мыслях. Оставлено тебе благодетелями одно: старайся выжить, больше думать тебе не положено ни о чем...

Дымка вокруг рассеялась, выглянуло солнце. Справа вскоре приблизился берег, лесистый, в холмах и горах, слева уже не свинцовая, как вчера, а синеватая даль чистого моря. Теперь видно, что в караване четыре корабля и сопровождают две минопоски, они идут поодаль слева. На берегу сквозь зелень проглялывают белые стены вилл, иногда целые поселки, там, похоже, гишина, мир, покой. Впрочем, это только так, издалека: где теперь мир на земле?

К вечеру, вдоль того же лесистого берега справа, подошли к (Эсло, нынешней столице Норвегии. Она как будто в низине. Мешанина домов, — белое, темное, отсюда, с рейда, все сливается, детали не различишь. Поднимаются несколько шпилей, куполов, наверно церквей, соборов, — опять-таки издали ничего

величественного или значительного. Не столица, так, губернский или областной город. Хотя, судить нельзя, из такого далека.

Долго покачивались на рейде. Горопиться нам все равно решительно некуда. И пароход обходился с нами хорошо, не хотелось расставаться с ним. Утром подошел буксир, хлопотливо потащил в порт, к причалу. А там, на твердой земле, уже ожидал длинный состав из привычных красных теплушек: возвращается ветер на круги своя, восстанавливается отвратный наш порядок постепенного или помедленнее истребления человеческих душ...

Когда сходили, у трапа наверху был расстелен брезент: приказали наши котелки бросать туда, в кучу. Это вызвало протесты: котелок, ложка, кружка в лагере первые вещи, чтобы выжить, без них пропадать. Но переводчики успокоили: на берегу сразу же получите новые.

И верно: сходя по трапу видели, внизу стоит немецкий солдат, с ним наш переводчик. Последний берет в большом куле котелки, какой попадется под руку, и сует проходящим пленным. Котелки разные: есть большие, двухлитровые, а есть совсем малые, на литр, не больше. Готчас же забеспокоились: какой попадется? Большой, малый? Вопрос важнейший: больше или меньше будешь супа на кухне получать?

На беду, мне и еще нескольким человекам подряд переводчик вылавливал в куле малые котелки, неизвестной армии. Кому они попадались, шли дальше с руганью: какой идиот такие посудки делал? Что это, для детей? В армии, где такие котелки, взрослых наверно не было, одни недомерки, чтоб им ни дна, ни покрышки.

Котелки не такие плохие. Хорошо вылужены, но полукруглые, одна сторона прямая: к боку прицепить, будет ездить, ну, да сейчас чего только не выдумывают, будто бы для того, чтобы было лучше. И с крышкой, а в крышке даже защелка на пружинке, наверно, чтобы прижимать котлетку или что другое. А для нас — какие там котлетки! Главное, чтобы побольше было, — а тут с гулькин нос. Наверно для очень сытой армии были такие котелки заведены, — а нам что с ними делать?

В вагоне рядом со мной неожиданно оказался воронежец, с

которым открывали мы перед Штеттином вагонную дверь. Его и уральца на пароходе видел часто, но разговаривали мы мало: каждый разговор напоминал о нашей неудаче.

Воронежец вертел в руках такой же малый котелок.

— И у тебя такой же недоносок? — спросил он. — Скажи ты, надо же, чтобы так не повезло! С такой ребячьей посудиной в лагере не проживешь, что-то мозговать надо. Смотри сюда, как ты думаешь?

Он показал: дно котелка надо спилить. Пилить нечем, — можно сточить на камне, по самому ободку, — донышко само отвалится.

— А дальше смотри, — воронежец взял мой котелок и на пето наставил свой, у которого надо отпилить дно. — Гвой котелок наверху тоже надо немного камнем сточить, тогда мой легко паленется сверху. И тогда камнем, на другом камне, надо постараться их крепче друг к другу приклепать, — подойдут, ни капли пе прольется. Главная задача: достать еще по такому же котелку. Приедем в лагерь, раздобудем, больше пайки хлеба вряд ли будет стоить. Дужки вытащить, выпрямить, соединить в одну проволоку, за нижнее ушко зацепить, пропустить в верхнее, пругой конец с другой стороны таким же манером, — как еще пержаться будет! И носить удобно. Я тебе говорю: не этот недопосок, а мировой котелок получится, на два литра! И ни капли на кухне мимо не пройдет!.. — воронежец даже повеселел от своей удачной выдумки.

Я полностью одобрил его мысль. В самом деле, котелок падо либо менять, добывать большой, либо сооружать такую башню из двух котелков. Посмотрим в лагере, какой вариант удастся осуществить...

Застучали колеса на стыках, — так, как стучат они по дорогим во всем мире. Едем уже по Норвегии. Какая она — через стенку вагона не увидишь. С трудом пробрался один раз к окну под потолком, — лес и лес по склону горы. Так, наверно, всю порогу.

Ехали не долго, часа три. Выбрались из вагонов на площадку товарной станции. И тут — прямо перед нами песистая гора, дорога уходит в заросшее лесом ущелье.

Окруженные тем же конвоем, побрели по асфальтированной дороге куда-то вглубь, — в лес, в горы. Дорога виляла, то поднималась полого, то опускалась, брели долго. Иногда по сторонам, на склонах, живописные группы чистеньких домиков. Уже перед вечером, в негустом лесу, показался поселок, за ним ворота лагеря.

Он на тот же, знакомый лад. У ворот вахта, дальше широкая дорога, по сторонам ее стандартные бараки. Вошли. Сначала бараки получше, почище, дальше похожи скорее на сараи. Потом узнали: здесь была стоянка кавалерийского норвежского полка (даже и в Норвегии могла быть кавалерия! Казалось бы, зачем? Наверно для порядка, для комплекта). В первых бараках были жилые казармы, дальше конюшни, — теперь и их приспособили под бараки для пленных. Так и должно быть: в скотское время и помещения для людей скотские, ничего странного нет.

Завели в дальние конюшни, без перегородок и нар. Знакомая процедура: раздевайся до гола, свяжи одежду, пойдет в дезинфекцию, — никакие доводы, что дезинфекцию только что прошли на пароходе, помочь не могут. Есть инструкция, ей все подчинено. Наскоро пропустили через баню с холодной водой, потом долго ждем, дрожа от холода, когда привезут одежду...

Это был центральный лагерь советских военнопленных в Норвегии, неподалеку от города Лиллегаммера, где стоял раньше один из полков норвежской армии. Разместили в бараке с двойными нарами. Переписывали, осматривали, — на осмотре был и молодой военный доктор, немец, наверно определял, на глаз, нашу работоспособность.

И тут земля слухом полнилась. Здесь, в лагере Лиллегаммера, держали всего полтораста, двести человек: постоянных рабочих мастерских и доходяг, для работы негодных. Годных отправляли в лагеря на побережье: был небольшой лагерь в Осло, в Бергене, Ставангере, Грондгейме и в других городах у моря, до самого Нарвика на севере. Везде наши пленные строили береговые укрепления, убежища для подводных лодок, работали в мастерских по ремонту немецких судов. Кормежка, говорили, была скудная, содержание скверное, много народа болело,

умирало. Кое-где местному населению удавалось немного помогать нашим пленным, но немцы старались эту помощь не допускать. Говорили, что в Ставангере норвежские рыбаки, слававшие немцам весь улов, предлагали, что они пойдут в море ловить рыбу и в воскресенье, чтобы улов сдать в лагерь наших военнопленных, но немцы не разрешили. Впрочем, это могла быть пустая болтовня, говорящая лишь о надеждах военнопленпых. И в Умани, на Украине, потом в Холме, помню, тоже говорили, что местные жители хотели пленным помогать, а пемцы не разрешали...

В один из первых дней нас и здесь, на грузовиках, возили в Лиллегаммер, в больницу, на рентген: немцы и тут страшились туберкулеза. Здесь тоже, говорят, был в лесу малый лагерь губеркулезников, куда немцы не заходят. Привозят еду к моротам, передают полицейским и уезжают. Что делается в этом лагерьке, никто не знает: из него, говорят, не вышел еще ни один человек.

Лиллегаммер был по другую сторону железной дороги, неподалеку от станции. Небольшой, очень чистенький городок, сповно покрытый лаком и сияющий своей чистотой. Нам, впрочем, дела до него не было, как наверно и ему до нас...

Кормежка здесь, на первый взгляд, была даже лучше, чем в прежних лагерях. Супа наваливали мне полный малый котелок. Брюквы, репы или свеклы тут почти не было, но попадались порядочные куски рыбы, — у кого были большие котелки, получали в них иногда по фунту и больше. Но это была какая-то странная рыба. Когда я попробовал ее первый раз, почувствовал, что жую будто бы мочалку, без малейшего вкуса, — ни рыба, ни мясо, ни овощ. Что за штука? Не могли понять и другие.

Работы не было, но иногда брали по несколько человек гдешбудь расчистить дорогу, или расширить ее, что-то убрать. Олнажды я попал в склад, где пересортировывали и перекладышли обмундирование, продукты. У одной стены возвышались шысокие поленицы, до потолка, из не очень толстых, но довольно илинных поленьев. В одном месте поленица развалилась, нам приказали привести ее в порядок. Это однако не были поленья: слишком уж легкие, как вата, дерево таким не может быть. Мы недоумевали и не могли понять, с чем имеем дело. Подошел полицейский:

— Что, разобрать не можете, серость колхозная? — издевательски спросил он. — Это же рыба. Треска, которую вы почти каждый день на обед получаете.

Вон оно что! Откуда же нам знать? Оказывается, это была обезжиренная и высушенная треска. Норвежские рыбаки попрежнему ловили рыбу, под присмотром немцев, и улов сдавали им. Треску, кажется обваренную (нам варили ее второй раз), отправляли под пресс, выжимали из нее весь до капли жир, затем высушивали, — она и превращалась в поленья, наше главное и основное питание. Наверно, в ней оставалось что-то питательное, но на вкус она не отличалась от мочалки и оставляла нас после обеда голодными.

Хлеб — те же триста или четыреста граммов липкой, пополам с мякиной или колючими опилками, массы, — тоже не насышал.

Вместо кофе здесь давали "чай", — из чего он был, для нас осталось тайной, но с чаем ничего общего он не имел. Правда, иногда он был чуть подслащенным.

Вскоре после рентгена стали собирать и отправлять небольшие партии, по двадцать, тридцать человек. Отправили моих компаньонов, по попыткам сбежать, уральца и воронежца. Куда-то в рабочие лагеря, на побережье, а куда именно, никто не знал. Постепенно лагерь пустел.

Меня в партии, как и еще человек пятьдесят, не назначали, почему обходили, я не знал. А я бы не прочь уехать в рабочий лагерь, где, говорят, все же было не так голодно. Гам могла оставаться надежда, — здесь ее не было.

Почему меня не назначали в рабочие партии, догадаться было можно. Однажды нас, десятка полтора человек, взяли за проволоку, расширять дорогу на каменистом склоне горы, возвышавшейся к востоку от лагеря. С трудом поднялись туда. Инструменты оказались на месте: тяжелые кирки, ломы, лопаты. Полицейский сунул мне кирку, — я едва ее поднял, до того показалась она мне тяжелой. Расставили по дороге: надо было

отбивать киркой по склону камни, дальше лопатами их должны сбрасывать вниз. Но какое там: я не мог даже поднять кирку, взмахнуть ею, а не то, чтобы отбить ею камень. Да и многие другие были не сильнее меня. По дороге как раз поднимались трое или четверо молодых немцев, — здоровые, сытые коблы. Один, унтер, остановился около меня и с негодованием смотрел, что я не могу поднять кирку. Для него это, похоже, было оскорблением: раб не в силах работать. В руке у него была тонкая палка, вроде хлыста, он поднял было ее, замахиваясь, — я должно быть так выразительно посмотрел на него, что он опустил руку и пошел дальше.

При лагере были портновские мастерские, сапожная, — они чинили одежду и обувь для пленных в рабочих лагерях. Была команда плотников, — всех этих постоянных рабочих было человек шестьдесят, на привилегированном положении: они жили в хорошем бараке, спали на койках с матрасами, простынями, одеялами. Им выдавали двойной паек, наверно за наш счет, так что они не голодали. К ним относились и рабочие кухни и кипятилки.

Была еще бригада, человек в двенадцать, но не постоянная: ее набирали каждий день утром, после поверки. Этих увозили куда-то к Лиллегаммеру: там, при немецкой воинской части, был большой крольчатник и несколько лошадей, бригада и обслуживала их. Попасть в нее пленные считали счастьем: на работе они ели морковь и капусту, которые отпускали для кроликов; другие, при лошадях, приносили в карманах овес. В котелках, камнями, они обдирали его, дробили, просеивали, из остатков варили кашицу. И когда утром отбирали в бригаду, у ворот происходили свалки и драки в кровь: каждому хотелось попасть в эту дюжину.

Сносно жили еще полицейские и переводчики, тоже около дюжины. И они жили в отдельном небольшом бараке, немного в стороне, вблизи проволоки. Ближе к воротам был барак санчасти, — как и в других лагерях, он не пользовался хорошей славой. Считалось, что врачи и санитары объедают больних и не лечат (да и нечем было: лекарств нет), а больше помогают им переселяться в иной мир. За бараком санчасти был сарыйчик,

если никого поблизости не было, можно в него заглянуть: там почти всегда лежало шесть-семь умерших пленных.

Мы, человек шестьдесят доходяг, занимали один из средних бараков. В середине длинный коридор, по сторонам небольшие комнаты, с двойными голыми нарами, на них мы и жили. Было скученно, душно, вонюче; утром, после поверки, на час или больше нас не пускали в барак. Полицейские открывали все окна и двери, чтобы проветрилось. Потом входили в холодный, казавшийся промерзшим барак и дрожали, пока не согревали его своим дыханием.

Но очень холодно не было. На дворе декабрь, а погода стояла довольно теплая: в Норвегии морозы бывают редко, климат мягкий, из-за Гольфштрома. Но в январе выпал снег, начались холода.

В лагере было хмуро и тихо. Пока не отправили годных для работы, в коридорах еще собирался базар, меняли хлеб на табак или баланду на хлеб. Некоторые считали, что две порции баланды дают больше питания, чем дневная порция хлеба, и меняли ее на два котелка супа. Суп поставляли портные, сапожники: они предпочитали хлеб. Другие не могли отказаться от курения и меняли свой суп или хлеб на две-три сигареты.

В свободное время сидели молча по своим местам. Кто чтото чинил, зашивал, были хорошие мастера: вытачивали и придумывали хитроумные игрушки, вырезали из дерева петухов, искусно раскрашивали их, — все это шло немцам за хлеб. Иной трудился над хитрой игрушкой двое суток — и получал за нее кусок хлеба фунта в полтора. Иногда завязывались ленивые, уже надоевшие споры, ругали колхозы, — большинство было колхозников, — голодную жизнь дома.

На кухне, посреди лагеря, немцы вывешивали сводки своего командования, о военных успехах. Бои в Сталинграде, вышли к Волге, на юге заняли Владикавказ... Но потом сводки перестали менять и долго висела старая, о том, что вышли к Волге. Что делалось на фронте, мы не знали. Вскоре переводчики все же дознались у немцев, что под Сталинградом застопорилось, успехов больше нет и что с Кавказа тоже начали отходить.

После этого вчерашние колхозники вроде бы вдруг пере-

менились. Нет, они не принялись ругать немцев, — хвалить их и прежде было не за что, но они стали быстро забывать, как плохо, скверно было жить в "отечестве трудящихся". И колхозный бухгалтер Петров, высокий высохший пожилой мужик, главный заводила в нашей комнате по части обмена супа на хлеб и наоборот, с распухшими от голода щеками, похожий на бродящую среди нас живую смерть, стал громко вещать, как хорошо ему жилось до войны, какие жирные и вкусные борщи варила его жена, хотя совсем недавно он проклинал прошлое, говоря, что никто в колхозе не мог прожить, не воруя. Прежде ему сразу сказали бы, что он тоже на колхозной шее сидел, — теперь пичего, слушают, не возражают, некоторые даже поддакивают. Но колхозников что же винить, народ безответный, немцы в псрвую очередь виноваты: ни нам не дали добиться победы (на "нашей стороне"), ни сами не спасутся от полного разгрома.

За долгие пустые дни я досконально изучил территорию лагеря. К востоку, сразу за проволокой, уходила ввысь поросшая редким лесом гора, с продольными тропинками по ней, уходившими направо за деревья. В середине спускалась вниз канавка, в ней журчал чуть слышно ручеек, прямо под проволоку в серелине лагеря. Проволока в два ряда, но в ручье столбов не было: на той стороне перекинуто несколько плах, как мостик, с него свисают вниз концы колючей проволоки. Их не трудно наверно ночью отогнуть (фонари горели тускло, боялись налетов английской авиации), пролезть по ручью и уйти в гору. Но обессилевший, далеко ли уйдешь?

В лагере были слухи, что кое-кому удавалось уходить в Швецию. Норвежцы иногда впрочем задерживали беглецов и передавали немцам, но были и такие, что помогали добираться до границы. В Швеции всех наших пленных интернировали, а после войны передадут "на родину"...

Я недоумевал, почему здесь, в этом лагере, я так быстро сдал. Как будто здесь не хуже, чем в других лагерях. И обезжиренная треска наверно была не менее питательна, чем свекла или брюква там. И все же я чувствовал, что с каждым днем мне груднее и труднее держаться на ногах.

Немцам наверно надоело смотреть на наши заросшие

физиономии: они приказали устроить парикмахерскую в пустом бараке рядом с нашим. Парикмахеры нашлись, нашлась и пара бритв и машинок для стрижки волос. Примитивно: три стула, тусклое треснувшее зеркало, но не до роскоши, и это сойдет. Я стал два раза в неделю заходить в парикмахерскую бриться. И первый раз, посмотрев в зеркало после бритья, с трудом узнал себя. Как будто я, — а как будто и не я. Лицо темное, в глубоких морщинах, под глазами низко, ниже скул, висят большие мешки опухолей, — они в особенности меняли лицо, делали его каким-то страшным, словно готовым для смерти.

Почему-то окружающие пленные, колхозники наши, дали мне кличку "инженер". Никаким инженером я никогда не был и не собирался им быть, — откуда они выдумали? Но вот, выдумали, и кличка приклеилась. И как только встречались с какимто вопросом, на какой не могли ответить, обращались ко мне: "А ты как думаешь, инженер?" Чаше всего я знал не больше, чем они. Этой кличкой наверно они хотели выделить, подчеркнуть, что я не из них, другая кость и может быть в не относящемся к их жизни знаю больше, чем они.

И немцы видно выделяли, — наверно кто-то успел им настучать и о кличке "инженер". Среди немцев был зондерфюрер, небольшой высохший старичок, до революции живший и работавший в Петербурге, он сносно говорил по-русски. Его считали представителем в лагере Гестапо, во что я плохо верил: какой он гестаповец? Хотя, может быть, шел чисто по политической линии. Однажды он вызвал меня, в свой домик недалеко от вахты, в котором жил и работал. Предложил сигарету, — неспроста, думаю, немцы сидели на жестком табачном пайке, получали три сигареты в сутки. Некоторые, правда, получали табак и сигареты из дома, в посылках, но мало, в Германии с табаком было очень туго.

Расспросил о моем прошлом, несколько раз, вроде бы невзначай, спросил, когда и где работал инженером, — ясно, немцы о кличке знали. Чувствовалось, что моим ответам не верит, или, по меньшей мере, верит не всему, считает, что говорю не всю правду. Мне все равно: верь, не верь, мне от этого ни жарко, ни холодно. Просидел у него часа полтора.

Пришли холода. Может и не такие сильные, но для нас, голодных, они казались большими. Дорога посреди лагеря подмерзла. И ждать, когда проветрится барак, стало еще томительнее и неприятнее. Наверно поэтому начальство придумало нам развлечение. До этого строй после поверки распускали, и мы бродили по лагерю, кто куда хотел. Геперь строй не распускали. По команде поворачивали направо, во главе вставал полицейский, командовал, и мы шли строем по дороге в другой конец лагеря, мимо бани, к уборной, — длинному навесу, замыкавнему дорогу. По пути полицейский командовал: "Запевай!" И наверно заранее назначенный им пленный начинал выводить, все равно, какую песню:

"Утро красит нежным светом, Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом, Все советская земля..."

Сначала выходит нестройно и без охоты, но потом втягиваются, настраиваются и вот уже орут во всю глотку, на злонемцам, всему свету, может быть и самим себе:

"Броня крепка, и танки наши быстры, И наши люди мужеством полны, В строю стоят советские танкисты, Непобедимой родины сыны!"

Идет строй, люди пошатываются, едва на подкашивающихся ногах держатся, но орут, что есть мочи: "непобедимой!" Знают, что не так, знают, что и танки в первых же боях растеряли, ничего от них не осталось, — все равно орут! Поворачивают, идут назад и новую начинают:

"Артиллеристы, точней прицел, Наводчик точен, разведчик смел, Врагу мы скажем — нашу родину не тронь, Не то откроем сокрушительный огонь..."

Среди наших доходяг от всех родов оружия остатки есть, и пртиллеристы, которыми всегда славилась русская армия, на этот раз подвели, не могли выручить и вместе с нами шагают, а пругие давно через сарай у санчасти прошли и в земле гниют, — все равно кричат: "не тронь!".

Вступают летчики или хотя бы солдаты из батальона аэродромного обслуживания:

"Все выше, и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц, И в каждом пропеллере дышет, Спокойствие наших границ..."

Тоже подвели неслыханно, самолеты незаправленными на земле оставили, и немцы разгромили нашу авиацию на аэродромах в первые же дни, — но тут ведь не о правде души стонут, кричат, а о том, что и как должно было быть, какими они сами себя видят или видели! И выводят то, что в заднем уме, в самой тайной, скрытой и от самих себя глубине чувств, и сейчас сидит: дурак, немчура, что ты понимаешь? Думал, похоронил нас, в землю загнал, — а по-твоему все равно не будет, недоделок ты несчастный... Со стороны смотреть, что же — ветерки (ветер с ног валит), огарки, догорай веники (вспоминаю, как еще называли доходяг в концлагерях, да не все помнится, забылось уже. Может и в отрывках из песен какие строчки перевраны, — надеюсь не обессудят, кому удалось уцелеть. А не удалось — на том свете поправим!)

Маршируем туда-сюда, уже охрипли, устали и без огня и убедительности, почти вполголоса:

"Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, И первый маршал Ворошилов Клим..."

Тут совсем ерунда: какой там маршал, ему разве только хвосты лошадям крутить. Сразу опозорился и сколько народу уложил или врагу отдал. Опростоволосился, как баба последняя. Нет уж, о маршалах и вожде их нечего вспоминать.

Гора норвежская, что нависла над лагерем, первый раз с сотворения своего слышит такие песни и с недоумением наблюдает, чего эти догорай веники, едва волоча ноги, орут что-то во всю глотку?

Спросил потом у полицейского, с чего это нам приходится теперь концерты давать. "А подумали, что может подбодрятся немного, дух свой малость укрепят. А то сидят сиднем в бараке, закиснут совсем".

Видя друг друга каждый день, мы уже привыкли к своим

лицам, мало замечаем, на что похожи. Но иногда я старался посмотреть словно со стороны — и мороз проходил по коже. Шинели висят как на шестах, руки, ноги высохли и только лица опухшие, синеватые, как в гроб кладут. Там, где должен быть бицепс, я легко обхватывал руку пальцами, даже лишнее оставалось у пальцев: вместо мускула осталась тонкая тряпочка. Свое лицо видел в зеркале парикмахерской два раза в неделю — оно было страшным.

Худо было то, что отказывались держать ноги. Однажды я поскользнулся и упал около крыльца барака. Хорошо, что мог дотянуться рукой до ступеньки, — подтянулся ближе, но встать на ноги не могу, даже с помощью рук. Кое-как, на четвереньках, вполз на крыльцо, добрался до двери, ухватился обеими руками в ручку и встал, дрожа всем телом, до того вся эта операция потребовала много усилий.

До этого я как-то спокойно относился к своему состоянию. Оппущения острой опасности не было. Да, конечно, быстро худею, силы оставляют тело, но так уже было. А тут прорезала мысль: совсем худо, пожалуй, из этого лагеря не выберешься, вывезут тебя из сарая за санчастью, на запряженных клячей санях.

Что-то надо предпринимать. Но что? Ничего не приходило в голову. Как отсюда выбраться? И куда?

Спасение все же пришло. И опять так, что трудно было его ожидать...

Продолжение следует

Г. Андреев

Одна миллионная миллиметра — Размеры вирусов. Не может быть, Что в результате тумана и ветра Они могли тебя убить.

Не может быть, что какой-то вирус Гебя убивал, как тать, пока Гвои глаза глядели, расширясь, На посветлевшие облака.

Гебя, вероятно, убил архангел, Ударил огненным крылом Воитель в небесном высоком ранге, Сопровождаемый орлом?

Еще продолжалась инфлуэнца, Еще ты кашлял и чихал, Когда он вылетел из солнца, Как молния сквозь черный шквал?

На горную снежную вершину Упал его свет, и в тот же миг Гебя в светозарную дружину Взял знаменосцем архистратиг?

Игорь Чиннов

На прелестном острове Гаити, В пестром городе Санто Доминго, Мы сначала поиграли в бинго, А потом поехали, глазея, В поисках заманчивых открытий, И в этногарфическом музее Проводник сказал нам: "посмотрите".

Скрюченный скелет лежал в витрине, Челюсти скривились в страшной корче. "Задохнулась, да, в песке и глине, Не хватало воздуха, короче За грехи живую закопали: Изменила, обманула мужа". Стало тихо в охлажденном зале. В женских лицах я заметил ужас.

Долго, может быть, не засыпали Милые туристки. Их пугали Некоторые странные детали Мира, где грехи не торжествуют: Как ее землею засыпали — Теплую, кричашую, живую.

Игорь Чиннов

КН. Д.П. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ В 1922 ГОДУ

Публикация Г.П. Струве, с послесловием Джеральда Смита

Разбирая полученный мною недавно из Парижа (в отличие от уже ранее находившегося у меня личного архива моего отца) редакционный архив его журнала "Русская Мысль", выходившего в 1921-1924 гг. сначала в Софии, а затем в Праге и в Берлине, я обнаружил в нем не напечатанную статью кн. Дмитрия Петровича Святополка-Мирского, после службы в Добровольческой Армии жившего сначала в Польше, а потом в Афинах, а затем обосновавшегося в Лондоне, где. по приглашению Мориса Бэринга и сэра Бернарда Пэрса, он стал преподавать русскую литературу в Лондонском университете (в 1932 году, став перед тем членом Британской коммунистической партии, он вынужден был покинуть свой пост лектора и вернулся в Советский Союз, где довольно скоро был "репрессирован", что можно было наперед предвидеть, и закончил свою жизнь — по официальным советским данным, в 1939 году — в одном из сибирских лагерей).

К статье было приложено следующее письмо автора к моему отцу:

<u>2</u>0 июня 1922 г. Кеw

Глубокоуважаемый Петр Бернардович, по совету Ариадны Владимировны [Тырковой-Вильямс] посылаю Вам

мою статью о Современном состоянии Русской Поэзии, в надежде, что Вы найдете возможность дать ей место в Русской Мысли. Мне кижется, что она не вполне противоречит духу Русской Мысли хотя многие утверждения Вам наверно покажутся спорными. Боюсь тоже, что она очень длинна. Но мне кажется, что тема — современное состояние русской поэзии — имеет огромный обще-национальный интерес.

Глубоко уважающий Вас Д. С. Мирский

В шах предстоящих передвижений, мой адрес удобнее всего через А. В. Гыркову. (47 Woodville Gdns, Ealing, London W.).

На письме рукой моей матери, которая вела регистрацию постунашиих в "Русскую Мысль" рукописей, был проставлен № 42. А рукой инца карандашом было написано: "Дан ответ". В каком смысле был дан этот ответ, остается неизвестным. Надо думать, что, если бы рукопись не была принята, отец возвратил бы ее автору — хотя бы ужу потому, что с А.В. Тырковой его связывала давняя дружба (самого Святополка-Мирского он, если не ошибаюсь, до того встречал в /Іондоне). Так как журнал выходил редко и нерегулярно, был завален рукописями, а через год с небольшим после того вынужден был прекрапишь издание по недостатку средств (последний номер, вышедший в ничиле 1924 года, готовился еще в 1923 году), возможно, что даже если мой отец ознакомился с рукописью и готов был ее напечатать, напечининие было отложено, и рукопись так и не дождалась очереди. Вериее, однако, предположить, что П.Б. с рукописью не ознакомился: ишичатанная довольно небрежно на машинке, она не носит никаких е ислов редакторской правки. Я о рукописи тогда ничего не слыхал, и ии отец ее не присылал, а я с осени 1922 года и до прекращения журнала ведал печатанием его в Берлине. Когда в 1927 году отец нь ньбновил издание "Русской Мысли", вопрос о статье Святополка-Мирского едва ли мог возникнуть — уже из-за непрочности и очень миных размеров журнала (тогда вышел в Париже всего один номер), кик и потому, что к тому времени сам Святополк-Мирский не полько стал убежденным евразийцем (а евразийство вызывало у отца штрое отталкивание), но и начинал склоняться к просоветской no mandi.

Мне статья, когда я ее теперь прочел, показалась интересной, хотя кое в чем и спорной (как говорил сам автор), и не совпадающей в главном с другими русскими писаниями Святополка-Мирского, а потому не утратившей своего значения и заслуживающей напечатания. Я решил предложить ее в "Новый Журнал" и при этом просить моего хорошего знакомого, молодого английского слависта, д-ра Джеральда Смита, который уже давно собирает материал для биографии Святополка-Мирского и готовит о нем книгу, написать к статье послесловие, с анализом статьи и ее места в ряду других работ Святополка-Мирского. Это послесловие чититель найдет в настоящей публикации.

Позволю себе отметить, что во втором томе своей превосходной истории русской литературы (Contemporary Russian Literature: 1881-1925; London 1926. В послевоенном американском издании этого труда оба тома вышли как один, причем заключительная часть книги — о пореволюционном периоде — была значительно сокращена) Святополк-Мирский, в связи с "Вехами", дал очень лестный отзыв о моем отце, назвав его "одним из самых блестящих политических писателей нашего времени" и предсказывая, что, когда остынут партийные страсти, он будет признан "одним из классиков русской политический мысли и политической литературы". Уже гораздо позже — не помню, когда, но, должно быть, в 30-х годах — я обратил внимание отца на этот отзыв, и он был им очень заинтересован.

Отмечу еще одну мелочь: хотя статья Святополка-Мирского подписана его настоящим полным именем, и даже с титулом, как он продолжал подписывать за рубежом свои русские статьи, под письмом он поставил уже принятую им тогда в Англии подпись: Д.С. Мирский.

Γ.C.

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Вот наш патент на благородство, Его дает нам наш поэт. Здесь мощной мысли превосходство, Здесь вдохновенной жизни цвет.

Фет

Русская поэзия вот уже около четверти века переживает период расцвета, приведший ее от приниженного и ничтожного положения девяностых годов к нынешнему господствующему. До 1908 г. приблизительно шел подъем, затем мы вышли на плоскогорье, где и посейчас находимся. Молчание и смерть Блока не изменили положения — русская поэзия богата разнообразными дарованьями. Революция не только не нанесла удара поэзии, но, наоборот, возвысила ее и абсолютно, и относптельно: абсолютно — усилив и укрепив индивидуально лучших поэтов и подвинув их на достижения высшие, иногда песоизмеримые с прежними; относительно — уничтожив почти исю непоэтическую литературу и обнажив до наглядности факт, угадывавшийся и раньше, что поэзия захватила все поле литературной деятельности и вытеснила всю прозу вон вовсе. Это не прсувеличение, хотя этому, может быть, и нечего радоваться. Вся проза нашего времени (кроме вещей совсем непритязательных и

явно эпигонских) — проза поэтического происхождения. Такова самым явным образом проза Белого и Ремизова, но такова ведь и проза Бунина.

Известнейший из молодых прозаиков, Пильняк, только доводит до абсурда поэтическую тенденцию своей прозы. Не только старая Толстовская традиция вымерла, но и Чеховская погибла бесславно, и Розанов не оставил наследников.

Русские поэты оказались, когда пришла пора, мудрыми девами, сохранившими свой елей и достойными выпавшей на их долю судьбы. Именно в поэтах мы слышим ясней всего голос будущего возрождения; в нем же наша надежда. Именно поэты, застигнутые революцией, явили высокий духовный строй, бодрость и мужество. Именно поэты теперь находят слова, нужные для всех, хотя и не всем еще слышные. Но шум и звон уже наполняет многие уши, прежде глухие. И имеющий уши имеет теперь во что вслушиваться.

Мы должны быть счастливы, что в годину тягчайших бед и глубочайшего отчаянья нам дано иметь великую поэзию.

БЛОК

Центральная фигура современной русской поэзии — Блок. **Центральная** по величине, по гению, — но центральная ли по значению? Насчет гения Блока теперь, кажется, нет двух мнений среди русских. Гений его огромный, исключительный, и сравнения его с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским — праздны только потому, что там, где начинается бесконечность, величины перестают быть сравнимыми. Великая оригинальность Блока, как поэта, в том, что он довел до самого крайнего предела стремление поэтической выразительности преодолеть логическую стихию слова и "предаться музыке". "Музыке" Блок предался без предела, продолжая великую (и столь редкую) традицию, идущую к нему от "Агамемнона" через "Вакханок" и "Аттиса", первую часть "Фауста", "Гимны ночи" и великие поэмы Кольриджа. Вся карьера Блока есть борьба со стихией музыки, героическая и под конец победоносная, стремление канализировать и утилизировать эту трансцендентную музыку сфер,

влить ее в формы поэтического выражения. Это осуществил Блок в третьем томе не в разладе, а в согласии с логической стихией слова, как осуществляли то же Эсхил, Еврипид (в "Вакханках") и Кольридж (в "Ancient Mariner").

Первоначальные, неудачные попытки преодолеть лирическую стихию и овладеть музыкой — в "Прекрасной Даме", где делалась сознательная попытка уйти от логики, и в "Снежной маске", где непокорная музыка разбивает слишком хрупкую броню формы. Последняя победоносная попытка — в "Двенадцати", творении окончательном и неизменимом. Эта окончательность и неизменимость не может принадлежать великим творениям классическим. Гомер мог найти другое выражение для XXII-ой песни "Илиады"; Расин мог иначе написать "Федру"; Пушкин мог найти другие слова для "Медного Всадника". В классическом искусстве процесс творчества есть процесс выбиранья, процесс активный и процесс принципально безнадежный - логическая стихия слова по существу не адекватна темному потоку вещей. Поэтому классическое творение в самом своем совершенстве имеет сознательную человечность и трагическое несовершенство целесообразного акта. Блок, как Кольридж, лишен активной силы классического зодчества. Но он имеет более страшную и темную силу схватывать "налету", как говорил Фет, и вдруг закреплять и темный бред души и трав пеясный запах, т. е. иррациональный процесс, протекающий в темном корне вещей. Поэтому "Двенадцать" имеет ту законченность и окончательность, совершенную до мельчайших подробностей неизменимость, которая принадлежит точной проекции. "Двенадцать" есть точная проекция в словесную стихию процесса, происходящего в ином плане бытия. Отсюда ее совершенство — и вместе с тем невнятность. Поэма Блока, он пользуется (и с совершенным мастерством) логической стихией слова, есть фантасмагория и невнятица. Будучи адекватна существу вещей, она не адекватна нашему пониманию, — и толкования "Двенадцати" остаются той же (но уже ненужной) невнятицей — или ложью.

"Двенадцать" — творение пассивное и в конце концов не творение вовсе, а "впечатление". Некто (или нечто) водил рукою Блока, и он был только инструментом, инструментом, правда,

усовершенствованным им же самим заранее. Конструктивно "Двенадцать" пассивно. Но сложившаяся привычка, усвоенная культура дала стихам ту, которую мы имеем, словесную форму. Блок глубоко осознавал свою женственность, пассивность, рецептивность и приписывал ее всему нашему веку — отчасти справедливо. "Современность", говорил он, "лишена не только небесного света Беатриче, но и земной мудрости язычника Вергилия". Не было у него, кому с верой сказать:

Tu duca, tu signor e tu maestro.

Он был Эоловой арфой ветров, веявших из-за границ мира. Поэтому он и не может быть ни вождем, ни учителем. Он есть книга, загадка, которую мы должны теперь разгадывать. разгадаем ли? Найдем ли оценку его мистического опыта? Поймем ли, что ему явилось в образе России, "разбойной красы", с "платком узорным до бровей", "грешащей бесстыдно, непробудно"? В образе Незнакомки? Прекрасной Дамы? И надо ли его разгадывать? Не такого ли это Сфинкса загадка, который погубит не целомудренно воздержавшегося, а как раз разгадавшего? Разгадать Блока, как мастера, и утилизировать его, как учителя, во всяком случае не суждено. То, что создает единственное, несравнимое очарование Блока, то, что есть весь Блок, пришло к нему само собой, и этого ни анализировать нельзя, ни объяснить. С небольшим изменением ключа трагическая поза его последних лет могла бы быть выражением невыносимейшего преображена только неопреэстетического дэндизма. Она деленным, неосязаемым, но тем более подлинно "взрывающим ключи" личным акцентом Блока. Это не искусная власть над музыкальной стихией слова (хотя и это было, особенно после 1908 года), не совершенство гармонической русской речи (бывало и это, но реже) — это именно неотвратимое, бесспорное, неодолимое веянье ветра из какой-то внеопытной вечности. И обвеянные этим ветром звучат нам так единственно стихи, казалось бы, дешевые; или банальные; или грубые. В связи с этим довольно очевидно, что и в чисто формальном, "профессиональном" отношении Блок никак не может стать учителем. И несмотря на огромный интерес к Блоку, на свего рода "Блокоцентризм" большой части современной литературы, учеников у Блока нет, и ученичество у него немыслимо. Для поэтов, как и

для читателей, Блок тема, а не учитель, огромный по содержательности и значительности "сюжет", подобный России, Революции. Но, подобно России и Революции, материал иррационально-пассивный. Так или иначе пережить Блока должен каждый из нас, но путеводителем может быть не он, а только внутренний голос. Внутреннего голоса у Блока не было, все голоса были для него внешние, звучащие из чуждого "там".

ТРИ ШКОЛЫ

Современных русских поэтов удобнее всего группировать по географическому признаку—вокруг трех характернейших центров современной русской культуры: Москвы, Петербурга и Пасси.* Относя поэта к тому или иному из этих центров, руководиться приходится не одним только адрес-календарем, но и более внутренними признаками. Так Вячеслав Иванов, за все время революции не видевший Петербурга, по духу несомненный петербуржец, и наоборот — петербужец Городецкий никаких связей с петербургской традицией не имеет. Но каждая из этих трех "школ" несомненно интимно связана со своим географическим центром.

ПАССИ

Наименее жизненная из них Пассийская. По ряду причин (в общем, я думаю, не случайных) отбор поэтов в эмиграцию делался вообще по признаку ненужности. Из старых поэтов здесь очутились прежде всего такие, как Игорь Северянин и Саша Черный. Эмигрантская молодежь в поэтическом отношении проявила редкое однообразие бездарности.

Трое из старших: Бальмонт, Бунин, Гиппиус принадлежат к именам, дорогим каждому другу русской поэзии. Но все они (по разным причинам) не нужны или не очень нужны нам. И все они в своем отношении к революции и России остались на уровне эмигрантской газетной публицистики. Бунину это, пожалуй, к лицу — в позу (благородную, если хотите) презрительного, со сжатыми губами страдающего Парнасца должно входить это

^{*}Район Парижа, где жили русские эмигранты. Ред.

презрение к толпе, хотя бы она и называлась русским народом. И Бунин наименее ненужный из этих трех. Но наименее ли отживший? Не сказал ли он своего последнего слова в делающем ныне мировую карьеру "Господине из Сан Франциско"? Стихи его во всяком случае менее значительны, чем эта трагическая арлекинада.

Гораздо менее нужен нам теперешний Бальмонт — бледный пережиток давно отжитых переживаний. Старые его книги ("Горящие здания"!) останутся. Но свечка, горевшая ярко — догорает и оставляет только чад. Новейших его стихов я не имею возможности судить: давно уже я не был в состоянии какое-нибудь стихотворение Бальмонта прочесть дальше третьей строки.

Зинаида Гиппиус конечно живет. Но, прикованная, как каторжник к тачке, к печальной компании Мережковского, она кажется осужденной на бесплодие и на медленное перерождение всех своих духовных тканей. Старая острота ее еще остается, но вместо прежнего боевого задора она опускается до службы бессильной и брюзжащей злобе настроению, никогда не дававшему поэтических плодов.²

Отсутствие поэтов, конечно, не хоронит эмиграцию, как культурную силу. Она вносит в сокровищницу русской культуры другие ценные вклады — прежде всего в области национально-историософской мысли (Евразийцы, Струве). Ее поэтическое бесплодие как бы карма отделения от родной почвы, вне которой поэзия — самый органический цвет национальной культуры — существовать не может. Поэтому те поэты, которые чувствовали ответственность за национальное достояние, к эмиграции не присоединились, как Анна Ахматова —

Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух.

Или с эмиграцией не слились, как Андрей Балый, лишь недавно перешедший границу и сумевший сделать из Берлина пригород Москвы — не советской, а всегдашней.

волошин

Промежуточное положение между эмиграцией и оставшимися занимает Волошин — как Крым был промежуточной стадией между Москвой и Пасси. Волошин всегда был немножко

эмигрантом, и из всей России он избрал своей страной совершенно не-русский, киммерийский Коктебель. Кажется, не было в России менее русского поэта, чем дореволюционный Волошин всюду искал он своих впечатлений: на знойных улицах Севильи, в чертах Микенской Афродиты, в Туркестане, на Делосе, и больше всего в Париже — Париже Гюстава Моро и Поля де Сэн-Виктора. Война и Революция его потрясли, как вторжение элементов трагических в действительность только живописную. Отношение к Вечности и к Истории, как только к витражам Реймского собора, стало невозможным после мученичества самого Реймского собора. Но в самом потрясении Волошина было, может быть, только сотрясение глазной сетки, — отношение к вечности как к мозаике огней, "цветом похожих на камень топаз", осталось тем же. Однако, был ли он потрясен или нет, Волошину два или три раза удалось (как-то случайно "накатило" на эти искусные пальцы эмальера) создать творения истинно-потрясающие в самой своей законченной Размышления Волошина над русской историей, вызванные революцией, двигались в пределе схем, подсказанных. главным образом, Вячеславом Ивановым. Человек большого, хоть и схематического, ума, Волошин додумался до многих интересных сопоставлений и обобщений; но эти медитации обычно оставляют нас холодными, восхищенными мастерством отменного мастера. Часто его мастерство прикрывает не более как двусмысленнейшую игру словами (Европа) или перегруженную couleur locale стилизацию чуждого по духу материала ("Стенькин суд") или даже скучнейшего по существу, хоть и блистательно сделанного, "Иловайского" ("Дикое Поле"). Но три раза все-таки "накатило" — и вышли "Святая Русь". "Китеж" и "Молитва о городе". "Святая Русь" уже стала классической, и, действительно, она имеет законченность произведения классического. Славянофильскому восприятию Революции в ней дано выражение окончательное. В ней создается миф о России, миф, которому предстоит несомненно большая будущность. Но миф этот, к сожалению, имеет все недостатки мифов — то есть, он рационалистичен, он создан ad hoc, чтобы объяснить трудно объяснимое явление с точки зрения мифотворческой логики, — а не вызван непосредственно интуицией событий. Столь же произвольно этиологичен и "Китеж". В конце концов тут нет ни глубокого и проникновенного знания фактов — историософия Волошина поверхностна и симплистична в сравнении, скажем, с историософией Струве. Нет здесь и смелого разреза, проницающего кору явлений к их мистической сути. Га же в конце концов безответственная игра витражей, богатая ассоциациями, плодотворная для человека думающего, но внутренно холодная и случайная. Значительнее поэтому, если не как стихи, то как психологический документ, "Молитва о Городе", где Волошин, кажется, первый из всех находит слова примирения и понимания. Все-таки и эта поэзия имеет высокую ценность — если не в высшем смысле, то как закрепляющая интеллектуально несомненно наличные лики России и Революции. Но скорей для музейного любования — эти прекрасные картины, чем для действенного воздействия.

МОСКВА

Москва теперешняя — прежде всего Мекка коммунизма. Москва, Москва, ты Меккой мне, Москва,

И Кремль твой сладость черная Каабы, — пишет черкес Кусиков, долженствующий в литературе представлять Новый Восток, влекущийся к источникам большевизма. Москва тесней и интимней связана с Революцией, чем Петербург. Петербург, так неудачно разыгравший февральскую трагическую оперетту, воспринял великую трагедию Октября, как силу внешнюю, как вьюгу, налетевшую из бескрайних просторов России, как нашествие каких-то неведомо откуда взявшихся матросов. Москва отождествила себя с Россией. Петербург только страдает от Революции или судит ее. Москва ее делает.

Приятие большевизма — вопрос более острый в Москве, чем в Петербуге, и московские поэты, как общее правило, приняли большевизм. Но следует различать разные типы приятий, а не валить в одну кучу всех "большевитствующих". Одно дело — Городецкий или Голстой, другое — Брюсов или Маяковский. Большевизм Городецкого или Голстого стоит ниже моральной оценки и не представляет интереса с точки зрения национальной. Это случайные шатания людей, не знающих

ответственности и чуждых трагедии. Говорить о них (вне отдела скандальной хроники эмигрантской прессы) не стоит:

on ragionar di lor, ma guarda e passa.

БРЮСОВ

Другое дело — Брюсов. Я не принадлежу к поклонникам последнего фазиса его творчества (именно творчеством-то и перестало оно быть по крайней мере с 1909 года, ставши механически-монотонной фабрикой никому ненужных стихов), присоединение его к коммунистам — акт, логически вытекающий из природного ритма его индивидуальности. Все должно привлекать Брюсова в коммунистах: их аморализм, их механизм ("Огромный город-дом, рассчитанный по числам"), их максимализм ("И океан народной страсти, в щены дробящий утлый трон"), даже их жестокость — худшие ужасы Чека должны нравиться автору "Подземного жилища" и "Геперь, когда я **У**дивительно проснулся". ли, что при появлении "грядущих гуннов", превзошедших самые смелые надежды влюбленного в мрак поэта, он не унес "зажженные свечи в катакомбы, в пустыни, в пещеры", а принял он Аттилы поручение охранять для них эти могущие им понадобиться сокровища. И я лумаю, что Брюсов будет образцовым гражданином "рассчитанного по числам" будущего города коммунистов.

МАЯКОВСКИЙ

Не менее неизбежно и логично было присоединение к коммунизму и футуристов. В какой мере русский футуризм по существу родствен коммунизму, вопрос сложный. Футуризм русский совсем не перенял от итальянского его подлинной любви к Любовь Маяковского индустриализму и механичности. фабричным трубам чисто эстетическая, они просто ему нравятся больше, чем цветы или деревья. Маяковский связан психологически не с коммунистическими верхами, а с большевиками первых дней. А это есть разница: пафос ненависти чужд Маяковскому, у него есть только огромная, буйная "воля к жизни". "Футуризм" очень неточное имя для его русской разновидности никакой любви к будущему у русских футуристов нет. Есть, правла, ненависть (или скорее презрительное равнодушие) к прошлому, но во имя не будущего, а настоящего. Весь пафос

русского футуризма в прославлении буйного настоящего. Изо всех когда-либо существовавших поэтических школ футуризм Маяковского менее всего романтичен, менее всего идеалистичен. Он строго замкнут в "здесь" и "теперь", он удовлетворен или, скорее, находится в состоянии непрерывного удовлетворения. В сущности, явление вполне здоровое, и, если, скажем, Василий Каменский, этот —

Жрущий, ржущий жеребенок, Когда в кармане много денег,

вызывает мало энтузиазма, то при сильнейшем напряжении того же качества создается поэзия истинно ценная — пожалуй, даже целебная. Маяковский — поэт очень значительного дарования. Дарование это не формальное и не "идейное", оно чисто кинетическое. Творческая стихия в Маяковском дана в своем самом чистом, абстрактном, почти лишенном содержания, аспекте. То, что стихи его посвящены прославлению коммунизма, случайно, но что стихия слова в его руках бьет таким нескудеющими гейзерами — это самая суть Маяковского. Поэтому-то он на чистозвуковой основе может создавать эффекты изумительные:

Он сидит раззолоченный за чаем с пти-фур. Я приду к нему в холере, я приду к нему в тифу.

Так, исключительно побужденный к тому соблазнительной рифмой, он как бы случайно создает тяжелое содержанием двустишие. Словесное искусство Маяковского потому и ценно, что он открывает неограниченные горизонты чисто-словесным возможностям языка. Поэтому я не боюсь сказать, что Маяковский уже есть классик, и изучение Маяковского для всякого сильного индивидуальностью поэта может быть только благотворно. Самые за волосы притянутые метафоры его — поэтически редко оправдываемые, — признак силы и здоровья, как признаком силы и здоровья были словесные игры молодого Шекспира. А здоровье, кажется, главный признак Маяковского, признак редкий в наше время. Особенно здоровьем пышет его любовная лирика — будь это буйная чувственность "Облака в штанах" или почти целомудренная нежность его последней поэмы "Люблю". Странным контуром встает она против издерганного и распущенного фона хорошо знакомой нам русской действительности.

ДРУГОЙ АСПЕКТ ФУТУРИЗМА

Маяковский только один из аспектов русского футуризма — бунт варвара против оков стареющей культуры. Другой аспект — бунт пресыщенного словом утонченника против логической власти слова.

Сюда относится Хлебников, фигура глубоко интересная, пожалуй даже трагическая по существу, но в своем стремлении к деформации слова вышедшая за пределы словесности. Сюда же относятся поэты, сгруппировавшиеся вокруг "Центрифуги" и "Лирня", русские кубисты и дадаисты. Искусство их по существу противоположно искусству Маяковского, оно кабинетно, академично и в высшей степени "вторично". Метод их сходен с методом кубистов в живописи, и в лучшем случае стихи их похожи на прекрасные в отдельности фрагменты, склеенные в ничем не оправданное единство.

ПАСТЕРНАК

Таковы стихи Пастернака. Они исходят от страха банальности — поэты возвращаются (да и давно уже) к заповеди Марино:

E del poeta il fin la maraviglia.

Пастернак — поэт с несомненным дарованием, только углубившийся в лабиринт, который может и не оказаться безусловным тупиком. Переживания его очень просты и общечеловечны, и именно поэтому он должен выбиваться из сил, чтобы в воплощении они были необычны и "удивительны". Искусство его подобно системе разнообразно-искажающих стекол, поставленных между переживанием и воплощением. Искусство его чисто формальное, хотя за искусством стоит у него и человеческое содержание. Надо ли его за эту формальность осуждать? И не подвиг, не столпничество ли своего рода отказ от слишком простого доступа к читательскому пониманию во имя ремесла? Я не отчаиваюсь в Пастернаке. Работа, даже ненужная и бесплодная, лучше успокоения в самодовольной привычке.

имажинисты

Буйный стиль Маяковского и деформативные стремления центрифугистов поработили всю почти Московскую поэзию —

т. е. собственно только поэзию "кафейную", так как поэзия "пролетарская" пошла совсем другим путем Главные герои кофеен — имажинисты, и из них типичнейцие Мариенгоф и Шершеневич. Оба —декаденты. Поэзия их малє привлекательна. Это — истерика канонизованная и вогнанная в русло футуристического "нео-маринизма". В сущности, поэтька их сводится к простому принципу, формулированному еще Грибоедовым: "Словечка в простоте не скажет, все с ужимксй".

А ужимка их сводится к преувеличенной, напряженной и обыкновенно нарочито отталкивающей метафоре. В них нет "рабчих" качеств Пастернака. Их риторика — распушенная: по линии наименьшего сопротивления, кто во что горазд. А содержание — общие места "приявшего большевизм" декадентства. Но поэтика имажинизма имеет огромное влизние и, очевидно, соответствует какой-то подлинной потребности взметенной революцией и традиционно распущенной Мостовской луши. 4

СКИФЫ

Третий имажинист— Есенин; но Есенин требует отступления. Есенин прославился, как Скиф. В 1917-1918 гг. самым видным литературным событием были именно Скифы. Иванов-Разумник, с привычным умением историка общественности, прибрал почти все лучшее, что было написано за тот страшный год ("Двенадцать", стихи Белого, Клюева, Есенина, "Плач" Ремизова), и заключил за скобки левого эс-эрства. Левое эс-эрство — явление само по себе весьма занимательное и колоритное. Но литературные явления редко группируются по партийному признаку. Ни Белый, ни Блок не вэйдут в историю, как скифы. Органичнее связаны со скифством поэты-крестьяне прославившие Революцию, так как левые эс-эры были именно "крестьянской" партией, принявшей "Октябрь"

КЛЮЕВ

Клюев и Есенин, казавшиеся почти на одно лицо, потом разошлись и даже публично разругались. Оба — крестьяне, но разных областей: Клюев — Олончанин, Есенин — Рязанец. Клюев, несомненно, тесно связан с северно-русской "поморской" крестьянской культурой, культурой, создавшей деревянные церкви, сохранившей былины, давшей самых ярких деятелей

Расколу. Эта культура, религиозная по форме, была по существу дела эстетическая, и хорошо известно, какую роль в Расколе играли мотивы эстетические. Клюев и есть последыш, упадочник этой культуры, в котором все религиозное содержание ушло в эстетическую, псевдо-мистическую романтику. Религия Клюева — религия без Бога. Его "Митрий Солунский, с Миколою Влас" — действительно, только изображения из дерева, обожествленные веши, или — применяя точный термин этнографии — фетипи. Этот фетишизм — коренное почвенное явление Северной Великороссии, и Клюев поэт глубоко местный, продукт очень специальной, утонченной, упадочной и очень варварской культуры, вымытый к тому же в водах символизма и социализма. И стиль его, перегруженность образами — продукт того же, прошедшего модернистскую дисциплину северно-русского фетишизма-эстетизма.

ЕСЕНИН

Ничего этого нет в Есенине. В южной Великороссии нет ни старообрядцев, ни эстетической культуры. Есть только "земля и воля". И оторванный от земли на волю южно-великорусский мужик становится хулиганом. И Есенин — хулиган. Нет крепких традиций на юге, одно дикое поле, ползущие овраги и бегущие по водоразделам татарские сокмы, теперь замененные железной дорогой. Мы давно уже знаем об "оскудении центра": центр не умеет войти в современную культуру, как вошли в нее и Север, и Украина, и Сибирь. Центр умирает, он элегичен не только в своих дворянских усадьбах, но и в деревнях. Есенин глубоко элегичен — элегический хулиган. Первые стихи Есенина (до 1917 г.) наивны, непритязательны, слащавы. Революционные стихи Есенина, те, которые больше всего славил Иванов-Разумник, навеяны, вторичны: хулиганский бунт, переведенный на язык изолгавшихся в религиозных "поисках" декадентов. Эти псевдокощунственные (ибо псевдо-религиозные) стихи ("Инония", "Октоих") не останутся, они не нужны, они — искаженное изображение на миг мелькнувшего образа. Революция не была религиозна. Ее видели такой только Иванов-Разумник недолгое время, Андрей Белый. Но Есенин — поэт, и поэт не малый. Его эмансипация от Иванова-Разумника и сближение с имажинистами послужили ему к пользе: он нашел себя и оказался достаточно силен не подчиниться их манеризмам. В Есенине нет мужественного, устойчивого хребта; он поэт женственный, пассивный, "славянская душа"; лист, взвитый вихрем Революции, не имеющий места, где улечься. И, конечно, он — свой среди имажинистов, такой же deraciné, как они. Но в нем есть славные русские качества: разгул, простор;

То разгулье удалое, То сердечная тоска.

Элегический хулиган, — как тот, который просил Грозного Царя пожаловать ему "палаты высокие, что о двух столбах с перекладиной". Поэтическая тоска и загул проникают в "Исповедь хулигана" и "Пугачева". Что в них особенно пленяет, это его какая-то доверчивая наивность. Сколько ее в чудном, моем любимом из всего Есенина, отрывке о жеребенке, где он тоскует о времени,

Когда пару красивых степных россиянок Отдавал за коня печенег.

Сколько наивного и прелестного романтизма в одном этом слове "россиянок" со всеми его ассоциациями. Теперь он женился на старой американке, он будет читать свои стихи в Питсбурге и Канзас Сити. Он будет — как его же Пугачев, играющий в Петра Третьего:

Больно, больно мне быть Петром, Когда кровь и душа Емельянова.

Что делать: такова судьба оторванных от ветки листьев, и много их, задолго до Есенина, обрывалось от Рязанской почвы и докатывалось "до самого Черного Моря".

ПРОЛЕТАРСКИЕ ПОЭТЫ

Совершенно не похожи на всех этих "передовых" поэтов поэты пролетарские. Они получили хорошее воспитание — учили их Брюсов и Белый. Им внушено, что красота вечна и что поэт учится у своих предшественников; они очень преданы традиции, эти революционные поэты. Они хорошо изучили свое дело, умеют пользоваться метафорой и метонимией, знают толк в ассонансах и в ипостасах. Иные из них как будто и не без таланта. Но, поскольку они пролетарские и революционные, они

очень скучны. Реторика их революционных гимнов напоминает часто не Брюсова, а Стеклова.

Но дух "дышит идеже хощет", и есть среди них одно блистательное исключение — Василий Казин.

КАЗИН

Казин выделяется на фоне современной поэзии своей ясностью, свежестью, простотой и больше всего своей мажорностью. Поэзия его — то, что американцы называют "glad" радостна. Она оригинальна, нисколько не оригинальничая. Она нова, потому что он чувствует и воспринимает по-своему. Он прошел хорошую школу, и конечно без "студии" он так бы не писал. Но свежести своей он не научился ни у кого: его темы — Солнце, Дождь, Воздух, Зелень — темы самые избитые, но он все эти темы умеет обвеять свойственной им атмосферой -атмосфера его стихов свежа, как воздух после весенней грозы. кажется каким-то чудом, и несомненно ему предстоит широкая и (вероятно) скорая популярность. Популярность может грозить большими опасностями. Ему будет трудно выдержать тон, сразу им взятый — в нем есть опасность манерности и подражания самому себе. Свежесть восприятия недостаточна, чтобы спастись от этого — нужен крепкий дух.

Сравнение Казина с Есениным, Клюевым, Кусиковым — поэтами деревни — наводит на любопытные мысли. В деревне несомненен дух упадочный и усталый. Свежий воздух Казина идет с фабрики. Клюев почти что Гюисманс Севера; Есенин почти Тургенев крестьянства; Кусиков — казачий Мариенгоф. Не ошибаются ли те, кто хотят видеть будущее России в крестьянстве? Не лучше ли надеяться, чтобы она была городской — рабочей? Для меня этот вопрос давно перестал быть вопросом. И Казин, и Есенин только предлог. Вверимся же поэтам — и Маяковский, горожанин с головы до ног, свежей, здоровей, живей, чем все, что дано нам деревней.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Всей этой Красной Москве противостоит одно имя — Марины Цветаевой. Марина Цветаева — старшего поколения: ей больше тридцати лет, и стихи ее печатаются с 1911 года. Она —

не продукт революции. Она недостаточно оценена и мало известна широкой публике. Между тем она одна из самых пленительных и прекрасных личностей в современной нашей поэзии. Москвичка с головы до ног. Московская непосредственность, Московская сердечность, Московская (сказать ли?) щенность в каждом движении ее стиха. Но это другая Москва — Москва до-Октябрьская, студенческая, Арбатская. Поэзия ее похожа на поэзию петербуржанок Ахматовой и Радловой так же мало, пожалуй, как на поэзию "кафейных" поэтов. Это поэзия "душевная", очень своевольная, капризная, бытовая и страшно живучая. Цветаеву очень трудно втиснуть в цепь поэтической традиции — она возникает не из предшествовавших ей поэтов, а как-то прямо из-под Арбатской мостовой. Анархичность ее искусства выражается и в чрезвычайной свободе и разнообразии форм и приемов, и в глубоком равнодушии к канону и вкусу она умеет писать так плохо, как, кажется, никто не писал; но, когда она удачлива, она создает вещи невыразимой прелести, легкости невероятной, почти прозрачной, как дым папиросы ("И лоб в апофеозе папиросы"), и часто с веселым вызовом и озорством. Этот вызов и это озорство иногда чисто формальны. Одно из самых лучших (и последних) ее стихотворений из цикла, где она говорит о радостях ученичества, начинается:

По холмам — круглым и смуглым,

Под лучом — сильным и пыльным,

Сапожком — робким и кротким —

3а плащом — рдяным и рваным.

И так три строфы, где меняются все эпитеты, и только сапожок остается тем же. А кончается:

Сапожком — робким и кротким —

За плащом — лгущим и лгущим.

Такие стихи пьешь, как шампанское.,

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Еще один Москович остается — гениальнейший из всех — Андрей Белый. Фигура Андрея Белого двусмысленна и спорна. Для многих он остается и останется навсегда почти что шутом гороховым, для других он — первое лицо в современной русской

литературе, знамя, символ, вождь. Правы и те и другие. Нельзя не видеть в нем самых несомненных признаков гения, гения в самом строгом и высшем смысле слова. В нем есть подлинное прикосновение к мирам иным, в которых он движется, как в привычной атмосфере. В нем есть подлинная творческая сила, создающая новые формы и расширяющая самые грани искусства. В нем есть огромный и глубокий захват действительности, соверразмаха, чем историософские или литературно-общественные схемы Иванова-Волошина Разумника. "Серебряный голубь" ближе и острее подходит к самым сокровенным тайнам русского бытия, чем какая бы то ни было другая книга, кроме "Братьев Карамазовых". "Котик Летаев" обнажает самые глубокие и таинственные корни самого процесса жизни; это — проекция самого потока "непосредственного опыта", о чем мог только мечтать Бергсон и к чему могли только тужиться другие. В более концентрированном искусстве лирики он умеет создать такую напряженнейшую и совершеннейшую вещь, как "Отчаяние" ("Довольно, не жди, не надейся..."). И просто судимый с точки зрения простого реализма — Андрей Белый художник исключительной силы и убедительности: фигура, например, Михаила Сергеевича Соловьева из "Первого свидания" живет жизнью не менее реальной и интенсивной, чем Наташа или князь Андрей. В каждой строчке Белого слышна взволнованная косноязычность изнемогающего под бременем недосказанных откровений пророка — поэта.

И все-таки — с другой стороны — шут гороховый. Какая-то космическая трагедия в том, что в величайшем гении, данном России, уживаются черты Хлестакова. Не то Хлестаков, не то Иезекииль. И это неслучайно, не разделимо. "Легкость мыслей необыкновенная" органически связана с гениальной космической интуицией — какой-то огненный канкан взвеянных комет. В Белом какая-то внутренняя незаполнимая пустота: все признаки гения, и только вместо души какой-то полый светящийся шарик. Поэтому, читая Белого, не скажешь: "Гам человек сгорел". Белый горит, не сгорая, как играющий на солнце бриллиант. Потому-то его космические полеты получают непристойный вид клоунал и акробатических фокусов. И все таки

Он длань, протянутая к Богу Сквозь нежный ветер пурговой.

Одержимый: мистический механизм, исполняющий не им указанную функцию. Эти одержимые руки подняли вихри космической пыли видений, форм и восприятий, и в эти вихри мы окунаемся и через них входим в соприкосновение с Вечностью. Два великих поэта — Блок и Белый — в одинаковой мере, хотя и разным образом, были пассивны и восприимчивы. Разница та, что Блок был живым, хоть и испепеленным под конец, сердцем. Белый только многогранным алмазом. Какой огонь отразится в алмазе, тем он и горит:

Не упадет на ваши бельма, — Где жизни нет, где жизни нет, Не упадет огонь Сант-Эльма, И не обдаст Дамасский свет —

говорит Белый тем, кто его не понимает. Его очи обдал и Дамасский свет и огонь Сант-Эльма. Два величайших русских поэта только типичны в данном случае для всей России. И они, как Россия, были освещены огнем Сант-Эльма — мечтой о мировом пожаре. Россия этой мечте отдалась в пассивной стихии Революции. Блок и Белый — в пассивной стихии музыкльной интуиции. Блок более полно и совершенно воспринял в себя это семя и погиб, изошел "Двенадцатью". По граням Белого свет скользнул как будто мимолетно, и алмаз остался отражать вечные звезды: автор кощунственнейшего "Христос Воскресе" пишет чистейший и благоуханнейший эпилог "Первого свидания" и приезжает в Берлин проповедовать "Культуру схолящей к России вечности".

Эта "Культура вечности" объединяет группу писателей, собравшуюся вокруг издательства "Алконост" и "Записок Мечтателей". "Записки" эти основаны Блоком и Белым и генетически связаны с традициями русского символизма, вернее его второй волны, зарождение которой в первые годы 20-го столетия с таким захватывающим интересом описано в воспоминаниях Белого о Блоке. Самое характерное и широко известное прояв-

ление этой культуры выходит за пределы поэтической литературы: это — "Переписка из двух углов" Вячеслава Иванова и Гершензона. Она писалась в Москве.

ПЕТЕРБУРГ

Но столица Культуры Вечности — Петербург. Там даже она имеет свою Академию — Вольную Философскую Ассоциацию. Петербург был вдвойне предназначен к восприятию этой культуры: самый отвлеченный и искусственный город миражей, он слабо связан с временными аспектами национальной культуры — кораблик на Адмиралтейской игле как бы символизирует этот рейс Петербурга ввысь, в небо, ad realiora, рейс, на который не так легко решиться устойчивой пирамиде Кремля. С другой стороны, ход событий, географически неизбежный, отстранил Петербург от участия в событиях современности и оставил его влачить свое великолепное одиночество среди своих гранитов и кочек Ингерманландии. Другая черта Петербургской поэзии, сохраненная от времени более "временного", — ее математичность и дисциплина. Гранитные парапеты Невы, чугунный узор Фельтеновой решетки, прямой взлет Александрийского Столпа и прямой коридор Невского,

Пехотных ратей и коней Однообразная красивость

И

Пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета,

воспитали мысль Петербургских поэтов. В противоволожность "мишелистой" распушенности Москвы — Петербургские поэты подтянуты, пожалуй, немножко "однообразной" красивостью. Было это и в Блоке, в его фигуре больше всего, и в стихах его это росло с годами. Но Петербургская поэзия идет не от Блока (величайшие поэты всегда бесплодны), а от Вячеслава Иванова, Кузмина и Гумилева.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Вячеслав Иванов в 1906-1912 гг. мог сказать про себя, как Людовик XIV: "Петербургская поэзия это — я". И хотя он давно, кажется, не был в Петербурге, для петербуржцев он остался

петербуржцем. Ценность Вячеслава Иванова в том, что он прозревает Культуру Вечности сквозь великолепные и многообразные оболочки Культуры временной и скрытые силы космические сквозь математические оболочки форм эстетических. Смысл "Переписки" именно в этом (бесплодном, как всякое философствование) споре между познавшим Единство в Многообразии Вяч. Ивановым и пресыщенным беспринципным разнообразием Культуры Гершензоном. В Вячеславе Иванове есть что-то Олимпийское, сверхчеловеческое, и поэтому он кажется холодным и довольным. Это неверно. Разрешение в мысли Вяч. Иванова дано только потенциально, и поэтому он — вечно напряженный и волящий путь от эмпирического несовершенства в совершенство опыта реальнейшего. Вячеслав Иванов за последние годы дал много ценнейшего. Он стал из поэта кружкового и эзотерического поэтом по существу всечеловеческим и всенародным. Поэзия его нужна всем, и, если к ней не идут или ее не понимают, тем хуже для непонимающих и не идущих. Циклы "Человек", "Один" и "Гимны Эросу" замечательны, но, если бы он написал только "Зимние сонеты", и тогда он был бы драгоценнейшим поэтом современности. В них есть совершенство, иного порядка, чем в "Двенадцати", совершенство высокой аскетики. Они устремлены не к музыкальному потоку вещей, а к "Неподвижному Солнцу Любви". В простоте и повседневности (увы!) своей темы он открывает бездонные колодцы сквозь все пласты бытия. Но замечательно не столько это, сколько чистота проникающего их индивидуального духа. Это отчищенное до последней чистоты мужество человека, стоящего лицом к лицу со смертью, Небытием и Вечностью.

ХОЛАСЕВИЧ

Другой поэт, у которого Культура Вечности дается в столь же чистом виде, это мало известный, только теперь понемногу оцениваемый — Владислав Ходасевич. Последние его стихи ("Путем зерна" и в "Записках мечтателей") достигают пределов, за которыми начинается уже не поэзия, а "умное делание". Крайняя простота, почти скудость строжайшей формы усиливает их бестелесность. Я могу только процитировать стихотврение (уже цитированное Андреем Белым), чтобы показать в чем дело:

Какая может быть досада* И счастья разве хочеш сам, Когда нездешняя прохлада Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит, Жизнь потаенно хороша, И небом невозбранно дышит Почти свободная душа.

После этого кажутся почти лишними его тоска:

Пока вся кровь не выступит из пор, Пока не выплачешь земные очи, Не станешь духом...

или его надежда на день, когда

И солнце ангелы потушат,

Как утром лишнюю свечу.

Однако, в этом реальность тюремных стен: душа только "почти свободна". И вдвойне невыносимо, когда она опять начинает "чувствовать тело, а тело чувствовать цепь" (Emily Bronte), и

Восстает мой тихий ад В стройности первоначальной.

Для тех, кто не причастен вечности, Петербург восстает ничем не прикрашенным тихим адом.

КУ3МИН

Родоначальник новой Петербургской поэзии, ее формализма, ее "кларизма", ее симплизма — Кузмин. Для широкой публики он не оказался нужен, но он в высшей степени "поэт для поэтов". Все у него учились и научились многому. Ранние книги Кузмина — сокровищницы, пиршество стихотворного искусства. Кузмин в большевицком Петербурге — фигура глубоко трагическая. Геперь нет для меня более грустных, щемящих и мучительных стихов, чем Кузминские об Италии:

^{*}В этой цитате Святополк-Мирский сделал описку и вместо "досада" написал "отрада". Во всех известных текстах Ходасевича в этой строке — "досада". Так должно быть и по смыслу. — Ped.

Ежеминутно умирая, Увижу ль, новый Арион, Гвой важный и воздушный сон, Италия, о мать вторая?

Ежеминутное умирание Кузмина едва ли не самая невыносимая нота во всей безмерной трагедии наших дней. Это тот ребеночек, которого не мог простить мировому порядку Иван Карамазов. Ибо конечно Кузмин — "один из малых сих", не по мастерству своему огромному, а по наивной и доверчивой ясности своей простой, хоть и причудливо вывороченной, души. Голько детские страдания не прощаются.

ГУМИЛЕВ

В сравнении с Кузминым судьба Гумилева не кажется трагичной. Он был мужем, бойцом (хотя в "контр-революции", насколько известно, никакого участия не принимал). Своих читателей он учил

Не бояться И делать что надо

И

С простыми и мудрыми словами Ждать спокойно Его суда.

Гумилев не был великим поэтом, и, хотя поэзия его иным казалась классическим образцом внежизненности, мне кажется, что в русской традиции Гумилев останется больше как человек, чем как поэт. Он был из теста, из которого делаются герои, он был прост во всем, упрощен и как мастер, и как путник сквозь жизнь. И, как ни странно, поэт, ценивший больше всего мастерство, ремесло, точность приема, Гумилев был безнадежно неспособен судить свои стихи. У него редко можно встретить четыре стиха подряд, где бы ничего не оскорбило или не рассмешило. Он был слеп в вопросах вкуса художественного, но его сила в том, что у него было ясное зрение нравственное. Полная противоположность Блоку и Белому — Гумилев являет собой в русской поэзии начало мужеское. И за то мы сохраним о нем светлое воспоминание, что, как поэт, он был праведником перед Господом. Поэтому религиозность Гумилева, несмотря на странные и безвкусные декорации его ангельских ликов, более

несомненного и чистого качества, чем религиозность поэтов не только поэтически, но и мистически несравненно гениальнейших, как Андрей Белый. Высшая похвала в его оценке и похвала справедливая — сказать, что он, как Тиртей, достоин сопутствовать воину. Его любимый писатель в последние годы, говорят, был Майн Рид. Автор "Капитанов" и "Экваториального леса" — это Майн Рид русской поэзии. И с мелодраматически-благородной простотой его конца это его самое прочное и неоспоримое звание:

Через год я прочел во французских газетах, Я прочел и печально поник головой: Из большой экспедиции к Верхнему Конго До сих пор ни один не вернулся назад.

МАНДЕЛЬШТАМ

Другой столь же, хоть и иначе, мужественный поэт не нашел себе еще бесспорного признания. Это не особенно удивительно: он и сам по себе не гостеприимный поэт и еще иногда нарочно, как Пастернак, воздвигает перед читателем стену деформации. Мандельштам поэт очень большой, гораздо больший, чем Гумилев. Но поэт трудный и своеначальный. Еще в самом начале он прославил "высокое косноязычье", даруемое поэту. Он остался косноязычен: не в фразе(нет большего мастера фразы, чем Мандельштам), но в архитектуре стихотворения. Тут он тяжелой глыбой падает с выступа на выступ, и не всегда легко понять его логический путь. Мандельштам — ученик латинских поэтов: они прошли через это косноязычье, но преодолели его рано (хоть написал же Катулл "Волоса Береники"). В эпиграмматическом складе его стихов и в тяжелой их поступи слышны Катулл, Лукреций и Вергилий. Отдельные великолепные, совершенные стихи, двустищия, четверостишия — этим богат Мандельштам. Так, еще в "Камне":

И думал я: витийствовать не надо, Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим неба, не боимся ада И в полдень матовый горим как свечи, И это великолепное двустишие "Гристий": Кто может знать при слове расставанье, Какая нам разлука предстоит...

Или, пожалуй, лучшее из всех:

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

Это достойно сравниться с знаменитым Лукановым:

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.

Это из "Сумерок свободы", оды Ленину, которого он прославил за то, за что, кажется, никто другой его не славил: за мужество ответственности —

Прославим власти роковое бремя,

Ее невыносимый гнет.

Тут мы очень далеки и от "Скифов", и от Маяковского. И этот "большевизм" в Мандельштаме соединен с мужественным и положительным христианством. Христианина легко привлекать в большевизме его лик "Божьего бича", уничтожающего земную гордость. Мандельштам не радуется гибели Культуры, но видит в грядущем для нее мученичестве залог ее очищения и укрепления. Об этом он пишет в замечательной статье "Слово и культура", которую, к сожалению, слишком немногие прочтут, а прочесть бы следовало: "Культура стала церковью: светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеянье. Воду в глиняных кувшинах пьем, как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, — а теперь всякий культурный человек христианин..." и т. д.

Никто лучше Мандельштама не писал о церквах в Советской России: "куда влечется дух в годину тяжких бед".

Зане свободен раб, преодолевший страх,

И сохранилось свыше меры

В прохладных житницах, в глубоких закромах

Зерно глубокой, полной веры.

Мандельштам один из лучших представителей новой Культуры Вечности.

АННА АХМАТОВА

В слове "мужество" есть большая несправедливость: свойство, им означенное, никак не составляет монополии нашего по-

ла, и то же мужество, что в Гумилеве и Мандельштаме (мужество, конечно не исключающее женственности), мы находим и в Анне Ахматовой. Анна Ахматова – редкий в наше время пример соответствия литературной славы и успеха среди читателей. Если поэты и критики ценят в ней высокое и уверенное мастерство, читатели в ней любят созвучность ее лирических тем их собственным переживаниям. Путь Анны Ахматовой — от изысканной капризности и изощренной индивидуальности "Вечера", через широкий, страстный и вместе иронический реализм "Четок" и ранней части "Белой стаи" к постепенному утончению и одухотворению душевных покровов, к аскезе совершенно владеемой формы, почти голой простоте и строгости позднейших стихов "Белой стаи", "Подорожника" и "Anno Domini 1921". Анна Ахматова все больше и больше поднимается в разреженные высоты и перестает любить земное. Как непохожа страсть "1921" на романтическую страсть "Сероглазого короля" и "светскую" страсть "Смущения". Это страсть горькая, темная, совершенно безрадостная, как раз та цепь, которую дух не в силах перетереть. Начало этой новой Анны Ахматовой, мне кажется, положено очень рано, в июле 1914 года, который она пережила глубже, чем кто бы то ни было. Я помню, как странно и неоправданно звучал тогда ее голос, голос Кассандры:

Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий о ризах твоих.

Анна Ахматова сразу вещей душой поэта ощутила непереходимую грань в первых днях войны, после которых земля перестала быть землею и стала страшной книгой грозовых вестей. На этой земле нет места радости. Поэзия Анны Ахматовой совершенно безрадостна. Но о ней можно сказать словами Баратынского:

И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал.

Вера Анны Ахматовой проста, совершенно не философична, не метафизична и не мистична. Она редко на первом плане, но она составляет постоянный фон ее лирики. Творчество теперешней Анны Ахматовой, несмотря на свой реализм и конкрет-

ность ее поэтики, отвлечено от всего земного, так как всему земному она знает точную цену. Поэтому она имеет право и может судить, и поэтому ее суд и осуждение так вески.

Как мастер Анна Ахматова стоит чрезвычайно высоко; об ее мастерстве много писали и основные черты его наметили верно. Сводится оно к возрождению конкретной и логической поэзии взамен метафизической и музыкальной поэзии символистов. Анна Ахматова вернула *человечность* поэзии, хотевшей преодолеть "границы человеческого" то в сторону сверхсознания, то в сторону бессознания. Работа до известной степени реакционная, как реакционной была работа французских классиков. Для Московских поэтов она кажется устаревший, как устаревшим казался Пушкин поклонникам Бенедиктова. Устарелого в высших планах искусства нет, но возможно, что для непосредственного будущего поэзия Ахматовой будет несвоевременна. Будем надеяться, что это не так и что голос стихии не заглушил во всех русских голос Разума, единственного вожатого. Не на Пильняке же свет клином сошелся.

Анна Ахматова установила в Петербургской поэзии своего рода гинекократию. С тех пор все, что пишут мужчины младшего поколения в Петербурге, в лучшем случае

> Приятно, сладостно, полезно, Как летом, сладкий лимонал.*

Из таких отметим, пожалуй, Всеволода Рождественского.

Но женщины творят поэзию. Акмеизм обрек себя на поощрение бездарности, ибо всякая школа, желающая сделать

поэзию трудной, на самом деле делает ее легко-доступной. Гакая школа создает гандикап в пользу тех поэтов, которые не nascuntur, a fiunt. Поэтому множество стихотворцев пишут теперь в Петербурге более или менее умелые стихи. Но только среди женщин встретим мы поэтов — таковы Анна Радлова, Мария Шкапская, Ирина Одоевцева.

АННА РАДЛОВА

Особенно Анна Радлова. Опять все черты Петербургской

^{*}В этой цитате из Державна память изменила автору: у Державина: "вкусный лимонад". — Γ . C.

школы — мужество и строгость. Но в противоположность Ахматовой Радлова, несмотря на все, сохранила земную радость в любви и страсти, сохранила восторг и высокое напряжение жизни:

Безумным табуном неслись года, Они зачтутся Богом за столетья: Нагая смерть ходила без стыда, И разучились улыбаться дети.

Какие великолепные, достойные Невских гранитов стихи! Но в эти года и на этой земле, когда смерть стала единственным мерилом, расцветает любовь и любовь того напряжения, о какой писал Гете:

Keime des Lebens, Lust ohne Ruh, Liebe bist du.

Радлова замечательна не только этой своей вещей живучестью, но и как продолжательница путей Петербургской школы: в ее поэзии еще дальше идет подчинение и использование логической стихии слова и совершенный отказ от иррациональных, музыкальных эмоциональных И методов Интересна Радлова еще и своим большевизмом, который можно поставить в связь с Мандельштамовским и противопоставить Московскому. Для Московских поэтов, Маяковского или Кусикова, большевизм — свое, они себя ощущают, как часть его встающей волны. С ним они встают, с ним и падают. Петербургские поэты вне большевизма, для них он — чужое, постороннее, внутренно-враждебное явление. Но благодаря свойственной "священному поэту" вообще, а Петербургскому особенно, способности видеть сверху, они могут его оценивать со стороны, хотя бы эмпирически они и лежали под его надвигающимися колесами. Они любят в нем то, что блаженный Иероним любил в Аларике, и что Владимиру Соловьеву

Как бы предвестием великим, Судьбины Божией полно "ласкало слух" в слове "Панмонголизм".

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА*

Одоевцева учена хорошо и много. Поэтому многое в ней наносно; но поэты всегда учатся у кого-нибудь, и вся разница между Москвой и Петербургом, что для Москвы традиция начинается с Маяковского и Шершеневича, а для Петербурга с Гомера и Гезиода. Одоевцева выбрала своими учителями Шотландские баллады, и, если многие из ее баллад не более как игра, то раз по крайней мере она написала вещь действительно большую и оригинальную — "Балладу об извозчике", который каждый день возил комиссара в комиссариат и которому, когда он с лошадью умер с голода, было разрешено въехать на той же лошади в рай. Интересно тут не появление советского быта в балладе, а интересен путь стилизации, которая достигается не подражанием избранному образцу, а утончением и упрощением самого переживания, стилизацией переживаний. Этим путем получается подлинный примитивизм, исходящий от души искренно смиренной и ничего общего не имеющей с подделками разного рода литературных и живописных архаизаторов. Этот творческий примитивизм явление необходимое и законное в городе, строющем Культуру Вечности.

Богатство и разнообразие русской поэзии нашего времени не подлежит сомнению. Не подлежит сомнению и ее типичность в смысле отражения духовой жизни нации, ни значительность ее тем. Поэзия в настоящее время несомненно есть одно из самых важных проявлений национальной жизни и поглощает большую

^{*}Здесь в первоначальном тексте у Мирского были следующие строки: "Из других упомянутых мною молодых поэтесс Шкапская пишет стихи лучше Одоевцевой — 30 лет тому назад даже лучшие поэты, Соловьев или Случевский, и в мыслях не могли иметь писать такие стихи. Уроки учителей прошли недаром. Но по причинам, уже изложенным, к искусству Петербуржцев нужно подходить с опаской — все это может оказаться от учения, а не от рождения, и, пока не приоткрылась на минуту душа, скрытая за кольчугой этих стихов, иногда лучше воздерживаться от суждения. Поэтому из двух я выбрал бы Одоевцеву". Строки эти Мирский вычеркнул. Поэзию Одоевцевой он, вероятно, знал по ее первому сборнику "Двор чудес" (1922). — Г. С.

долю духовной энергии нации. Не подлежит тоже сомнению, что годы Революции именно выявили и привели к цели все поэтическое движение предшествующих годов. Это движение было введением к поэзии после-революционной, и, поскольку оно в себе заключало абсолютные достижения, ключ к ним дан только теперь, в поэзии после-революционной. Но на два существеннейших и важнейших вопроса мы пока еще не можем ответить: Какова эстетическая ценность этой поэзии sub specie aeternitatis, перед судом сравнения с поэзией Пушкина, Гете, Катулла, Софокла? Есть ли наш век один из великих веков поэзии, одно из вечных созвездий поэтического неба или это только "листья взвитые земли" вихрем мировых катастроф? А ргіогі большинство читателей ответит во втором смысле, но ответ мы можем только угадывать, — у нас еще нет перспективы, мы еще из-за деревьев не видим леса.

Другой вопрос, более широкого захвата — куда эта поэзия указывает и что она пророчит для породившей ее нации? У нас распространено вообще своего рода историософское "шапками закидаем", вера в будущее quia absurdum и рассуждения по типу Тургеневского "не может быть, чтобы такой язык и т. д." Конкретные факты в области политической и общественной указывают почти без исключения в обратную сторону. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что наиболее талантливая и энергичная часть нации стала на сторону разрушения и разложения; что единственный гениальный человек действия действует исключительно в интересах гибели и смерти; что вне коммунистической партии, систематически зиждущей экономическую смерть и моральное уничижение, нет ни одной группы людей, способных к действию и объединенных общностью положительных задач; что мы все преклоняемся перед властью стихии и на разные лады повторяем "княжь-Георгий-Львовское" "здравый смысл народа возьмет свое", только подставляя на место народа то "историю", то "реальные экономические силы". В политике мы все или бездарны, или зловредны, и мы правы, в плане политическом, если мы строим наши расчеты в надежде на одного только Николая Чудотворца.

В плане культурном дело, к счастью обстоит иначе. Не быв последнее время в России, я не могу судить о степени и о

качестве религиозного возрождения, по некоторым сведениям, происходящего там. Я ограничусь данными неоспоримыми литературой. Правда, и здесь есть много симптомов зловещих. Величайшие наши поэты — Блок и Белый — поэты совершенно пассивного типа, с полной атрофией активного, волевого начала творчества, Эоловы арфы нездешних ветров. Поэты, выдвинутые деревней, все — упадочники, гнущиеся трости, декаденты. Бессилие перед стихией, пассивная отдача себя ее силе характеризует большую часть нашей (особенно Московской) литературы; то же идолопоклонство стихии в столь хвалимом теперь Пильняке, тоже порождении провинции и деревни. Но есть и другое. Как бы пассивны ни были Блок и Белый, и они причастны (да еще как!) к культуре Вечности, и свойственный этой культуре высокий духовный строй несравненно сильнее проникает других поэтов, особенно Петербургских. Присутствие такого строя среди нас, конечно, имеет высокое воспитательное значение. Но и мужество, и духовность являются больше следствием культуры унаследованной, чем симптомом грядущей. Такие люди могут быть праведниками, для которых перед грозным судом будет помилован Содом, но не Моисеями, сумеющими довести в страну обетованную. Те поэты, из-за которых

В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни,

не столько Вячеслав Иванов и Ходасевич, сколько Мандельштам и Маяковский. Маяковский — как указание на присутствие в самой нас влекущей стихии элементов жизненных и светлых, элементов "восходящей линии". Мандельштам — как возвещение о возможности творческого преодоления этой самой стихии Волей и Разумом.

Маяковский только наиболее яркое (или, лучше сказать, громкое) выражение мажорной струны нашей поэзии. Она звучит и в других, звучит весело, беззаботно, полно надежд. Но — чудное дело — звучит она только в поэзии горожан, порождении интеллигенции (Цветаева), полуинтеллигенции (Маяковский), пролетариата (Казин). Вопреки вере наших неонародников и народолюбцев, она не звучит из деревни, откуда звучит совсем другое. Есенинское

Я последний поэт деревни.

И, думается, не случайно. Но если Маяковский — стихия, то, действительно, мы имеем основание вверять ей наши надежды, силе светлой и "восходящей".

Мандельштам сказал: "Классицизм — поэзия Революции". И если под Революцией понимают то, что начал Петр Великий, в этом есть доля истины. Классицизм — поэзия активная, поэзия Воли и Разума, искусство телеологическое, в противоположность пассивному детерминистскому искусству, Романтизму. Именно отутствие Воли и Разума, сделало нашу "бескровную" бездарной. И присутствием их, если суждено нам победить, мы победим. Мандельштам только наиболее подчеркнутый представитель этой ново-классической поэзии, она же одушевляет и Ахматову, и Радлову, и вообще всех Петербуржцев; она же имеется, в более примитивной стадии, и у Москвича Казина; она же обнаруживается и у иных провинциальных поэтов (мною еще не упомянутых), например, у киевлянина В. Маккавейского; она же составляет ценное, хоть и замутненное, ядро поэзии Пастернака. В этой воле преодолеть стихию и утвердить творческую свободу и ответственность личности будем видеть знак грядущего возрождения и указание возможного пути.

Кеw, июнь 1922.

Кн. Д. Святополк-Мирский

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Традиция чистой прозы сохранилась только до известной степени у Замятина. Нужно приветствовать намечающуюся возможность ее возрождения в бодром и сильном творчестве его учеников, Серапионовых братьев— особенно Зощенки и Слонимского. Наоборот, огромный талант сибиряка Всеволода Иванова остается всецело в плену у "поэтических" форм.
- 2. Роль Зинаиды Гиппиус, как поэта, особенно как поэта для поэтов, огромна и, как мне кажется, недостаточно еще оценена. На самом деле именно она, гораздо больше, чем Бальмонт или Брюсов, сыграла наиболее плодотворную и личную роль в начале нашего поэтического возрождения 90-900-х годов.
- 3. К эмиграции, хотя и не к той же, что Бальмонт и Бунин, по существу дела принадлежит и Эренбург. Но как поэт он беспомощен, случаен и в конечном счете незначителен. Гораздо значительнее он как прозаик: его "Лик войны" лучшая, мне кажется, из вызванных войною книг на русском языке, а "Хулио

Хуренито", как к нему ни подойти, — книга тяжелая всеми болезнями нашего века, книга-памятник. Кроме того, Эренбурга надо помянуть добром за то, что он пока больше кого бы то ни было сделал для ознакомления эмиграции с поэзией Москвы и Петербурга.

- 4. В генетической связи с этими имжинистами стоит Рюрик Ивнев, но его надрыв и его истерика и подлинней и глубже, и искусство его самостоятельней и самозаконней в лучших своих вещах он подает руку уже не Мариенгофу, а Анне Ахматовой.
 - 5. В сборнике "Дракон" (СПб., 1921).

Широких древних плит — не одолеть, Они ведут, быть может, до Бриндизи. Не вспоминать, не знать и не жалеть О том, что с нами приключилось в жизни. Мой милый брат, бродячий и — ничей, Веревкой подпоясанный философ, Не узнает сегодняшних речей, Не ставит нам смущающих вопросов. Тут проходили армии на Рим, И, кажется, в пыли за той последней, Он шел, богами прежними храним, И берегом, и лугом, и деревней. У круглой башни серые кусты, Бредут стада, как движимые камни, Мой милый брат, твои глаза чисты От радости совсем еще недавней.

Алла Головина

"О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ" И ПУТЬ Д. П. СВЯТОПОЛКА-МИРСКОГО

Еще до своего переселения из Афин в Лондон в 1921 году кн. Д. П. Святополк-Мирский начал печатать в журнале The London Mercury под общим заглавием "A Russian Letter" серию статей о современной русской литературе. За период с декабря 1920 года по май 1922 года таких статей появилось шесть. Это были печатные выступления Святополка-Мирского критика; раньше он опубликовал лишь тонкий сборник стихов (Д. Святополк-Мирский, "Стихотворения 1906-1910", Спб., издво "Сириус", 1911). Серия статей в London Mercury является первым после 1914 года авторитетным обзором русской литературы начала XX века на английском языке. О русской литерадовоенного периода английский читатель мог осведомляться по статьям Валерия Брюсова в журнале The Athenaeum и по шестой главе книги Гарольда Вильямса (Harold Williams, "Russia of the Russians", 1914), но никакой систематической информацией о литературе военного и революционного периодов он не располагал. Новонайденная статья "О современном состоянии русской поэзии" является следующим этапом в работе Святополка - Мирского после серии A Russian Letter и самой ранней его критической статьей на русском языке. Непосредственно после нее Святополк-Мирский написал ряд статей и заметок для английских журналов, в том числе для учрежденного в 1922 году при Кингс Колледж Лондонского университета The Slavonic Review. На русском же языке Святополк-Мирский как критик впервые выступил в печати, как ни странно,

в России (Д. С. Мирский, "О современной английской литературе [письмо из Лондона]", Современный запад, книга вторая, Петербург-Москва, 1923, стр. 139-50). Эта статья была написана летом 1922 года, если судить по внутренним данным. Первой статьей, напечатанной Святополком-Мирским на русском языке о русской литературе, было предисловие к его антологии русской лирики ("Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака", Париж, изд-во "Франко-русская печать", 1924).

Естественно, что мы находим несколько точек соприкосновения между первыми английскими статьями Святополка-Мирского и текстом новонайденной статьи. Например, в общих чертах совпадает то, что сказано о старших символистах, о Белом, о Кузмине. Есть также несколько интересных деталей: строка из Данте ('Non ragionar di lor, ma guarda e passa'), которая приводится в русской статье по поводу "большевизма" Горолецкого и Ал. Толстого, раньше была приведена Святополком-Мирским по поводу варшавских выступлений Мережковского (The London Mercury, IV, No 19, 1921, стр. 416). Появляется та же самая неточность в цитате из Державина ('like a sweet lemonade in summer', там же, стр. 414), но это сказано по поводу самого Гумилева, а не его эпигонов. Но в этот ранний период его деятельности, как и всегда, даже при изумительной своей плодовитости Святополк-Мирский не повторял себя, и более интересными, чем такие совпадения, являются те места в новонайденной статье, где он затрагивает вопросы, не привлекавшие его внимания в позднейших работах или же получившие иное освещение из-за хода литературных событий.

Самое главное тут — то, что статьи в *The London Mercury* были поневоле написаны на основании самых скудных знаний о

^{1.} Предисловие Святополка-Мирского помечено: "8 августа 1923 г., Quimper". Покойный С.К. Маковский в своей статье о Комаровском ("Мосты", сборник 4, Мюнхен, 1960, стр. 279) сделал забавную — и странную под его пером — ошибку, приняв название порта Quimper в Бретани за псевдоним Святополка-Мирского. Та же ошибка была повторена при включении статьи о Комаровском в дополненном и расширенном виде в книгу "На Парнасе Серебряного века". В этой статье, кстати сказать, мы находим едва ли не единственное печатное свидетельство об участии Святополка-Мирского в литературной жизни Царского Села до Первой мировой войны.

литературе революционного периода: находясь в рядах Белой армии и затем в Афинах, Святополк-Мирский был оторван от литературной жизни. Печатание художественной литературы фактически прекратилось во время гражданской войны; и возобновилось оно только в 1921-1922 гг. Новонайденная статья Святополка-Мирского носит довольно яркий отпечаток ознакомления автора с первыми плодами этого возобновления, в том числе со вторым изданием сборника "Путем зерна" Ходасевича (Петроград, 1921), "Пугачевым" Есенина (Москва-Петроград-Берлин, 1922) и со стихами в ранних зарубежных русских журналах: Цветаевой и Волошина в Современных Записках, Белого, Ходасевича, Цветаевой и Казина в Эпопее, Ходасевича в Запис-В статье Святополка-Мирского особенно ках Мечтателей. двух антологий, вышелших отголоски чувствуются редакцией Ильи Эренбурга в Берлине в 1922 году. В "Портретах русских поэтов" (изд-во "Аргонавты") появились новые стихи Волошина, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой; в "Поэзии революционной Москвы" (изд-во "Мысль", №№ 57-58 в серии "Книга для всех") впервые были опубликованы "Зимние сонеты" Вячеслава Иванова; здесь же, наверное, Святополк-Мирский обратил внимание на стихи Казина и Радловой, получившие в его статье с нашей точки зрения преувеличенно высокую оценку. По расплывчатым словам о Пастернаке в статье чувствуется, что Святополк-Мирский еще не знал сборника "Сестра моя жизнь", вышедшего в Москве в 1922 году и в Берлине в 1923 году.

Незаурядный интерес имеют слова Святополка-Мирского о Марине Цветаевой; трудно понять, почему из этой в основном положительной оценки он выбрал одну только фразу, когда в следующий раз писал о ней: это — пресловутое "талантливая, но безнадежно распущенная москвичка", характеристика, появившаяся в предисловии к вышеупомянутой антологии Святополка-Мирского, из которой Цветаева исключена. Но в то время как Святополк-Мирский довольно часто возвращался к поэзии Пастернака и Цветаевой в течение 20-х годов, о Блоке он в эмиграции никогда больше не писал так проницательно, как в новонайденной статье; в этой оценке творчества Блока и заключается, пожалуй, самое ценное в статье. Хочется напомнить здесь о незаслуженно забытом предисловии Святополка-Мирского к

восьмому тому "Собрания сочинений" Блока (Ленинград, 1936), где мысль о "пассивности" Блока снова занимает центральное место, но оценивается эта пассивность с крайних тогда позиций Мирского-возвращенца.

В статье "О современном состоянии русской поэзии" момент ее написания сказался ярче всего, разумеется, в основном ее замысле, т. е. в размежевании карты поэзии на "Москву-Петербург-Пасси". Несмотря на оговорку Святополка-Мирского ("руководиться приходится не одним только адрес-календарем"), крупный сдвиг в географическом распределении поэтических сил, который произошел вскоре после написания статьи, не мог не подрывать ее актуальность, и возможно, что позднее Святополк-Мирский не захотел бы ее печатать в таком виде. Как отмечается в статье, "москвич" Андрей Белый уже в Берлине; из других "москвичей", названых в статье, в 1922 году приехали в Берлин Цветаева, Пастернак, Кусиков; из "петербуржцев" — Ходасевич и Одоевцева. Из-за этих передвижений статья Святополка-Мирского скоро стала анахронической и для периодического издания не годилась. Так как из переписки Святополка-Мирского почти ничего не сохранилось, мы не можем знать, были ли переговоры между ним и П. Б. Струве о переделке статьи в свете новых литературных событий. Вероятнее всего, что этого не было: уже в 1923 году Святополк-Мирский выскажет взгляд на литературную историю, несовместимый с тем, с чего начинается неопубликованная статья: он скажет, что процветанию поэзии пришел конец и начинается новая эпоха преобладания прозы (см. статью 'The Revival of Russian Prose-Fiction', The Slavonic Review, 11, № 4, 1923, ctp. 200-202).

Но существеннее, чем такие соображения, другой момент статьи Святополка-Мирского: Дело в том, что в своих статьях на английском языке, как и в знаменитой History of Russian Literature, Святополк-Мирский пишет для публики, не знакомой с современной русской литературой, и в первую очередь ставит себе задачу дать информацию по истории литературы. Хотя в англоязычном контексте Святополк-Мирский не скупится на эстетические оценки литературных произведений, и оценочный момент неизбежно проявляется в выборе разбираемого материала, тем не менее в них преобладает описательное начало.

Отсюда — непреходящее значение Святополка-Мирского, как критика, для иностранных студентов: он остается верным путеводителем в силу своего безукоризненного литературного вкуса, сохранившегося у него вопреки всем идеологическим перипетиям. Когда он пишет для русского читателя, у него преобладает другое: задорная полемичность, стремление к крайностям, свобода от фактографии. Для английского читателя он пишет вширь, приводя в изобилии сопоставления с западными литературами; для русского читателя он пишет вглубь, стремясь проникнуть до последней сущности обуждаемого писателя.

За пребывание свое в Лондоне (1921-1932), помимо восьми книг на английском языке (1925-1931), Святополк-Мирский напечатал свыше 70 статей и многочисленные рецензии. Из них не больше одной пятой написано на русском языке. Поэтому нельзя не видеть первостепенного значения новонайденной статьи "О современном состоянии русской поэзии": она как нельзя лучше показывает нам "русского" Святополка-Мирского, блестящего полемиста.

Бирмингамский университет, Англия

Джеральд Смит

80-ЛЕТИЕ ПРОФ. Г. П. СТРУВЕ

Недавно заслуженный профессор русской литературы Г. П. Струве отметил свой 80-летний юбилей опубликованием в "Нов. Русс. Слове" и "Русс. Мысли" статьи о своем литературном дебюте. Мы сердечно поздравляем проф. Г. П. Струве, давнего сотрудника "Нового Журнала", и от души желаем ему здоровья и сил для продолжения его ценной литературоведческой работы. Редакция.

Спасибо, жизнь, за то, что ты была, — За все сиянья, сумраки и зори, За мшистый бок тяжелого ствола И легкий парус в лиловатом море,

За все богатство дружбы и любви И тонкий холод одиноких бдений, И за броженье светлое в крови Готовых прозвучать стихотворений, —

Со всем прощаясь — и не помня зла — Спасибо, жизнь, за то, что ты — была.

Лидия Алексеева

В разлитом зарей огне — Дымился вулкан Везувий. Ворон принес жене Свежую рыбку в клюве. Просыпались в гнезде птенцы, Жена раздавала рыбку. Ворон, как все отцы, Смотрел на это с улыбкой. Он клюв поточил о сук, Слегка почесал за ушком. На соседней вершине вдруг — Закуковала кукушка. Это ее птенцы — Подрастали в гнезде вороньем Ворон, как все отцы — Думал о постороннем.

А. Величковский

по памяти, по записям

РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ

— А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву "ф". Мне даже выводить на бумаге это мерзкое "ф" трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А, знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту — священник уже стоял у купели — старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: "Что делают... что за имя для барчука!". Наспех назвали меня Иваном, хоть это тоже не слишком изысканно, но, конечно, с Филиппом несравнимо. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, я и остался на всю жизнь без своего святого... А, прости Господи, каким образом рука Иоанна Крестителя могла очутиться в Гатчине, я до сих пор не разгадал.

Но что все-таки могло произойти — "Филипп Бунин". Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.

Его до сих пор передергивает при одной мысли об этом "ужаснейшем" из сочетаний.

— Род наш значится в шестой книге. А гуляя как-то по Одессе, я наткнулся на вывеску "Пекарня Сруля Бунина". Каково!

См. кн. 130. РЕД.

*

Помните, вы когда-то встречали у меня старика Неклюдова. Он считал себя потомком византийских императоров по прямой линии, потому что его мать, действительно, была из рода Комненов. Счасливую жизнь прожил человек. Дипломатическую карьеру он начал молодым атташе в Константинополе. Представить себе теперь нельзя, чем была посольская жизнь на берегах Босфора в последней четверти прошлого века: балы, празднества, положение дипломатического представителя такой державы, какой была тогда Россия, большое космополитическое общество. А официальной работой Неклюдов себя не слишком утруждал. Попросите его при случае рассказать о султанском дворе и о его похождениях и победах. У вас голова закружится. Да и жена его может тоже многое припомнить. Впрочем, у нее очень твердые убеждения: она считает, что лучше австрияков для ухаживания не было никого, даже британские лорды отходят на второй план!

Из Константинополя Неклюдова перевели в Софию, оттуда в Стокгольм, а революция застала его уже в Мадриде в обстановке тысячелетнего этикета, так что слушать песенки под аккомпанемент кастаньет должен был "инкогнито". Когда Временным правительством в ударном порядке была провозглашена республика, он получил инструкции об этом факте не распространяться и... подал в отставку. Так и остался на Западе.

В Мадриде его заменил Стахович, но он по пути застрял в Париже и до Альфонса XIII так и не доехал. Я и его хорошо знал. Он был нашим предводителем дворянства, был своим человеком в толстовской семье, завсегдатаем в Ясной Поляне, но до самой старости оставался для всех "Мишей Стаховичем". Большой был фат, и Толстой, конечно, никогда его всерьез не принимал. Это вам не чета Маклакову.

С этим "Мишей" я долго не раскланивался. Мы как-то ехали вместе в Орел. Приехали ночью, в такой туман, что на шаг от себя не видно, ни одного извозчика. Я с трудом отыскал какогото Ваньку и пока зазевался с носильщиком Стахович юркнул в мою пролетку и был таков... Я и сейчас негодую при воспоминании об этой ночи. Ведь я уже много раз говорил вам, чтобы

вы намотали себе на ус, что нет людей более обманчивых, чем люди с благородными седыми бородами! Это Зинаида Гуппиус выдумала что-то о "благоуханных сединах"!

*

— Какой великолепный писатель — Гаршин и каким несчастьем для нашей литературы была его преждевременная смерть. В его вещах чувствуется такая писательская свобода и смелость приемов, которые безошибочно указывают на очень глубокий и подлинный талант.

"Мы, Божией милостью, Петр Первый объявляем ревизию сему сумасшедшему дому...", так начинается "Красный цветок". Как прием, лучше не придумать. А "Четыре дня" — совсем крупная вещь, но даже в маленьких его рассказиках чувствуется присутствие свежего таланта. "Attalea princeps", хоть и испорчена гимназической тенденцией, но и здесь чувствуется что-то значительное.

*

— Замечательный человек был Леонтьев — умный, интересный, талантливый. Некоторые его вещи, в частности его "Записки", буквально на уровне толстовских вещей. Его греческие романы немного тягучи и скучны и должны сейчас показаться старомодными, но и в них вы неожиданно наткнетесь на страницу, на пятнадцать строк описания какого-нибудь Крита, которые великолепны.

Ох, неблагодарное потомство!

*

— Я думаю, что ни одна западная литература того периода не достигала поэтических высот "Слова о полку Игореве". Но надо быть русским, чтобы это ощутить. Вот Мицкевич пытался переводить "Слово" и не сумел — оно непереводимо. Есть много поэтических творений, которые теряют прелесть, если лишить их природных архаизмов. "...Святослав мутен сон виде..." — разве

это то же самое, что "мутный сон"? Ведь "Слово" даже и на современный русский язык переводить кощунственно.

Мудрый Мазон долго работал над "Словом" и пытался доказать в силу каких-то внелитературных причин его апокрифичность. Боже, какая ересь! Только иностранец мог не почувствовать органическую ткань этого памятника!

*

— Нет, вы только вникните: "Не пожелай жены ближнего своего, ни вола его, ни осла его...". До чего жесток ваш Бог Саваоф. "Ни осла его...".

*

- Когда я был в третьем, а, может быть, в четвертом классе елецкой гимназии дальше ведь я не доехал учился со мной в одном классе некий Драковцев, фат с голубыми глазами. Он был на несколько лет старше меня, так как считал своим долгом в каждом классе оставаться на лишний год, а то и на два. Личность противная, патологическая всего не расскажешь. Хоть я с детства неподатлив, но Драковцев меня все же порой тиранизировал. Он был много опытнее, хвастал знанием жизни, вероятно, привирал, но мне он чем-то импонировал. На какую девицу я бы не загляделся, он мне на следующий день развязно говорил:
- Ээх, да я с ней в прошлом году жил, или да я ее недавно имел.

Хоть я ему и не верил, но все-таки завидовал!

Как-то во время большой перемены он мне таинственно шепнул:

- Сегодня после девяти встреча за земляным валом...
- Я, конечно, поспешил прийти. Нас, гимназистов, собралось человек шесть. Откуда-то появилась большая бутыль водки, которую друг другу поочередно передавали и пили прямо из горлышка, закусывая соленым огурцом. Противно было, омерзительно. Я всегда был донельзя брезглив, а тут еще захватывающий дыхание невкусный напиток. Боясь товарищеских насмешек, я пил, превозмогая себя.

Когда бутылка оказалась опорожненной, подозвали извозчика и уселись в него всей оравой.

— К Анисье Петровне, — скомадовал Драковцев, заранее решивший, что для меня наступила пора "пасть" и в этом деле он должен стать ментором.

Елец городок маленький, однако ехали мы довольно долго, пока не подъехали к низенькому домишке с символическим красным фонариком у подъезда. Зашли стесняясь и друг друга подталкивая вперед. Один Драковцев делал вид, что он здесь завсегдатай. Нас окружили какие-то дебелые девки. Я сел в какой-то свободный угол и, заикаясь, заказал бутылку пива. На мои колени тотчас, без приглашения, бултыхнулась какая-то грузная, почтенных лет женщина, почти меня задавившая. "Машина" не переставала играть польку.

— Попьем пивка, потом приляжем, — сказала моя Дульцинея тоном, не терпящим возражений и при этом попыталась поцеловать меня. Эти ее попытки бросали меня в жар и холод, и я не знал, как мне держать себя с ней и о чем говорить.

Пиво было какое-то липкое, густое, видимо застоявшееся. К этой потной женшине с хриплым голосом, в несвежем белье, я не испытывал ничего, кроме отврашения. От непривычной водки клонило ко сну, глаза слипались, и стены вокруг меня вдруг стали покачиваться, а пол сливаться с потолком.

Как я выскочил из этого гостеприимного дома, как добрался до своей постели, я и сам не знаю — кажется, и тогда толком не знал.

Экспедиция сорвалась!

*

Он очень не любит Достоевского, не признает его. Достоевский ему органически чужд, и атмосфера романов Достоевского его угнетает. Сегодня он все время старается доказать мне, что в романах Достоевского все надумано, нет живых людей, одни только схемы, нет пейзажа.

— Ну, какой же это у Достоевского Петербург? Это в лучшем случае Лиговка, Обводный канал, Пятая рота, но разве это Петербург...

Если только доживу, по-настоящему за него возьмусь. Пора его сбросить с пьедестала, как говорит обо мне Шмелев.

А, кстати, вы прочитали его "Историю любовную"? Нет и не читайте. Я как дошел до того места, когда герой лезет на какуюто акушерку и замечает, что у нее вставной глаз — так не только бросил читать, но выбросил книгу... гадко, омерзительно, безвкусно — не могу...

*

- Я довольно поздно познакомился с Мережковскими. Помню, как я зашел в какую-то петербургскую редакцию. У стола в кресле восседал какой-то маленький человечек, который при моем появлении заканчивал с кем-то оживленный спор. До меня донеслась только одна фраза "Искусство лжи самое большое из искусств". В этот момент один из присутствующих спросил:
 - Вы не знакомы? Мережковский Бунин.

Мы обменялись рукопожатием, и делу конец. Мере жковский упорный петербургский житель, а в общем в Петербурге я бывал толко наездами. Ближе я с ними сошелся только в эмиграции.

Когда-то здесь, в этом самом Грассе, было у меня с Зинаидой Николаевной некое подобие amitie amoureuse. Я вдруг почувствовал, что я ей понравился.

В это время я напечатал небольшой рассказ, в котором описывается, как неизвестная поклонница посылает знаменитому писателю анонимное письмо и что из этого вышло. За этот рассказ Зинаида Николаевна устроила мне форменный разнос. Она с возмушением набросилась на меня:

— Вы попираете самое чистое и святое, в вас нет чуткости, вы готовы все опошлить...

Гнев ее был мне малопонятен, но лиризм наших отношений стал таять.

*

— В иностранном обществе — в первые годы эмиграции мы

еще были "заморскими птицами" и нас постоянно приглашали — Мережковский постоянно подводил какого-нибудь именитого гостя к Зинаиде Николаевне и представлял ее:

— Неужели вы не знакомы с моей женой, знаменитейшей русской поэтессой.

А когда незадолго до войны Мережковские были в Италии, они были приняты Муссолини.

- Дуче, я пишу теперь книгу о Данте и о вас...
- Piano, piano, забормотал дуче.

Мережковский сам мне об этом рассказывал, восхваляя скромность Муссолини!

*

Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места "противника". Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успока-ивается. и настроение тут же улучшается.

- Кого бы выругать? обращается иногда к окружающим. Мы говорили в это время о поэтессе Б-ой.
- Ну вот, есть о ком говорить. Она же теперь должно быть стала похожа на тарань!

Жестокое сравнение рассмешило его самого.

— А отец мой еще лучше умел ругаться. Помню матушка частенько с упреком говорила: "Господи, как все Бунины оскорбительно ругаются".

*

Прекрасно имитирует многих своих современников, Горького, Бальмонта, Алёшу Толстого. Актерская жилка в нем очень сильна, хотя театра он не любит. Знает это и, смеясь, замечает:

— Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал Станиславский. Наверное стал бы знаменитостью, а теперь, скажите на милость, кто меня читает?

А все-таки отлично знает, что забыт он не будет.

*

По поводу какой-то домашней, хозяйственной неполадки я замечаю:

- Ну, это исправить трудно...
- Трудного ничего на свете не бывает, перебивает он меня, вот и "Войну и мир" нелегко было написать, а однако же Лев Николаевич ее написал.

Потом улыбнувшись:

— Это вы, злодей, вероятно, хотели сказать, что я бы не смог.

Он задумался и вдруг:

Вы постоянно хотите меня унизить!

А вы часто перечитываете "Повести Белкина"?

В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.

Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его не достать. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрыть книжку на последней странице и начинать снова с первой.

4

Сочинил какие-то шуточные стишки и довольный радостно их декламирует.

— Иван Алексеевич, да у вас в последнем двустишии рифмы прихрамывают.

Он чуть не обиделся.

— Тоже скажете... и у Пушкина найдете глагольные и слабые рифмы. А теперь ваши друзья рифмуют "бляди — на пледе" или "самовар-кавалер"! И небось это всем по вкусу, даже Адамовичу с Ходасевичем. Вам мои стихи могут не нравиться, допускаю, но придраться к моим рифмам нельзя...

*

Я как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежечасно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. Я сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну, настоящие живые мощи! Я не знал, кто это (кажется, это был знаменитый Бекетов), но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, походивший на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никого не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной.

Надо вам сказать, что в Академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны и иначе, как "Ваше Превосходительство" друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по "табели о рангах" соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой пришурился, кашлянул и наклоняясь ко мне: "Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?"

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844-м году.

— Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из "Хаджи-Мурата", опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжему показывают мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой

литературе. Я много раз ее перечитывал и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...

*

Вы едва ли сознаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите какой-нибудь толстовский текст. Каждому портрету уделяется всего лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая веснушка. Вы никогда ни с кем не спутаете ни Наташу, ни Соню, ни Анну. Один только Иван Ильич нарисован обще. Но это ведь Толстой сделал умышленно. Рассказ ему лучше следовало озаглавить "Смерть Ивана Ивановича".

*

С вечера я взял с его полки томик стихов Алексея Толстого (кстати, до смешного не любил он давать свои книги для прочтения, даже не "на вынос"). Я давно их не перечитывал и удивлялся, как у Алексея Толстого много стихов искусственных и водянистых, даже совсем слабых, рядом с подлинно прекрасными. Я поделился моими впечатлениями с Иваном Алексеевичем.

— Ну, это вы все от любви к Блоку на Толстого клевещете. Завороженность Блоком вас окончательно погубит. Конечно, петушкового стиля и я у Толстого не люблю, но поэт все же превосходный. Вы только почитайте его письма и, главное, дневники. Сколько в них чутья и какой безупречный литературный вкус. Какой умница!

В свое оправдание я прочел ему вслух отдельные места из "Дон-Жуана", произведение, которое,судя по его переписке, поэт ставил очень высоко.

— Ну, это вы что-то передергиваете... и на солнце бывают пятна.

Что до толстовских дневников, то мне удалось прочитать их много позже, и я убедился, что Бунин расхваливал их только потому, что ему импонировала фигура Алексея Толстого — юно-

шеские дневники, посвященные странствованиям по Италии весьма незначительны. Но гипноз имени действовал на Бунина довольно часто.

*

Мы возвращаемся домой по крутой горе. Где-то в горах выпал обильный снег, дует пронизывающий ветер и вдоль нашей дороги по канавке, обычно лишь чуть влажной на дне, с шумом несется поток.

Иван Алексеевич, ежившийся от холода, вдруг декламирует:

"Дробясь о мрачные скалы

Шумят и пенятся валы

И ропщет бор..."

— Это, черт знает, как хорошо. Точнее и лучше сказать невозможно. Каждый раз как я вспоминаю какие-нибудь пушкинские строчки, на меня точно столбняк находит. Я немею от восторга, от удивления. В мировой литературе не было ничего отдаленно похожего. О нем ничего, кроме истертых фраз, и не скажешь, надо довольствоваться восклицательными знаками и междометиями.

В жизни должно быть есть вещи, о которых мы даже не догадываемся. А то как же могло случиться, что такой человек погиб от руки негодяя, неизвестно какими путями попавшего в Россию.

А вот однажды Анри де Ренье мне рассказывал, что он сродни Дантесу. Чувствовалось, что в его семье этот "маститый" сенатор, вечно менявший убеждения и родину, пользовался большим уважением. Теребя свои галльские усы, Ренье добавил: "Да вы, вероятно, не любите его, ведь я знаю, что он в молодости убил вашего поэта Пуськина (так он и произнес). Но, помилуйте, тот Дантеса оскорбил". Я ничего не мог Ренье ответить и только отошел от него.

*

Он часто называет себя "последним из могикан". А когда бывает в дурном настроении, повторяет "я — нищий старик".

Впрочем, страх материальной катастрофы преследует его с раннего детства и, кажется, никогда не покидал с того времени, как разорился его отец.

Чтобы подразнить Веру Николаевну, старающуюся его ублажить, уступая ему несколько граммов масла, полученного по карточкам, он говорит: "Ну, Вера, с твоими седыми волосами и в очках ты совсем стала похожа на Тютчева"!

*

— Прошлой ночью никак не мог заснуть, — рассказывает он. Я лежал с открытыми глазами и все думал, какие же стихи должна была сочинять Надя.

(Надя — шестнадцатилетняя, весьма эмансипированная поэтесса, некое подобие Надежды Львовой, бывшая действующим лицом в бунинском рассказе "Генрих", над которым он в те дни работал.)

Ведь без того, чтобы я знал, что и как она пишет, ее образ не мог стать цельным для меня самого. Я кое-что набросал, два-три стихотворения придумал, но потом все уничтожил. Стихи эти приткнуть было некуда, но, сочиняя их, мне стало вполне ясно, как она должна была себя вести. Это очень помогает, поработать за своих героев. Не приставайте, теперь Надиных стихов я уже не помню, помню только, что одно из них начиналось:

"Он, как Еве,

Робкой леве

Протянул свой спелый плод..."

А лальше?

Дальше, дальше, дальше не для печати!

*

Говорят, что лорд Теннисон под конец жизни получал по десяти золотых фунтов за строчку. Знай я это, я непременно родился бы англичанином и непременно стал бы королевским лауреатом!

— Вы никогда не встречали Вячеслава Иванова. Жалко. Интереснейший, хоть и путанный человек и собеседник, державший вас в постоянном напряжении. Я очень любил некоторые его стихи — у него есть настоящие и непреходящие. Вот только его "Диониса" не приемлю. Эта религия страдающего бога — какая-то салонная схоластика. Она под силу Мережковскому, но не мне.

Я чувствую, как при мысли о "Дионисе" первоначальный пафос в описании "Вячеслава Великолепного" постепенно увядает и незаметно для себя он уже начинает называть его Иванов!

*

Он написал рассказ, один из героев которого — известный московский врач первоначально именовался Николаем Михайловичем Данилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на машинке, когда, проглядывая машинопись, он вдруг решил перекрестить своего доктора в Григория Яковлевича. Пришлось все заново переписывать.

- Не все ли равно, каково имя-отчество Данилевского?
- О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое сочетание не подходит к персонажу. Мог ли он быть Николаем Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, чтобы оно его не коробило. Я часто примеряю имя потом вижу, что оно не подходит, режет ухо и тогда меняю его. Это необъяснимая, таинственная магия имен. Можно потопить хорошую вещь неудачным, неподходящим подбором имен.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает с этой целью.

*

— Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не очень любить. Уж очень

много в нем пошлого, неестественного. Откройте хотя бы первую страницу "Мертвых душ" ("поэмы" — почему поэмы?). Действие происходит в губернском городке и вдруг у дверей кабака разглагольствуют два "русских мужика". Что же вы могли бы подумать, что это испанцы судачат о том, доедет или нет Чичиков до Казани? Но еще того неестественнее подбор имен. Где он мог выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки — это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии "Хлестаков" есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пишиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия — важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого — это подлинные алмазы.

*

Парижские антисемиты из "Возрождения", по его словам, прозвали его "жидовский батько" за его дружбу с евреями, за то, что в личных отношениях у него подлинно "несть эллина, ни иудея", хотя иногда он не прочь над евреями иронизировать — впрочем, вероятно, не больше, чем над поляками, финнами или латышами. Но он любит пойти иногда в еврейский ресторан и отлично осведомлен о многих патриархальных еврейских обычаях, которые практикуются только в очень ортодоксальной среде. Не знаю, где он мог эти обычаи изучить.

— Вот вам прекрасный обычай: глава семьи, почтенный старец с седой бородой и в ермолке, после какой-то праздничной трапезы торжественно обмакивает свой палец в стакан палестинского вина — уж очень оно на мой вкус крепкое — и потом резким движением стряхивает осевшие на пальце капли с возгласом: "Да погибнут враги Израиля!".

Он часто делает это сам, посылая цветистые проклятия по адресу политических врагов.

...

— Вы этой эпохи уже не застали, в ваше время все уже было

живее, а как тупо и тускло было поставлено преподавание в средне-учебных заведениях в мои отроческие годы.

"Цезар (обязательно Цезар, а не Цезарь) узнал через какихто лазутчиков", о которых я, кажется, уже при вас упоминал. Они у меня в ушах завязли, потому что их конкретно представить себе не мог! Потом какое-то "деепричастие". Вы только вдумайтесь в нелепость этого слова. Или еще "обстоятельство образа действия". Попробуйте растолковать это "обстоятельство" четырнадцатилетнему балбесу. Вот я до сих пор не знаю, что это такое, а все-таки как-то обхожусь...

Гимназии я, как вы знаете, не кончил, ни в каком университете не был, а оказался не глупее иных других и не менее образован, чем они. Главное не в дипломе, а в желании знать".

*

— Директором моей гимназии был старичок из балтийских немцев по фамилии Закс, плешивый, с заостренным черепом. Пришел он как-то на мое горе на урок математики, которую я с колыбели люто ненавидел. Я рассеянно сидел за партой, обмахивался тетрадью, потому что от моего соседа изо рта несло пшеном, а от сапожищ дегтем, и думал о моей горькой судьбине. Неожиданно меня вызвали к доске, на которой красовались нарисованные мелом какие-то никому ненужные треугольники с таинственными обозначениями на их верхушках. Мне задавали какие-то вопросы... один, другой... я стоял как вкопанный с мелком в руках, ничего не понимал и молчал.

Директор с жалостью посмотрел на меня и во всеуслышание на весь класс процедил:

— Тупоголовый!

Это было последней каплей, и такого я стерпеть не мог. Я надменно посмотрел на него, точно внезапно пробудился, и тем же тоном ответил ему:

— Остроголовый!

Скандал получился невообразимый. Меня хотели исключить из гимназии. Отца вызвали из деревни для объяснений. Но я не волновался. Я знал, что отец меня не выдаст и постоит за сына. Человек он был с норовом и с большой гордостью, а тут как

будто "фамильная честь" задета. Историю эту как-то замяли, а гимназию я вскоре навсегда покинул по собственному желанию.

*

— Идешь бывало из гимназии к дому, в котором меня поселили. Проходишь стоянку извозчиков. Один из них непременно пристанет:

"Барчук, а, барчук, арихметику купи... У меня недорого есть, по случаю..."

Полюбопытствуешь, остановишься, вступишь в разговор. А он задерет кобылий хвост:

"Вот тебе и арихметика!"

Все радостно хохочут, а самому хочется сквозь землю от стыда провадиться.

*

"Вчера я перелистывал том стихотворений Фета. Кто редактировал это издание? Высечь его следовало бы. Отличный был поэт, но из "Вечерних огней" надо столько стихов выпустить. Я был по-настоящему огорчен. Не знаю, кто придумал, что надо печатать в посмертных изданиях все написанное. Не дай Бог, если такое произойдет со мной — я вылезу из гроба и буду уничтожать лишнее, детское, незрелое, не обработанное".

~

Когда он начинает ругаться или говорить слишком откровенно о вещах, о которых принято молчать (а это он очень любит), Вера Николаевна с болью в сердце замечает:

- Ян, около тебя точно бес какой-то стоит. Не греши.
- Ну положим, что же в том, что я говорю, греховного? Ведь я говорю о самой прекрасной вещи в мире. Только ради нее и стоит родиться. Не могу же я всегда рассуждать на богословские темы или писать рассказы о молодых священниках, как тебе теперь нравится. В любви, любовном акте есть что-то божественное, таинственное и жуткое, а мы не ценим. Надо

дожить до моих лет, чтобы до конца ощутить всю несказанную мистическую прелесть любви. Описать это словами невозможно. Это непередаваемо. Главное ведь всегда ускользает. Сколько я ни пробовал — не получается или получается около, где-то рядом, но сути словами не поймать, на крючок не нацепить. Да это не я один — этого еще никто не выразил и не выразит.

*

Мы не раз проезжали на неспешащем, работающем на древесном угле автобусе мимо Кань, маленького прибрежного городка и курорта в окрестностях Ниццы. Иван Алексеевич всегда меланхолически посматривал на небольшой отель, расположенный у самой дороги.

— А он все тот же... за тридцать лет будто не изменился. Я жил тогда в Ницце в большой, комфортабельной гостинице, в которой только и думали, как бы получше угодить русскому "prince". Было время карнавала, шумно и весело было не только кругом, но и на душе. Все было доступно — только и жди, чего твоя левая нога захочет! Я ухаживал за Х., моей соотечественницей. Постепенно добился взаимности и, наконец, почувствовал, что могу пригласить ее к себе. Но она неожиданно заупрямилась, ни за что не соглашалась прийти в мой отель и настаивала на поездке в Кань. Автомобилей тогда еще почти не было и путешествие на лошадях казалось мне бесконечным. Зато какая была потом ночь... Все отдать за нее и того мало! А эти пальмы в глиняных вазонах и тогда уже, словно часовые, стояли у входа. Что им до наших маленьких человеческих дел...

*

— На большом приеме у Клода Анэ, автора "Ариадны — молодой русской девицы", романа, имевшего в начале двадцатых годов шумный, но незаслуженный успех, хозяин дома познакомил меня с Падеревским, несколько удивленный, что я не был знакомым с знаменитым пианистом.

"Вы можете говорить между собою по-русски," — добавил Анэ.

Падеревский весь передернулся. Он сухо, с каменной гордостью протянул мне руку, очень официальным тоном процедил "Enchante" и тотчас куда-то испарился. До чего не любил русских!

*

Он писал рассказ, героиней которого была проститутка.

— Я начал писать его в первом лице и из-за этого не могу дать никаких подробностей. Как-то неловко писать "я" и потом передавать детали. А жалко. Ей-Богу, рассказ был хорошо задуман, да не выходит.

*

— А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Сказал даже грубее!).

— ??

— А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помните да вы, конечно, помнить не можете — у Бенедиктова про наездницу, которая гордится "усестом красивым и плотным". Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы вам непременно почитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта, да и умнее, но это само собой разумеется. Вы бы тогда усумнились в Белинском. Впрочем, вы и Белинского, вероятно, не читали; ваше поколение его уже презирало, и зря. Вспомните только отношение к нему Лермонтова и все, что писал о нем Тургенев.

*

За столом долгий разговор о французской литературе. Сперва говорили об Анатоле Франсе:

— Это, конечно, ерунда, будто его слава закатилась и он обречен, — воскликнул Иван Алексеевич. — Многое из того, что он написал, не может умереть. Перечтите хотя бы "Красную лилию". Какая свобода, какое умение использовать материал, как легко и без тени напряжения передан прозрачный флорентийский воздух. А с каким безошибочным искусством и чутьем

изображены отдельные лица. Возьмите, например, его скульптора или его англичанку. Это живые люди, я чувствую, как они дышат. Конечно, Франс своей англичанки не придумал. Гденибудь встречал он, должно быть, Вернон Ли, именно такой, как на его страницах, она и была. Ему и стилизовать ее пришлось очень мало. Отвечаю вам за это. Убежден, что Лев Николаевич с радостью согласился бы поставить свою подпись под этой книгой. (Это он любит говорить, когда хочет особенно расхвалить какое-нибудь литературное произведение, когда превосходная степень кажется ему недостаточной. Высшей похвалы в его лексиконе не существует.) Нет, Франс бесспорно создал вечные ценности и сейчас наблюдается какой-то преходящий снобизм подтрунивать над ним.

Разговор перескакивает на Флобера. Это один из его любимых писателей. Отдельные места из "Мадам Бовари" он цитирует очень часто и даже слово "боваризм" его особенно тешит.

— "Напряженный" писатель... Его "Гри повести" надо ка лому перечитывать хотя бы раз в год. Это изменение ритма в "Святом Юлиане", когда к концу повествования рассказ переходит уже в легенду, в житие, подлинно гениально, другого слова не сыщешь. Тургенев уж на что был мастер, а перевод его не вышел. Помните, как у Флобера раненый олень кричит: "Maudit. maudit" (Бунин вытягивает при этом шею и старается мимикой изобразить агонизирующего зверя). Это протяжное "au-au" в "maudit" замечательно передает предсмертный стон, а тургеневское "проклят, проклят" ничего не изображает, а ведь тут звучание важнее смысла.

Есть отличные места и в "Искушении". Но над этой вещью Флобер пересидел, вымучил ее, создавая несколько вариантов. И "Education Sentimentale" хорошая книга, чуть растянутая. Да, кстати, переводить заглавие "Сентиментальное воспитание" просто безграмотно, но и "Воспитание чувств", предложенное Андреем Левинсоном, нехорошо. Я бы перевел, пусть это будет неуклюже, "Чувствительное воспитание". Это как-никак ближе к мысли автора.

Бальзака совсем не могу читать. Вечно путаюсь в генеалогиях, в родственных отношениях его героев и не могу его

осилить, когда на пятидесяти страницах он начинает описывать кто, когда и кому была продана какая-то наследственная мельница или мануфактурная фабрика. Мне от всех этих деталей становится скучно, а скучную литературу я читать избегаю. Вот поэтому я готов заранее согласиться, что Мольер очень хорош, очень ценен — охотно это допускаю — но читать мне его не под силу, даже на сцене его пьесы меня не забавляют.

Помните, вы когда-то приносили мне одну за другой книжки "Потерянного времени". Я тогда Пруста довольно много прочел, хотя, вероятно, не все. Он несколько искусственен, но, несмотря ни на что, даже на бесконечные длинноты, очень хорош. Уж то хорошо и привлекательно, что до него никто так, как он, не писал. Открываешь книгу и с первой страницы попадаешь в какую-то его, прустовскую атмосферу. Он с детства был обреченным человеком и как все обреченные люди знал и чувствовал очень многое. Кроме него, таких страниц о ревности (И. А. имел, по-видимому, в виду главу об отношениях Сванна к Одетт, он уже до того этими страницами восторгался) никто создать бы не мог.

На мгновение он задумался и потом, точно спохватившись, добавил: "Положим Толстой бы мог, если бы только захотел, только он никогда бы не захотел".

— А вот имена героев и заглавия его книг — а ведь это гораздо важнее, чем может показаться извне — у Пруста на редкость безвкусны. Разве это хорошо "В стороне Сванна" или "В стороне Германтов"? Это не звучит, это невкусно, хуже и придумать трудно.

А в другой раз он как-то ошарашил меня словами о том, что в некоторых главах "Жизни Арсеньева" есть, мол, немало мест совсем "прустовских", хотя это влияние на него Пруста неискушенному читателю малоприметно.

Я несколько раз приносил ему "на ночь" Стендаля, которого доставал в городской библиотеке, но на утро он мне говорил: "Одолел с трудом несколько страниц и отложил в сторону", а затем я слышал неизменную отговорку: "А какое мне, собственно, дело до "вашего" Фабриса". Не помогала даже ссылка на толстовское преклонение перед Стендалем.

Случайно был у меня в Грассе томик сочинений Бодлера и

Бунин брал его иной раз. "Маленькие поэмы в прозе" он считал ничтожными и мелодраматическими, отдающими "бальмонтовщиной", зато о "Цветах зла" говорил:

— Несмотря на присутствие декламации, какой талантливый поэт. Всю жизнь думал, печалился, страдал, а что осталось? Какая-то тошая тетрадь. — И тут же с болью в голосе добавлял — "Да, жалки все мы".

*

Однажды он позвал меня к себе наверх и сказал:

— Я только хочу прочесть вам одну фразу из переписки Флобера (эти томики он постоянно возил с собой и очень берег, не давал никому читать). Вы только послушайте, что он писал своей долголетней приятельнице и любовнице, Луизе Колэ.

Он открыл томик, и я увидал, что фраза, которую он захотел мне прочесть, была отчеркнута густым красным штрихом.

— "Да, чего-то недостает в жизни, — начал он, — тому, кто никогда не проспыпался в безымянной постели, не видал на своей подушке голову, которую никогда больше не увидит и кто, покидая эту комнату при восходе солнца, не перешел бы через какой-нибудь мост без желания броситься в воду...".

Это весьма примечательное письмо было мне знакомо, но тот факт, что оно как бы задело Бунина за живое мне был непонятен.

- Иван Алексеевич, почему эти слова пронзили вас, почему они могли вас взбудоражить?
- "Есть многое на свете, друг Горацио...", отвечал он. Письмо к Колэ замечательно уж тем, что это подлинный, мало с чем сравнимый крик души тридцатилетнего человека, совершенно не схожий со всем тем, что пытаются выдумывать литераторы, хотя бы наиболее талантливые. Еще потому, что то, о чем пишет Флобер, я сам никогда не переживал... хотя...

На этом "хотя" он запнулся и спустя несколько мгновений, вероятно, чтобы рассеять впечатление, произведенное его нечаянным "хотя", пояснил:

— Я перечитывал вчера эти письма и некоторые юношеские произведения Флобера. Читали ли вы его "Ноябрь"? Ведь это

совершенно особенный человек, вот кого можно по-настоящему назвать "гением". В этом "Ноябре" такая смелость и уже такое свое, хотя автору было при писании семнадцать лет. Какая цельная фигура... Нисколько не француз, даже непонятно, что он мог родиться в Нормандии...!

— "Счастлив, кто посетил сей мир/В его минуты роковые...". Ну, это, конечно, еще большой вопрос. На мой век этих "роковых минут" оказалось что-то больно много. А ведь подумать только, что эти строки написаны в связи с ничтожной с нашей точки зрения июльской революцией 1830-го года во Франции, когда свергли Карла X-го... свергли, ну и что?

А кстати, ведь "блажен, кто посетил сей мир" было бы лучше. Бунин не знал, что сам Тютчев переделал "блажен" в "счастлив" только через несколько лет после появления этого его стихотворения в альманахе "Денница".

Спикер в радио пространно цитирует статью Шарля Морраса, полную антисемитских выпадов. Это Бунина коробит.

— Говорят, что Моррас умнейший человек, Может быть, и правда, только у него мозги набекрень. Неужели он еще может вполне искренне носиться с мыслью о восстановлении монархии. Ведь это окончательно изжито — ни здесь, ни в Германии, ни тем паче в России никогда монархии не быть. Всякому овощу свой сезон. Теперь надо быть сильным и жестоким, стучать кулаком по столу и не упиваться ниспровергнутыми традициями.

И он напевает: "Эх, эх, картошка гнилая, Воротите Николая..."

Принято думать, что у Бунина не в меру ироническое отношение ко всем собратьям по перу, особенно к молодым и начинающим. Это, конечно, легенда. Когда заходит разговор о ком-

нибудь из писателей следующего поколения ("незамеченного", как его кто-то окрестил) или кто-то пустит едкое замечание, он непременно взъерепенится, вступит в спор, начнет "обвиняемого" защищать — без малейшего покровительственного тона.

— Критиковать легко, а попробуйте сами такое написать. Раз талант есть, выпишется. Никто сразу "Войны и мир" не создал.

Насмешки и шпильки пускает только по адресу уже признанных, но тех, которые ему близки, всегда расхваливает и умалчивает даже то, что не могло прийтись ему по душе.

Особой нежностью пропитаны его высказывания об "Алешке" Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним "на заре" эмиграции с

— Будучи в Париже он не раз мне с надрывом говорил: "Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: "Царьбатюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь". А ведь "царя" он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел.

Я однажды зашел к нему, когда он умывался.

— Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой самому от этого жутко делается!

Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ничего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:

— Прихожу я раз домой навеселе, что-то меня рассердило и я начал буйствовать. Кричу на весь дом — "Сейчас угол у камина отобью" (не повторю, каким способом). Прибежали дети, плачут, кричат "Папочка, не надо", еле они меня успокоили.

Но какой он работяга. Всю ночь кутит, в пятом часу возврашается домой, а в девять уже за письменным столом, голову помажет "бом-банге", обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет. Ведь "Петра" он начал готовить еще будучи в Париже, еще тогда начал собирать материалы. Прекрасно все чувствует, даже петровскую эпоху почувствовал, от которой отказался Лев Николаевич. Еще большей симпатией пользуется у него Алданов.

- Этому человеку я верю больше всех на земле.
- А когда Алданов покинул Францию, он с горечью сказал:
- Теперь здесь я уже совсем один остася.

Получив коллективную открытку из Лиссабона от Алдановых и тогда близких ему Цетлиных, которые застряли в Португалии по пути в Америку, он был подлинно растроган:

— Сегодня у меня хороший день. Двадцать лет вместе прожили и вдруг все рухнуло, все теперь разъединены. А они снова вместе и не забывают меня-старика.

Между тем по отношению к группе символистов он всегда крайне пристрастен и проникнут — казалось бы, уже несвоевременным — полемическим задором. Старинные битвы не забыты. Кажется, еще больше старается делать вид, что не выносит творчество Блока, чем оно ему на самом деле чуждо. О Блоке он составил целое "досье" с выписками из его статей, писем, дневников (значит, им по-настоящему интересовался!). В пылу спора побежит за своими выписками наверх и "убивает" оппонента цитатой. Что на них отвечать? Вырванные из контекстов записи отдельных фраз, действительно, могут казаться смехотворными, — ну что сказать по поводу выписки из блоковского дневника, сделанной в день гибели "Гитаника" — "есть еще Океан" или еще "Я, хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды и в перламутр и аметист метели"? Особенно потешало Бунина блоковское посвящение Брюсову: "Кормчему в темном плаще — путеводной зеленой Звезде". "Этот лабазник кормчий в темном плаще", — похихикивал Бунин.

Не раз он мне говорил:

— Почему вы делаете такую кислую гримасу, когда я упоминаю Васнецова и трясетесь от восторга от "Куликова поля" с его лебедями над Непрядвой? Ведь это из одной и той же оперы.

Иногда он начинает распевать на мотив шансонетки какиенибудь строки из "Двенадцати", ворча "какая пошлость" и уверяя, что частушечный лад поэмы — грубая подделка, дешевое желание подладиться под непритязательного читателя. Особенно его раздражало вставленное Блоком в поэму словцо "елекстрический" — ("Елекстрический фонарик/ На оглобельках...") и

он утверждал, что никакой Петруха такого словечка и произнести не смог бы. "Все подделка". Нелюбовь его к Блоку переносится даже на физический облик поэта.

- Я вам нашел его портрет и подарю. Лежа у себя, вы сможете любоваться его отвислой, дегенеративной губой...

Еще больше раздражения вызывает в Бунине упоминание имени Андрея Белого. Он признавал его обаяние, но вопил, что Белый — "полубес, полушут", шпынял меня им, зная, что когда-то с Белым у меня были дружественные отношения, а потом снова раздражался, вспоминая о том его портрете, который нарисовал Белый в своих воспоминаниях.

— "Серебряный голубь" — сплошная безвкусица, сплошная претенциозность. Это мир восковых кукол, делающих чёрт знает что. А в "Петербурге" я наткнулся на фразу: "Аблеуховы все попукивали и попукивали...". Дальше я читать не стал, я слишком от природы брезглив. Кажется, этот кирпич я просто сжег. Да и какая идея у книги гнусная "Быть Петербургу пусту"... чем же Петербург ему не угодил?

*

— Вы и Ходасевича в Пушкины возвели. "Гнилой рябчик", как он сам о себе очень метко выразился. Написал несколько очень аккуратных стихотворений — даже умных, не спорю. Но со своим маленьким чемоданчиком прошествовал по жизни с таким видом, точно у него горы багажа. И это на многих действовало.

Вот незадолго до его смерти я прочитал его воспоминания о Горьком и подумал — "Гьфу, до чего хорошо, как дельно и умно, пожалуй, лучше и не скажешь. Только, может быть, не ему следовало эти воспоминания писать".

*

Бунин до "Лолиты" не дожил, но уже в те годы — еще не зная, что Набоков впоследствии в "Дальних берегах" проснобирует приглашение вместе поужинать в каком-то элегантном парижском ресторане, с большим сочувствием отзывался о

первых вещах молодого писателя, появившихся под псевдонимом "Сирин":

— О, это писатель, который все время набирает высоту и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это — рыжий в цирке. А я, грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов.

*

Перелистывая какую-то устаревшую антологию, он наткулся на державинское "Видение мурзы", которое очевидно выветрилось из его памяти. Восторгу его не было конца. В течение долгих недель он то и дело повторял:

"Нет, подумайте, что этот татарин сочинил — "палевый луч луны", точнее не придумаешь. Как он мог это найти!".

Неоднократно вечером он звал меня к себе, подводил к одному из своих окон и улыбаясь говорил: "Поглядите на палевый луч луны", а вместо обычного приветствия каждого гостя встречал Державиным и декламировал: "На темно-голубом эфире/Златая плавала луна...". Гость становился близким другом, если он мог продолжить державинский текст!

*

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать. "Ведь это профессиональная деформация", — добавил он улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати. — Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками ни случилось, полный их текст никогда не увидит света".

А затем он стал говорить об "Исповеди" Руссо, о дневниках — "официальных" и тайных Толстого, уверяя, что высказываться до конца уместно только с целью покаяния. "А вы в

состоянии представить меня в роли кающегося грешника?" Потом вспомнил слова блаженного Августина и уже другим голосом произнес — "Господи, пошли мне целомудрие, только не сейчас..."

— Эта фраза, — продолжал Бунин, — меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна. Да ведь и я готов молить Бога о "целомудрии", в более глубоком смысле, чем обычно придают этому понятию, только, чтобы оно было мне ниспослано не сейчас, не сразу, а потом, когда-нибудь...

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. "Я умею только выдумывать", утверждал он и вслед за этим перепрыгнул на Мережковских, иронизируя над ними (это всегда доставляло ему большое удовольствие):

— Вот помрет Зинаида Николаевна и, если тогда еще будет существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них вдоволь будет рассуждений о всяких встречах и беседах — непременно на "серьёзные" — темы, при том все будет описываться с ехидством, с подковыркой. Пророчества она любит изрекать "постфактум", да еще серийно. Она сушит затем чернила на свече, чтобы все записи выглядели одинаково, якобы были сделаны в одно время. Ведь почерк у нее знаменитый, за семьдесят лет ни малейшего изменения, никто никогда не разберет, что и когда написано.

Я почти дословно переписываю запись, сделанную мной в ноябре 41-го года:

"После долгих разговоров о смерти, теме, к которой он то и дело возвращался с содроганием и отталкиванием, непрестанно о ней думая и начисто отрицая возможность загробной жизни, он поднялся к себе и позвал меня. Всегда гордившийся холеностью своего тела, он теперь был чем-то явно огорчен. "До чего прекрасная была у меня когда-то правая рука, сказал он, левая та никогда не была хороша — и что теперь с ней стало, покрылась гречкой, стала дряблой. Проклятая старость..."

В этот момент я заметил на его письменном столе большой

конверт, на котором стояло одно лишь слово "Сжечь". Я невольно улыбнулся, потому что подумал, что он, как водится, хочет сжечь свои черновики и кому-то это дело поручить.

— Вы напрасно улыбаетесь, — промолвил он, — я хочу, чтобы меня после смерти сожгли.

Однако, вскоре под влиянием Веры Николаевны он этот конверт уничтожил.

А. Бахрах

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ А. А. ВЫРУБОВОИ

Годы 1913 — 1914

Волнения на Балканах начались в 1912 году. Эта часть света прославилась как наиболее беспокойная в Европе. Многие предвидели в 1912 году, что огонь, уже готовый охватить Европу, вспыхнет именно здесь. Те русские дипломаты, которые были под влиянием англичан и французов, делали всё возможное, чтобы вовлечь Россию в балканскую авантюру. Великий Князь Николай Николаевич и Черногорская Великая Княгиня пытались воздействовать на общественное мнение и повернуть его в пользу войны. Моя мать, на одном из приемов у Великой Княгини Анастасии, слышала ее слова: "C'est si beaux, la guerre!" ("Война — это так красиво".)

В действительности же, даже в на чале 1914 года, никто в России серьезно не допускал мысли о возможности войны. Царская семья — и я была с ними — провела весну этого года в Крыму. Как бывало и раньше, мы играли в теннис и другие игры и предпринимали далекие прогулки в горы. Этой весной было еще одно увлечение — автомобиль. Государь приобрел быстро-

Мы печатаем окончание неопубликованных воспоминаний А.А. Выру-бовой. Начало см. кн. "Н.Ж." 130. Эти воспоминания были написаны по-англий-ски, перевод сделан К.Г. Линтваревой. Право печатания этих воспоминаний по-английски и на всех других языках, а также право перепечатки настоящего русского текста принадлежит исключительно Т.И. Танеевой, с любезного разреше-ния которой мы и печатаем этот русский перевод. Считая эти воспоминания документом исторической ценности мы печатаем их без сокращений, изменений и примечаний. РЕД.

Copyright by T. Taneyew, New York. 1978.

ходный автомобиль, которым управлял шофер-француз. С сердцем в пятках от страха я сидела позади Государя, когда автомобиль с бешеной скоростью летел по горным дорогам. Быстрая езда была страстью царя.

Во время одной из таких поездок Государь побывал в имении Фальц-Фейна, в заповеднике с массой птиц и зверей, и даже стадами зебр, на воле.

Государь любил бывать еще в Козьмодемьянске, где у него, высоко в горах, был охотничий домик. Здесь тоже был заповедник, и это обеспечивало Государю хорошую охоту на лосей. В Козьмодемьянск Государь ездил обычно в сопровождении двух старших дочерей.

Неподалеку от охотничьего домика был небольшой монастырь; на его подворье был источник, названный источником Святого Николая; местное русское и татарское население верило в целительную силу его холодной воды. Император и дети, как и надлежит паломникам, однажды окунулись в его воды.

Государыня основала несколько лечебниц для больных туберкулезом, средства на содержание которых пополнялись организуемыми ею базарами. Императрица и дети давали для продажи на этих базарах свои вышивки, по ими же изготовленным узорам, а брат Императрицы, герцог Эрнст Гессен-Дармштадский, не раз присылал из Германии разного размера и цвета бисерины и шарики, пригодные для всяких украшений; из них царская семья низала прелестные бусы.

Такие базары бывали в Ялте каждый год. Масса киосков последного такого базара располагалась на набережной. Царица часами простаивала за своим прилавком (а ведь она, по предписанию врачей, должна была дать слабому сердцу полный отдых!), продавая разные безделушки несметному количеству покупателей, собиравшихся для того, чтобы взглянуть на нее. В толпе покупателей были и татары — бедные и богатые, — спустившиеся со своих горных укреплений, чтобы хоть один взгляд бросить на царицу. Я видела, как тысячи рублей, размененных на копейки или бумажные знаки, переходили здесь из рук в руки. К концу базара Императрица утомленная, но

сияющая счастьем, поставила Наследника на прилавок, и он своими руками передавал покупателям брелоки и другие вещицы. Восторженная толпа приветствовала царицу и ее сына громким одобрением. Как и в предыдущие годы, для госпиталей была собрана большая сумма денег.

Для меня это лето было далеко не веселым. После многих лет дружбы я тяжело переживала недоверие к себе Императрицы. Как-то я рассказала ей об одном из офицеров "Штандарта" правду, что, я думала, было моей обязанностью. Царская семья недоумевала и даже была обижена тем, что этот молодой человек уклонялся от ежедневного участия в игре в теннис или от прогулок в горы. Его друзья знали о его сердечном увлечении где-то на стороне. Чтобы отомстить мне, этот офицер стал сеять слухи о моих любовных отношениях с Государем. Эти слухи дошли и до Государыни. Задолго до того, как чувство ревности завладело ею, я заметила ее настороженное отношение ко мне. Вспоминая обстановку тех дней, я вполне могу понять ее чувства. Императрица была прикована к постели или должна была сидеть в своем соломенном кресле; она почти не выходила. Кроме того, все ее заботы были сосредоточены на Наследнике и состоянии его здоровья. А Государь любил свежий воздух и далекие прогулки, как я уже говорила, и я часто сопровождала его.

Один из офицеров "Штандарта", играя с Государем в теннис, воспользовался случаем, чтобы сказать: "Не верьте тому, что говорят об Анне Александровне, она никогда ничего плохого не говорит о Ваших Величествах". Конечно, эти слова возымели совершенно противоположное действие. В те дни ни один офицер не имел права так говорить с царственными особами, это почти умаление достоинства Их Величеств, и офицер должен был быть наказан. Ничего подобного не случилось. Государь побледнел, но не сказал ни слова, хотя и был весьма рассержен.

Этот молодой офицер был очень влюблен в Великую Княжну Татьяну, конечно, издали — ей никогда не был бы разрешен брак вне царской семьи. Многие молодые люди были влюблены в Великую Княжну, всегда очень милую и сдержанную. Был влюблен в нее и один из адъютантов, и между нами тогда даже

возникло что-то вроде чувства ревности, так как этот адъютант мне очень нравился.

Эти события в Крыму наполняли сердце горечью и болью. Даже три года страданий при большевиках не причинили мне столько горя — большевики были мучителями, но они были чужды мне, а здесь, в Крыму, я теряла доверие моей Государыни, которой я верно служила всю жизнь. Злобность придворных усиливала мои тяжелые переживания. Часто, когда я выходила к дневнему завтраку, присутствующие делали вид, что не замечают меня, и перешептывались друг с другом. Позднее я узнала, что князь Орлов телефонировал своей жене, которая всегда мечтала приблизиться к Государыне: "Приезжай немедленно, они поссорились". В конце концов и фрейлины стали игнорировать меня окончательно.

Как раз в это время в Ялту приехала моя сестра. Она ничего не знала о происходящем. Ее сейчас же призвала к себе Государыня и рассказала, что она слышала обо мне, нарекая на мое поведение. Тогда Государыня пожаловалась на меня и моей приятельнице, баронессе Фредерикс, дочери Министра Двора. Даже дети слышали что-то обо мне, и их отношение ко мне тоже изменилось.

Я пришла к заключению, что мое пребывание в Крыму нежелательно, и решила уехать. В день, назначенный к отъезду, Государыня начала сознавать, что что-то не в порядке и взяла меня в автомобиле в свое имение, находившееся высоко в горах, над Ливадией. Мы бывало часто приезжали сюда раньше в жаркие летние дни, чтобы отдохнуть и полакомиться свежим молоком. Обе мы плакали расставаясь и в глубине души понимали, что всё происшедшее — недоразумение. Отсюда Государыня поехала в Ливадию, а я направилась по крутой горной дороге в маленькое татарское местечко — Бахчисарай, где была железнодорожная станция.

Из Крыма я поехала в Орел навестить моего брата, а дальше — в Верхотурский монастырь в Уральских горах. Мне нужны были спокойствие и отдых. На одной из первых остановок поезда мне вручили телеграмму от Императрицы. Ее Величество желала моего возвращения в ближайшее время.

Прелесть Урала описать трудно. Железнодорожное полотно проходит по чудесным местам, то здесь, то там видны из окон вагона кедровые роши.

Приехав в монастырь, я пошла к игумену Ксенофонту, бывшему монаху Валаамского монастыря в Финляндии. Он определил для моего пребывания маленький домик, выстроенный для царской семьи в надежде, что когда-нибудь они почтят монастырь своим приездом. Дом, окруженный кедрами, находился на склоне холма. С балкона открывался прекрасный вид на монастырь и Уральские горы. Дом был очень комфортабельный и хорошо обставлен. Я всё еще помню вкусную сибирскую рыбу, пироги и кедровые орешки — основное питание в этих местах.

Все монастырские здания были сооружены из камня, покрытого штукатуркой и соединялись с огромным собором, где была гробница русского святого, Симеона Верхотурского. Паломники стекались со всей Сибири в эту чудесную местность, сердце Урала. Мне предложили поехать к отцу Макарию, отшельнику, жившему в келье в двенадцати верстах от монастыря. Я охотно согласилась. Путь лежал через темный лес, пересекаемый горными ручьями.

Я чувствовала себя крайне несчастной и просила старца молиться за меня. К дверям келии я приблизилась одновременно с другими паломниками. Я помню, как я бежала впереди других, заливаясь слезами, как он положил руку на мою голову, посмотрел на меня и мягко сказал: "Ничего, ничего, всё пройдет, всё будет хорошо".

За время моего пребывания в монастыре я не раз приезжала к отшельнику. Много людей искали у него помощи и совета. И я заметила, что даже ему, не желавшему ничего для себя, завидовали. Он был простым необразованным человеком, но Бог наделил его даром понимания других и способностью утешать. Много было таких святых старцев по всей России, особенно вблизи монастырей. Интересно, что в большинстве это были выходцы из крестьянской среды, часто совсем неграмотные. Мое сердце, полное детской веры, тянулось к ним. Эти старцы много

перестрадали в свое время; их опыт во внутренней, духовной жизни значительно превосходил опыт их жизни в миру.

Из монастыря я направилась в Гобольск, где остановилась у губернатора. Позднее здесь содержалась под арестом царская семья.

Буря разразилась

Мне не довелось долго пробыть на Урале. Императрица узнала, как меня оклеветали, и в дружеском письме просила меня вернуться. Мои горести улеглись, и я поспешила домой. Помню, как старец Макарий стоял в лесу и крестным знамением благословлял меня, когда поезд дребезжал по узкой колее Уральской железной дороги, унося меня к непредвидимой судьбе.

В начале 1914 года мы еще не предвидели войны. Как всегда, весну царская семья проводила в Крыму, а на лето они вернулись в Петергоф, где я опять встретилась с Государыней. Мы, плача, обнялись, и прошлое было прощено и забыто.

Первым знаком надвигающейся грозы был приезд Пуанкаре. Это был своего рода поворотный момент; невозможно стало не замечать собиравшихся на горизонте туч. Но я была еще убеждена, что гроза минует, и это убеждение укрепилось, когда Их Величества решили отправиться на Финляндский архипелаг. Мне сообщили об этом вечером накануне отъезда, и перспектива поездки радостно взволновала меня — в памяти так свежи были воспоминания о замечательных днях, проведенных в Финляндии в прошлые годы.

Императрица говорила, что буря приближается, что будущее грозит опасностями и потому они с Государем решили сейчас же выехать в Финляндию — отдохнуть и набраться сил для предстоящей борьбы.

Никогда еще залив и острова не казались такими чудесными, как в эту последнюю нашу поездку. Мы жадно вбирали в себя это последнее финляндское лето, но оно не было долгим: Государя просили вернуться. Все мы знали, что это значит, и со слезами на глазах смотрели, как "Штандарт" взял курс на Кронштадт. Государыня буквально заливалась слезами. Гогда

она произнесла вещие слова, которые сохранятся в моей памяти так долго, как я проживу: "Я знаю, что наши чудесные дни на Финляндских островах отходят в прошлое, и мы больше никогда не вернемся сюда все вместе на нашей яхте".

Красное Село (район неподалеку от Ст.-Петербурга, где летом бывали военные лагеря) было местом великолепных парадов императорских войск. Однажды, когда я завтракала там с одним из моих друзей, вошел генерал Ностич (начальник охраны) и сказал, что, вне сомнений, война вспыхнет в ближайшее время.

Говорили, что по приказу Императора все старшие кадеты были произведены в офицеры и что все военные атташе, находящиеся в России, известили об этом по телеграфу свои правительства.

Я сейчас же вернулась в Петергоф и сообщила Императрице всё, что знала. Государыня с трудом верила вестям.

Настало ужасное время. Раньше Государь редко пользовался телефоном, теперь же телефон постоянно был занят; Государю звонили министр иностранных дел Сазонов, военный министр генерал Сухомлинов и Великий Князь Николай Николаевич. Государыня страдала ужасно; она инстинктом чувствовала, что нельзя избежать надвигавшегося, знала, что Государя толкали на этот путь. Она всеми силами противилась войне, она чувствовала, что война не несет с собой ничего хорошего для России наоборот, она легко может повести к катастрофе.

Я уже говорила, что обычно в царском семейном кругу о политике не говорили. Теперь же неизменной темой разговоров была война. Я уверена, что Государь держал в секрете от Государыни свои наиболее важные решения. В первом томе моих воспоминаний я упоминала, что Императрица ничего не знала о всеобщей мобилизации, которая ни для кого другого не была секретом. Я узнала о ней совершенно случайно. По дороге во дворец с дачи моих родителей я обратила внимание на большое скопление войск в полной экипировке; солдат сопровождали плачущие женщины. Приехав я рассказала об этом Государыне и спросила ее, что происходит. Она ничего не могла сказать об этом и пошла в кабинет к Государю, чтобы спросить его. Я

слышала их голоса, но не могла различить слов разговора. В конце концов Государыня вернулась и горестно воскликнула: "Война началась, всему пришел конец!"

Начали приходить телеграммы от Кайзера с просьбой к Государю отменить мобилизацию и встретиться для обсуждения вопроса. Государыня была одна целыми днями; слезы на ее глазах не высыхали. Государь очень нервничал и был мрачен. Однажды за чаем он сказал Государыне и мне, что Россия почти всегда выходила победительницей из войн и что войны поднимали Россию и содействовали ее сплочению. Он жил в страшном напряжении, и единственным человеком заботившимся о нем, кроме Государыни, была его сестра Великая Княгиня Ольга Александровна; она часто бывала во Дворце и как могла утешала царскую чету.

Подготовка к войне продолжалась, и стихийно продолжалась всеобщая мобилизация. Я жила тогда в Петергофе, каждый день играя в теннис с детьми. Иногда в игре принимал участие и Государь; он нервничал чрезвычайно, зная, что я вполне на стороне Государыни и что самая мысль о войне претит мне. Его отношение ко мне совершенно переменилось. Он редко разговаривал, и игра, раньше бывшая оживленной и веселой, теперь была овеяна скукой и мраком.

Вскоре германский посол, князь Пурталес, приехал с формальным объявлением войны.

Жребий был брошен. Для объявления войны Государь и Государыня должны были выехать в Ст.-Петербург, в Зимний Дворец. Залы Зимнего Дворца были полны людей; каждый, кто мог проникнуть во Дворец, пользовался этой возможностью. Многотысячная толпа собралась и вокруг Дворца. Когда Государь вышел на балкон, все, как один, опустились на колени.

Во время объявления войны все придворные собрались в Николаевской зале, где Государь должен был принять тысячи должностных лиц, министров и представителей дворянства. Государь произнес свою знаменитую речь со словами: "Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей".

Служили молебен. Пение "Гебе, Господи", отраженное стена-

ми Дворца, толпа встретила ликующими возгласами.

Государыня Александра Федоровна шла под руку с Государем; глаза ее были полны слез. Стоя в дверях Малахитовой гостиной, я дотронулась до ее руки, когда она проходила мимо, наши взгляды встретились — мы понимали друг друга. Ее слабость не была продолжительной. В течение одной ночи она переродилась, отбросив все мысли о болезни, о физических недугах. Она принялась за организацию складов белья, оборудования для госпиталей и санитарных поездов. Важно было всё это делать быстро. Государыня понимала, что тысячи тяжело раненых могут начать прибывать после первого боя. Она планировала создание густой сети госпиталей и лечебных центров от Ст.-Петербурга до Харькова и Одессы — на юге России. Трудно было представить себе, сколько было в ней силы и организаторских способностей, как она могла ради помощи другим забывать свои собственные заботы.

Государь выехал; его присутствие было необходимо при отправке на фронт эшелонов.

Но вернусь к госпиталям. Я поехала попрощаться с уезжающим на фронт братом и, простившись с ним, поспешила опять к Государыне, — ей могла быть нужна моя помощь в работе. Ко времени отъезда брата в действии было уже десять санитарных поездов, носящих имена Государыни и ее детей; около двадцати пяти госпиталей было открыто в Царском Селе, Петергофе, Павловске, Луге, Саблино и других близлежащих городах. Государыня, две ее старшие дочери и я работали как сестры милосердия под наблюдением женщины-врача Гедройц. Каждое пополудни мы изучали теорию, каждое утро мы работали в госпиталях.

Можно подумать, что наша работа была своего рода игрой. Но это далеко не так. Для примера возьму одно утро, когда я помогала Императрице и Великим Княжнам Ольге — тогда девятнадцатилетней — и Гатьяне — семнадцатилетней. Надо сказать, что к этому времени у нас за спиной было только около двух недель обучения. Мы приезжали в госпиталь к девяти часам утра и сейчас же направлялись в операционную, куда привозили раненых, разгружаемых с прибывших с фронта поездов.

Состояние этих раненых не поддается никакому описанию. На них была не одежда, а окровавленные тряпки. Они были с ног до головы покрыты грязью, многие из них уже сами не знали, живы ли они; они кричали от ужасной боли.

Мы мыли руки в дезинфекционном растворе и брались за работу. Прежде всего нужно было раздеть раненых, вернее, снять с них тряпье и грязь. Вслед за этим надо было вымыть их искалеченные тела, обмыть израненные лица, очистить глазные впадины, часто наполненные кровавым месивом. Да, мы из первых рук могли оценить новейшие способы цивилизованного ведения войны! Опытные сестры милосердия помогали нам указаниями, и очень скоро царица стала первоклассной сестрой. Я видела Императрицу всея Руси, стоявшую у операционного стола с шприцем, наполненным эфиром, подающей инструменты хирургу, помогающую при самых страшных операциях, принимающую из рук хирурга ампутированные ноги и руки, снимающую с солдат завшивленную одежду, вдыхающую всё зловоние и созерцающую весь ужас лазарета во время войны, по сравнению с которым обычный госпиталь кажется мирным и тихим убежищем. С тех пор мне довелось видеть много горя, я провела три года в большевицкой тюрьме, но всё было ничто по сравнению с ужасами военного госпиталя.

Императрица сказала мне однажды, что единственный раз в жизни она испытала подлинное чувство гордости — это было, когда она получила диплом сестры милосердия. Великие Княжны Ольга и Татьяна и я — мы тоже успешно выдержали экзамены.

В лазаретах раненых старались развлекать; для них устраивали разного рода игры, забавы, концерты. В Царском Селе эта деятельность была в ведении Императрицы. Часто посещал госпитали со своими двумя младшими сестрами и маленький Наследник. Лазареты называли их именами, но сами они еще не были достаточно велики для работы в них. Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны знали всех раненых и всегда старались развлечь их. Я не одобряла обращения раненых офицеров с Великими Княжнами; они часто подзывали их к себе и просили присесть на койку и поговорить с ними. Часто вече-

рами Великие Княжны приносили в госпиталь свое вышиванье. Боюсь, что им довелось услышать немало сомнительных историй из уст этих офицеров.

Императрица была врожденной сестрой милосердия. Ухаживая за больными, она как бы насыщала всю окружающую атмосферу своей нежностью и силой духа, инстинктивно все обращали к ней свои взоры. Даже до войны она всегда была там, где была болезнь и где могла быть нужна ее помошь. Когла Государь заболел тифом — это было в Ливадии, в начале парствования -- Государыня как раз ждала младенца, но, несмотря на свое положение, она ухаживала за больным мужем днем и ночью, не оставляя его ни на минуту на слуг или даже на врача. В 1907 году Анастасия заболела дифтеритом. Отослав всю семью в Петергоф, Императрица сама выходила больную дочь. На протяжении всего месяца болезни Анастасии она никого не подпускала к себе, только вечерами Государыня выходила в парк, далеко от Дворца, для прогулки с Государем; она опасалась, что он может перенести инфекцию на других детей. Так же точно она ухаживала за Наследником с первых дней его жизни, никогда не спуская с него глаз, а когда его здоровье ухудшалось, она ночи напролет просиживала над его кроваткой.

Приблизительно в то же время я попала в железнодорожную катастрофу, в которой чуть не погибла. Вследствие этого я в течение нескольких месяцев была оторвана от всего происходящего — и на фронте военных действий и от всё разрастающейся конспирации вокруг царственных особ.

После пяти часов пополудни 2-го января 1915 года я села в поезд, направляющийся из Царского Села в Ст.-Петербург с намерением навестить родителей. Со мной в вагоне была г-жа Шифф, сестра одного из офицеров кирасирского полка. Разговор шел на обычные связанные с путешествиями темы, когда вдруг, совершенно неожиданно, мы почувствовали страшный толчок и услышали оглушительный треск. Меня с огромной силой бросило вперед, головой о потолок вагона, ноги же мои, как в тисках, оказались зажаты трубами парового отопления. Вагон накренился и распался надвое, как яичная скорлупа. Я почувствовала страшную боль в левой ноге. Боль была настолько сильна,

что я моментально потеряла сознание. Обморочное состояние прошло скоро. Но всё мое тело было сковано обломками дерева и железа, большой стальной болт давил мое лицо, рот был полон крови, я не могла произнести ни звука. В этом ужасном положении я могла только молить Бога послать мне скорую смерть. Трудно было представить себе, что человеческое существо может вынести такие страдания и продолжать жить.

Мне казалось, что бесконечно много времени прошло, когда вдруг я перестала чувствовать тяжесть на лице и услышала ласковий голос: "А здесь кто лежит?" Мне удалось прошептать свое имя, вызвавшее возгласы удивления и ужаса, и спасательная бригада стала освобождать мое измученное болью тело из-под частей разбитого вагона. Поддев ремни под мои руки, острожно и мягко меня удалось поднять и положить на ровную землю. Я узнала одного из спасавших меня — это был казак из специальной императорской охраны, прекрасный человек по имени Лихачев; другой был солдат железнодорожного батальона. Здесь я опять потеряла сознание. Сорвав двери вагона, мои спасатели уложили меня на них и понесли в ближайшую избу, уже полную раненых и умирающих. Придя в себя, я шепотом просила Лихачева протелефонировать моим родителям в Петербург и Их Величествам во Дворец. Милый человек сейчас же выполнил мою просьбу. Он же привел ко мне хирурга, вызванного на место катастрофы, который наскоро осмотрел меня и сказал: "Не беспокойте ее, она умирает". С этими словами он пошел к другим, менее безнадежным раненым. Но верные солдаты остались при мне. Став на колени, они старались распрямить мои раздавленные и поломанные ноги и спину и вытирали кровь, выступавшую на губах. Около двух часов прошло, пока прибыл другой врач, на этот раз это была доктор Гедройц, под руководством которой Императрица, ее дочери и я проходили курс сестер милосердия. Я с ужасом смотрела на эту женщину, зная, что ее чувства по отношению ко мне были далеко не дружескими. Поверхностно осмотрев мою раненую голову, она небрежно сказала что-то о безнадежности положения и отошла, ничего не сделав для облегчения страданий.

Через четыре часа после крушения, около десяти часов

вечера, мне была оказана первая помощь. Из Дворца приехал генерал Расин с распоряжением Их Величеств сделать для меня всё возможное. По его приказу, меня опять уложили на носилки и перенесли в санитарный вагон, наскоро сооруженный из товарного. К этому времени из Ст.-Петербурга подоспели мои бедные родители. Помню только, как они плакали и блаженное чувство, испытанное мною, когда в мой пересохший рот влили ложку бренди.

В конце пути, в Царском Селе, я, как сквозь туман, увилела Императрицу и четырех Великих Княжен — они встретить поезд. На их лицах можно было прочесть глубокое сочувствие и горе. Когда они склонились надо мной, я нашла в себе силы прошептать: "Я умираю". Я верила этому — так сказали врачи, и об этом же говорила страшная боль. Ужасным испытанием было перемещение из вагона в карету скорой помощи. Сквозь помутненное сознание я знала, что моя голова лежит на коленях Государыни; как сквозь сон я слышала, как она просила меня быть мужественной. После этого наступила тьма. Я очнулась в кровати, уже не чувствуя боли. Государыня, дежурившая возле меня вместе с моими родителями, спросила, хочу ли я видеть Государя. Конечно, я сказала, что хочу. Когда он вошел и протянул мне руку, я сжала ее. Доктор Гедройц, в ведении которой была моя палата, попросила всех удалиться: она была уверена, что я не доживу до утра. "Положение так безнадежно? спросил Император, — но у нее есть еще сила в руках".

Позднее, когда я открыла глаза — точно не знаю, когда это было, — я увидела у моего изголовья высокую мрачную фигуру Распутина. Он пристально посмотрел на меня и сказал спокойным голосом: "Жить она будет, только останется калекой". Это предсказание полностью осуществилось: до сегодняшнего дня я могу ходить только медленно и то опираясь на палку.

На следующее утро меня оперировали, и дальнейшие шесть недель были сплошной болью, причем левая нога с двумя поломами мучила меня даже меньше, чем спина и правая нога, вывихнутая и вся в порезах. Раны на голове тоже были очень болезненны, и даже началось воспаление мозга. Мои родители, Императрица и дети навещали меня ежедневно, но, несмотря на

это, невнимание и недоброе отношение доктора Гедройц продолжали давать себя знать. Предложение Императрицы вызвать для консультации ее доверенного врача, доктора Федорова, эта женщина сейчас же отклонила. (Сейчас могу о ней сказать, что она в фаворе у большевиков, к которым она примкнула осенью 1917 года.) Я была на попечении совершенно неопытных сестер и не знаю, какая судьба постигла бы меня, если бы моя мать не настояла на том, чтобы сиделка, с давних времен помогавшая нам дома, была постоянно при мне. Это несколько улучшило положение, и как я была счастлива, когда по истечении шести недель, против воли доктора Гедройц, мне удалось выйти из этого отвратительного госпиталя и родители взяли меня домой. Там, в мире и уюте своей спальни, я впервые после катастрофы спокойно заснула освежающим сном.

Железнодорожная компания выплатила мне за увечье 80 тысяч рублей. В те дни это была очень крупная сумма, и я могла основать на нее дом для солдат-калек, которые не могли оставаться в обычном лазарете и которые были бы слишком большой обузой для своих и без того бедных семейств. Этих инвалидов — их было в доме около ста — обучали разным профессиям: ткацкой, вязальной, столярной и др.; слепых учили плести корзины и пр. Когда кончалось обучение, они получали комплект инструментов и определенное количество материала для работы, и с этим их отпускали домой. Эти солдаты были трогательно благодарны мне, и позднее, когда я была в тюрьме, сначала у Временного правительства, а потом у большевиков, они присылали делегации с просьбой улучшить условия моего содержания. Несколько раз угрозой убить моих тюремшиков они спасали мою жизнь.

Великие Княжны были очень привязаны к раненым. Часто в послеполуденные часы они вместе с Императором навещали раненых офицеров. Совершенно естественно, что между молоденькими Великими Княжнами и офицерами возникали флирты; понятно, что эти прелестные молодые девицы не могли не пробудить у страдальцев живого чувства благодарности и симпатии. Особенно добры к раненым были Ольга и Татьяна;

они дарили подопечным свои фотографии, цветы и фрукты, делая всё возможное для облегчения их мучений.

Когда Император принял верховное командование и ставка была перенесена в Могилев, мы несколько раз ездили навестить его. Во время одного из таких посещений несколько раненых офицеров, знакомые Великих Княжен, вдруг появились на платформе возле нашего поезда. Княжны были в восторге и просили Государя пригласить их к обеду в поезд. Однако Государь разгневался и хотел знать, кто разрешил этим офицерам, которые должны были быть где-то в совершенно другом месте, приехать в Могилев.

В Ставке Наследник и Государь спали на поставленных рядом походных койках. В течение дня Государь не раз выходил для прогулки — пешком или верхом — в сопровождении своих штабных офицеров. Императрица и дети или отправлялись с ними или же грелись на песчаном берегу Днепра.

С первых же дней войны Императрицу преследовали. Ее называли немкой, так же как в свое время Марию-Антуанетту называли австриячкой. Распространялись слухи, что симпатии Государыни на стороне немцев и что она действует в интересах их победы. В действительности же Государыня никогда не симпатизировала своему кузену, императору Германии. Никогда я не слышала, чтобы она с восхищением упоминала о нем. Кроме того, как я уже говорила, Императрица росла и воспитывалась в Англии. Во время войны Государыня не переписывалась ни с кем из своих немецких родственников, за исключением одног или двух писем, полученных ею от брата через Швецию. Но и в этих письмах вопросы политики совершенно не затрагивались. Письма эти были вызваны слухами, что немецкие пленные в России содержатся в плохих условиях. Брат Императрицы писал ей, как он поражен, что она, будучи немкой, может не заботиться о немецких военнопленных, находящихся в России. Я помню, как Императрица горько плакала, читая это письмо. Как могла она вмешиваться в дела военнопленных, говорила она, когда ей самой всё время ставили на вил ее немецкое происхождение. Помню, что газета "Новое время" писала об организованном Государыней комитете для наблюдения за условиями содержания русских пленных в Германии так, будто задачей комитета было наблюдение за содержанием немецких, а не русских военнопленных. Государыня просила Государя дать официальное разъяснение об условиях содержания пленных в России и через американцев переслать это разъяснение в Германию. В действительности было установлено противоположное: в плохих условиях содержались русские пленные в Германии; стало известно, что четыре тысячи русских пленных умерли от кори в Касселе.

Однажды Их Величества приняли приглашение Великого Князя Павла и его супруги на чашку чая. Великий Князь проживал в Царском Селе. Я была включена в приглашение. Великая Княгиня с супругом как раз вернулись из Киева, куда ездили навестить Императрицу-мать. Перед чаем Великая Княгиня рассказала мне об ужасных слухах, циркулировавших в Киеве об Императрице; она говорила также о тяжелом положении всей страны. О подобных же слухах говорил мне и священник при Главной Квартире Шавельский, да и многие другие. Говорили, что интриги в армии разжигались городскими и местными земскими организациями под предводительством члена Думы Гучкова.

Голько во время одной из наших поездок в Могилев я полностью осознала, как широко разрослись заговоры и интриги против царя и царицы.

Население деревень стояло в стороне от всего этого и чрезвычайно сердечно встречало Императора и Императрицу. Встречая царя и царицу во время их прогулок, крестьяне часто падали на колени, протягивая своих маленьких детей царской чете и просили Государя улыбнуться им. Они очень радовались возможности хоть один взгляд бросить ца Императрицу, всегда такую добрую к ним.

Так же тепло встретил Императрицу Новгород, когда она приехала туда месяца за два до революции. Я была свидетельницей того, как народ смотрел на Государыню в соборе и в монастырях и как все старались вызвать улыбку на ее лице. Императрица утопала в подарках — это были кустарные изделия, сувениры и пр. В одном из монастырей Государыня

навестила старую женщину, много лет закованную в тяжелых железных цепях. Религиозные люди иногда пытались достигнуть святости самоистязанием и умерщвлением плоти, к таким людям относилась и эта старая женщина. Когда Императрица приблизилась к ней, старуха воскликнула: "Вот идет мученица Императрица Александра".

Очагами интриг были Двор и Дума, население стояло в стороне от них, во всяком случае это можно сказать о большинстве населения. Я часто сопровождала Императрицу в ее поездках по России — обычно целью таких поездок была инспекция госпиталей — и везде, не только в уже упомянутых мною местах, а везде, где мы бывали, население по отношению к Государыне проявляло чувства симпатии и преданности. Помню, как в Харькове масса студентов вышла встречать Императрицу неся ее портрет и горящие факелы; студенты выпрягли лошадей и сами везли карету Государыни по городу. Приезжая в город, Императрица прежде всего интересовалась, где находятся раненые, и делала всё возможное, чтобы самой побывать во всех госпиталях. Часто между администраторами возникали ссоры, так как каждый хотел, чтобы Государыня посетила именно вверенный ему лазарет.

В одну из поездок мы были в трех городах: Орле, Курске и Харькове. Ездили мы специальным поездом; поезд шел мягко и быстро, и Государыне часто удавалось прилечь между двумя остановками. Обычно Государыня хорошо переносила утомительные поездки и, казалось, недуги прошлых лет, которые заставляли ее проводить почти всё время в постели, отошли в прошлое. Однажды мы приехали в небольшой город — Тулу. Единственным способом передвижения по городу оказался экипаж, принадлежавший епископу; на весь город не было ни одного автомобиля. Мы поехали в собор, где архиепископ благословил Государыню и передал ей от имени прихожан большую икону. Государыня доверила ее мне. При выходе из храма нахлынувшая толпа разъединила нас. Спускаясь вниз по ступеням, я упала и выронила образ. С большим трудом мне удалось добраться до экипажа Государыни. Сопровождавшим Императрицу нелегко было уговорить людей разойтись и дать

нам возможность проехать. Восторженная толпа буквально теряла голову. И это всё было за год до революции.

Однажды Государыня пожелала остановиться на маленькой грязной станции, в нескольних вестах от которой был монастырь. Начальник станции бросился искать экипаж, который мог бы отвезти нас туда. Когда стало известно о прибытии Государыни, в монастыре поднялась невероятная суматоха.

Поездки с Государем носили гораздо более официальный характер. Всё обычно бывало заранее старательно организовано, и каждая остановка поезда была определена. Но случилось так, что население поселка вблизи небольшой железнодорожной станции каким-то образом узнало, что царский поезд пройдет мимо, и на платформе собралась огромная толпа; люди взобрались даже на крыши окружающих домов и на деревья. По расписанию поезд должен был миновать эту станцию, но почему-то остановился. Шторы на окнах царского вагона были уже закрыты — был вечер. Государыня раздвинула занавески и появилась в окне. Толпа приветствовала ее пением национального гимна. Императрице не удалось уговорить Его Величество подойти к окну; он отказался, ссылаясь на то, что эта станция не была включена в программу остановок. Поезд отошел от станции под бурю приветственных возгласов. Это было за год до революции. Помню, как я жалела тогда, что Государь не вышел к толпе. Вспоминая об этом позднее, я думала: быть может, он понимал, как мало заслуживает доверия ликующая толпа, психология которой меняется мгновение.

Нападки на Императрицу продолжались. Все знают силу скандала. Грязью забрасывают даже наиболее высоко стоящих. От скандала не может укрыться никто. Я не буду испытывать терпения читателя описанием необоснованных обвинений по адресу Государыни и всех рассказов о ее интригах на стороне Германии и ее отношениях с Распутиным. Об этом я говорила в своей книге воспоминаний.

Россия была полна немецких агентов. Они работали на заводах, они ходили по улицам, они стояли в очередях за хлебом, они были везде. Начали шириться слухи, что царь, под

влиянием Императрицы и Распутина, был готов заключить сепаратный мир с Германией. Эти слухи о готовящемся мире с Германией дошли и до Британского посольства. А ведь Париж был спасен только благодаря помощи России и так называемая победа на Марне стала возможной только благодаря неожиданному продвижению русских войск на восточном фронте. Сотни тысяч русских жизней косвенно, но были отданы за спасение Парижа и Франции.

Все скандальные слухи, касающиеся царской семь: и предполагаемого мира с Германией, контрабандой старательно проносили в союзные посольства. Хотя большинство послов и не придавало этим слухам значения, но известно, что сэр Джордж Бьюкенен, английский посол, стал их жертвой. Ни он, ни его семья, вероятно, никогда не были расположены к Императрице. Сэр Джордж Бьюкенен полагал, что революционеры могут помочь благополучному окончанию войны, и это убеждение было причиной его контактов с революционными партиями.

Убийство Распутина было искрой, от которой вспыхнуло пламя революции. Распутин был убит 16 декабря 1916 года. Его убили Феликс Юсупов и Великий Князь Дмитрий Павлович. Многие думали, что эти люди спасли Россию. Однако началась революция, и события февраля 1917 года повергли Россию в хаос. Отречение Государя от престола было совершенно ненужным. Восстание в Петербурге могло быть легко подавлено, но на Государя было оказано такое давление, что он мог только желать отойти в сторону. Ему говорили, что если он не отречется, его семья будет убита (он мне сказал об этом после отречения). "Куда только я ни посмотрю, — говорил он, — всюду вижу предательство". Особенно больно поразила его телеграмма Великого Князя Николая Николаевича; Великий Князь коленопреклоненно просил Госудрая отречься.

В течение некоторого времени еще перед революцией Государыню бойкотировали. Генерал Алексеев, начальник штаба Ставки, который предал армию, став первым после революции главнокомандующим, отклонил в Могилеве приглашение Императрицы к завтраку, сославшись на состояние здоровья.

Однажды — как раз перед обедом в поезде — мне сказали, что генерал Иванов, бывший главнокомандующий одним из фронтов, хочет говорить со мной. Сидя в моем маленьком купе, старый генерал со слезами на глазах сказал мне, что последнее время Государь совершенно игнорирует его, никогда не обращаясь к нему за завтраком. Генерал говорил, что понимает мою любовь и верность Государыне и что сам он живет всё последнее время в ужасном напряжении. Недавно он получил телеграмму, сообщающую о его отставке. В Главной квартире генерал Алексеев встретил его словами: "Императрица, Распутин и Вырубова отставили вас от должности". Генерал Иванов ответил: "Имя Императрицы для меня свято, других, названных вами, я не знаю. Позвольте мне заявить, что я не верю вам, генерал". Генерал Алексеев вышел из себя и воскликнул: "Действительно? Вы убедитесь в правдивости моих слов".

Верятно, генерал Алексеев передал что-то Государю, потому что с тех пор отношение Государя к генералу Иванову совершенно изменилось.

Я сообщила Государыне о посещении генерала Иванова. Как всегда, Император пришел к обеду с Наследником. Их Величества обедали наедине. После обеда Государь удалился не попрощавшись со мной; вскоре мы уехали в Царское Село. Естественно в этой обстановке взаимного непонимания и вероломства я чувствовала себя несчастной и глубоко подавленной. Через несколько дней я получила от Государя из Главной квартиры записку, написанную по-английски: "Я говорил с вашим генералом Ивановым".

Через месяц разразилась революция, и генерал Иванов с Георгиевским батальоном бросился на защиту Императора. В последний раз, когда я видела Государя после его отречения, он говорил о вероломстве Генерального штаба и особенно генерала Алексеева, которого он глубоко уважал и которому доверял. О грязном предательстве Алексеева и других генералов он вспоминал с большой горечью.

Рождество 1916 года во Дворце было овеяно мраком, главным образом в связи с убийством Распутина. Доверие Императора и Императрицы к членам парской семьи так же, как

и ко всем другим, кто имел отношение к убийству, было подорвано. Все члены императорской семьи обратились к Государю с письмом, в котором настаивали, чтобы Великий Князь Дмитрий Павлович и князь Феликс Юсупов не были покараны за убийство. Единственной реакцией Государя были слова, написанные им на полях письма: "Никто не имеет права убивать".

Когда теперь моя память возвращается к тем дням, мне кажется, что двор и общество были тогда одним силошным сумасшедшим домом, всё было так странно и дико. Только здравый рассудок и беспристрастность историков, которым будет открыт доступ к фактам, смогут осветить предательство, фальшь, ложь и интриги, приведшие в конце концов в падению русского трона.

Скоро после Рождества Государь заболел инфлюэнцей. Впервые за двенадцать лет, проведенных при Дворе, я видела его больным. В халате он приходил в комнату Императрицы. Помню, что именно тогда мне удалось привлечь его внимание к скандальным нападкам на Императрицу. Посмотрев на меня усталыми глазами, Государь сказал: "Ни один порядочный человек не может верить всему этому. Злословие такого рода может обернуться только против тех, кто начал его". Государь не мог представить себе всей силы этой клеветы.

В тот же вечер Император рассказал, как на требование о реформах во внутренней жизни государства он ответил, что думать о каких бы то ни было впутренних переменах можно только после победы над врагом.

Николий II не представлял себе ни размеров, до каких розрослась клевета на Императрицу, ни того, что корни ее были так близки к Трону. Первым сиплетельством этого было письмо княгиии Юсуповой, матери Феликса Юсупова, убившего Распутина, с требованием об аресте Императрицы и высылке ее в Сибирь. Государь принес это письмо Государыне, с иронией в голосе прочитал его и сказал, что единственным ответом может быть полное игпорирование его. Он хорошо знал, что почти все члены царской семьи, за пеключением Императрицы и детей, вражлебны ему и делают всё для его свержения и замены его —

его кузеном Кириллом Владимировичем. Но ни сам Государь, ни Государыня не придавали серьезного значения этим семейным интригам, они верили, что верность народа и армии достаточная гарантия устойчивости Трона.

Воспоминания о царской семье

Прежде чем начать говорить о каждом в отдельности члене русской царской семьи следует уделить несколько страниц тем причинам, которые повели к трагическому концу. Слишком часто вся вина за русскую революцию возлагается на плечи Николая II или его супруги и совершенно игнорируются основания, лежащие в более отдаленных днях русской истории. Современные социологические изыскания показывают, что источник политических переворотов может находиться вне пределов страны или же политические перевороты поддерживают интернационалистические группы в самой стране, группы, приносящие жизнь нации в жертву своим идеалам.

Такой обзор не является моей целью. Но каждому непредубежденном уму должно быть ясно, что общее положение страны, в которой происходит социальная революция, не столько дает основания для этой революции, сколько свидетельствует об отсутствии иммунитета к ней.

Поэтому перед тем, как говорить о лицах, которыми воспользовались для нанесения окончательного удара, нельзя не упомянуть об условиях, существовавших в России в то время, когда произошла революция, и послуживших плодотворной почвой для разжигания революционных настроений.

Первая попытка создать парламентарную систему управления в России была сделана в 1905 году. До 1905 года русская Империя жила в условиях весьма отличных от условий в других странах. Получив общие указания для работы, управление государством не было ограничено сроками их выполнения. Зарождение, обсуждение и выполнение планов протекало в спокойной обстановке государственных учреждений, и эти планы осуществлялись на практике по указаниям того же учреждения. Население могло жить спокойно, зная, что в соответствующее время всё необходимое будет сделано.

Но уже во второй половине 19-го века начали проявлять себя оппозиционные тенденции, зародившиеся в среде интеллигенции. Каковы корни интеллигенции, из кого она состояла? Появилась она еще во времена Петра Великого. Как известно, Великий Реформатор понимал, что Россию можно вывести из состояния отсталости (по сравнению с другими странами) только совершенно изменив аппарат ее управления. Поставив это своей целью, он обратился к наиболее просвещенным и способным элементам населения, заставив их отойти от жизни в деревенской глуши и взять на себя обязанности гражданской и военной службы. Император давал им назначения для работы в городах и посылал учиться заграницей.

Петр Великий умел держать страну в своей железной руке; все избранные им люди должны были служить государству. Но он умер не оставив закона о наследовании Трона. Длительный период после его смерти управление страной находилось в руках женщин (Екатерина I, Императрицы — Анна, Елизавета и Екатерина II). Всё это время потомки тех, кого Петр Великий привлек к работе для государства, продолжали жить в городах, но они уже не чувствовали железной руки Петра, принуждавшего их работать на пользу государства. Да и доходы, получаемые от имений, не делали эту деятельность насущно необходимой. Постепенно ослабели их контакты с массой населения; они теряли представление о нуждах страны и самого госуларства. В то же время у них завязывались более тесные связи с заграницей, главным образом культурные связи, а знакомство с иноземной художественной и политической литературой прививало им взагляды и убеждения, совершенно чуждые русской действительности.

В начале XX века к интеллигенции можно было причислить представителей различных слоев населения — и великих князей, и дворян, и педагогов, и людей науки, и мелких служащих, и адвокатов, и артистов, и студентов и т. д. Всех этих людей объединяло критическое отношение к государству и к его аппарату.

В 1905 году Дума объединила все критически настроенные элементы. Дума не была добровольным даром государства; ее

создание было уступкой требованиям революционно настроенных слоев общества. Дума не была почвой для сотрудничества с государством, она была полем деятельности критически по отношению к государству настроенных слоев населения и давала им возможность революционных действий (результатом последних можно считать так называемое "Выборгское воззвание").

Все эти нововведения были по сути своей неправильны. Несмотря на многие ошибки Имперской державы (а существует ли государство живущее без ошибок?), статистические данные свидетельствуют о замечательном прогрессе за последние десятилетия существования России во всех отраслях культуры и цивилизации.

Но безответственных критиков Российского государства не заставила смолкнуть даже война. А казалось бы, что в этот критический момент все различия во взглядах должны были быть забыты.

В те дни все силы российского государства были направлены на преодоление трудностей, связанных с войной. Ни одна из воюющих стран не могла предвидеть, как долго продлятся военные действия. Россия была индустриально менее развита, чем ее западные союзники, что сильно осложняло и снабжение и возможности вооружения.

Но, как я уже говорила раньше, русская революция была предрешена. Благодарной почвой для нее был раздор между государством и общественным мнением (возглавляемым Думой). Последней предпосылкой могло быть только крушение основы российской Империи, представленной в данном случае ее Монархом.

Я еще буду говорить о личности царя, каким я имела возможность узнать его в течение двенадцати лет жизни вблизи его семьи. В данном случае могу сказать только, что его способности, очевидно, были не на уровне выдающегося правителя. Но это еще не могло быть достаточным основанием для его свержения. Был нужен другой "козел отпущения", и он был найден; им оказался тобольский крестьянин Григорий Ефимович Распутин.

В этих воспоминаниях я не хотела упоминать имени Распутина, имени человека всем ненавистного, о котором так много говорили, писали, даже снимали кинокартины. Я считала данную тему уже лишенной интереса. Но меня упорно и настойчиво продолжают просить высказать свое мнение в целях выяснения исторической истины.

Что касается меня — могу сказать, что с мужской эротикой у меня нет никакого опыта. Много женщин и мужчин приходило к Распутину с надеждой на его помощь в их личных, любовных отношениях, считая его как бы талисманом удачи. Обычно его совет был — прекратить любовную связь. Помню молодую девушку по имени Елена, с энтузиазмом воспринимавшуюслова Распутина о религии. Но однажды он упрекнул ее в продолжении любовных отношений. Елену это рассердило, и она обратилась к епископу с жалобой, будто сам Распутин посягает на нее. Это положило начало слухам о нем и недоверию к нему со стороны духовных лиц.

В первый год пребывания в Ст.-Петербурге "чудотворца" принимали с большим интересом. Помню, однажды я была в гостях в ломе одного инженера, где он тогда жил. Старец сидел между пятью епископами — все образованные и культурные люди. Они задавали ему вопросы по Библии и хотели знать его интрепретацию глубоких мистических тем. Слова этого совершенно неграмотного человека интересовали их (четыре из посещавших его тогда епископов были впоследствии убиты; три еще живы, один из них в России. Я не хочу называть их имен). В течение двух первых лет жизни Распутина в Ст.-Петербурге многие обращались к нему с полным доверием, испрашивая его руководства в духовной жизни. Среди таких людей была и я.

Распутин был очень худ, с проницательными глазами и большой шишкой на лбу, под волосами, — молясь перед образами, он всегда ударялся головой об пол. Когда о нем начали распространять различные слухи, он собрал среди друзей деньги и поехали на год, как паломник, в Иерусалим поклониться Гробу Господню. Через много лет после этого, когда я была в Валаамском монастыре в Финляндии, я встретила там монаха, теперь уже покойного. Это был отец Михаил, духовник

монастыря. Он рассказал мне о своей встрече с Распутиным в Иерусалиме, когда старец, вместе с другими паломниками, направлялся ко Гробу Господню.

Великие Княжны симпатизировали Распутину и называли его "наш друг". Помню, как я вошла в комнату Императрицы только что узнав об убийстве Распутина. Алексей стоял у окна, с лицом спрятанным за лиловую шелковую занавеску, и плакал: "Кто поможет мне теперь, когда нашего друга убили?". Всхлипывая он повернулся к отцу со словами: "Почему вы не накажете убийц? Вы же повесили тех, кто убил Столыпина!"

Когда началась война, Император заметно охладел к Распутину. Это охлаждение началось после телеграммы Распутина Их Величествам в ответ на депешу, посланную мною, по их поручению, старцу в Сибирь с просьбой молиться об успешном завершении войны. Телеграмма Распутина гласила: "Мир любой ценой, война будет гибелью России".

Получив эту телеграмму, Император вышел из себя и порвал ее. Императрица, несмотря ни на что, продолжала почитать страца и верить в него.

Я всегда думала, что Их Величества сделали большую ошибку не изолировав Распутина в каком-нибудь монастыре, где они могли бы встречаться с ним, когда Наследнику бывала нужна его помощь. Кстати должна сказать, что он действительно мог останавливать кровоизлияние. После революции я встречалась с профессором Федоровым, лечившим Наследника. Мы говорили о случаях, в которых, по словам профессора, медицинская наука бессильна остановить внутреннее кровоизлияние. В таких случаях стоило Распутину осенить Наследника крестным знамением, как кровоизлияние останавливалось. "Нельзя не понять родителей больного мальчика", — сказал профессор Федоров.

Когда Распутин бывал в Ст.-Петербурге, он останавливался в маленьком флигеле, недалеко от Гороховой улицы. Там с утра до вечера его атаковали посетители: журналисты, бедные и больные и просто любопытные. Многие просили его посредничества в разных вопросах, с которыми они хотели обратиться к Их Величествам. Придя во Дворец, Распутин выворачивал

карманы и вытряхивал из них все эти прошения. Это, я помню, не нравилось Их Величествам, особенно Государю, который предпочитал слушать рассуждения старца на религиозные темы. За передачу прошений Распутин иногда получал плату, но он никогда не тратил эти деньги на себя, он раздавал их бедным. (Когда он был убит, у него не было ни копейки.) Как я упоминала выше, он не получал никаких денег от Их Величеств, за исключением разве что нескольких рублей на дорогу домой, в Сибирь. Позднее, особенно во время войны, все те, кто хотел бросить ком грязи в Трон, пользовались, как только могли, фигурой Распутина. Журналисты и военные приглашали его в рестораны и напаивали его допьяна или вызывали цыганский оркестр и хор в его маленькие комнаты, устраивали оргии делали всё возможное, чтобы создать скандальный шум вокруг его имени, таким образом косвенно нанося удар по Императору и Императрице. Простому неграмотному крестьянину — каким он был — нетрудно было испортить свою репутацию. Их Величества категорически отказывались верить всем скандальным наветам на Распутина. Они считали, что "он страдает за правду", как страдали святые, и что только зависть и злоба толкали людей на лжесвидетельство против него.

Как я говорила, вначале не только Их Величества, но и высокие духовные лица интересовались словами старца. Помню, как одно такое лицо говорило мне, какое впечатление произвело на всех, когда однажды Распутин, обращаясь к одному их них, совесть которого была не чиста, сказал: "Почему ты не покаешься в своем грехе?". Гот, к кому были обращены эти слова, смер гельно побледнел.

Вначале Государь и Государыня встречали Распутина у Великих Князей Петра и Николая Николаевичей. Гогда Великие Князья и их семьи считали его пророком и сидели у его ног.

Второй большой ошибкой Их Величеств было то, что Распутина почти всегда проводили во Дворец тайно, как некую контрабанду. Это было совершенно ни к чему, — во Дворце, все входы в который охранялись днем и ночью солдатами и полицией — никакие секреты невозможны. Конечно, о каждом посещении Дворца Распутиным знала вся охрана. И на

следующий день за завтраком зачастую придворные не подавали мне руку, считая меня виновницей посещения Распутина. В течение первых двух лет моих дружеских отношений с Императрицей она пыталась так же тайно, как контрабанду, проводить меня в свой кабинет через комнату для прислуги, чтобы я не встретилась с ее фрейлинами. Императрица опасалась возбудить в них чувство ревности. Мы проводили время за рукодельем или чтением, и секретность встреч только создавала почву для ненужных слухов.

То же самое происходило, когда Государыня бывала заграницей и жила со своими родственниками. Она всегда старалась встретиться со мной так, чтобы члены ее семьи не знали об этом. И так было до тех пор, пока брат Государыни, Великий Герцог Гессенский, не понял моего фальшивого положения и не пригласил меня в замок.

Их Величества были уверены, что Распутин с первого взгляда распознавал того, с кем имел дело — хороший это человек или плохой. Ничто не могло убедить их в противном. "Наш друг сказал, что это плохой человек", — или наоборот, и против этого можно было не пытаться возражать.

Под влиянием Распутина молоденькие Великие Княжны утверждали, что они никогда не выйдут замуж, если замужество может означать отход от православия.

Помню, один из знакомых старца говорил мне, что Распутин предвидел, кто его убьет, называл даже имя Феликса Юсупова.

Если бы суждено было одному из членов царской семьи умереть естественной смертью в дни царствования, вне сомнения нашлось бы немало желающих славословить покойного и речами и писаниями. После злодейского убийства в Екатеринбурге во всем, что было напечатано, мне не довелось прочесть ничего хорошего об этой несчастной семье. Возможно, был кто-либо в эмиграции, кто помянул их добрым словом. Но старые газеты, особенно иностранные, найти нелегко. Насколько я знаю, о членах царской семьи после их гибели было написано очень мало. Большинство тех, кто пользовался благами русского Двора, не сказал ничего в память погибших.

*

Я пишу эти строки почти через двадцать лет после смерти Николая II. У меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всем, что проходило перед моими глазами, и я убеждена, что Николай II никогда никому не хотел причинять зла — ни единому человеку, тем более всей стране. Но в жизни страны был целый ряд фактов, которые были ему неизвестны. Весьма вероятно, что Государь не обладал достаточной силой воли; это особенно сказывалось в моменты, когда надо было принимать решения: прислушиваясь к мнению других, он не умел настоять на своем.

О недостаточной силе воле покойного Императора говорили много. Впрочем, когда мы говорим о чьей бы то ни было силе воли, мы обычно говорим слишком отвлеченно, не принимая во внимание особых условий, в которых находится тот, кому должно проявить эту силу воли. Может показаться странным, что русскому самодержцу было чрезвычайно трудно настоять на своем. Но для того, чтобы в определенных условиях поступать по-своему, недостаточно одной лишь силы воли — нужна гигантская воля гения, какой обладал Петр Великий. Государственная машина в России была так велика и так сложна, что каждый, кто становился во главе ее, не только рисковал быть раздавленным ею но должен был уметь разобраться в ее интригах, политических планах и ловушках, расставленных во всех возможных тайниках.

Осложняла положение русского правителя и его семья. Хотя нарь и считался ее главой, но он не всегда был старшим по возрасту членом этой семьи. Трон переходил по прямой линии от отца к сыну, и часто случалось (именно так произошло во время последнего нарствования), что молодой царь оказывался в окружении дядьев, двоюродных братьев и других родственников старших по возрасту и обладающих большим опытом. И эти поледние пользовались своим положением в семье, чтобы заставить Императора действовать так, как они того хотели.

Несмотря на это русский царь считался автократом, и вся ответственность за жизнь Империи лежала на нем; во всяком случае нравственная ответственность.

В такой именно обстановке в характере последнего Императора вырабатывались некоторые черты; порой он предпочитал открытой борьбе или хотя бы утверждению свой точки зрения — смотреть сквозь пальцы на то или иное зло.

Эту черту характера можно рассматривать как своего рода чувство неполноценности. Теперь податливость императора можно объяснять тем, что он искренне признавал ошибочность своей точки зрения.

Мне кажется, что детские годы Николая II и всё его воспитание могли солействовать тому, что в нем выработалась неуверенность в себе. Детство и ранняя юность Николая II протекали под влиянием отца — человека физически сильного и обладавшего твердой волей. Николай II начинал свою военную службу в чине младшего офицера. Читателю-иностранцу трудно представить себе, что в России тех дней звание подчиненного не давало ему никаких привилегий: требования дисциплины были одинаковы для всех и даже "травили" всех "новичков" одинаково.

Чтобы познакомить сына с государственными делами, Александр III ввел его в круг как наиболее выдающихся политических деятелей, так и знаменитостей в области юриспруденции. И можно думать, что в присутствии таких людей юный наследник чувствовал себя подавленным их знаниями и опытом. В такой обстановке на плечи Николая II, который еще не был даже командиром полка, легла вся тяжесть наибольшей в мире Империи.

Весьма возможно, что неуверенность в своей опытности была причиной целого ряда совершенных им промахов, одним из которых можно считать добровольное отречение от Трона. О том, что это отречение было добровольным, свидетельствует обращение царя к армии, изданное в момент отречения и скрытое от страны революционным правительством.

Николай II

Николай II был старшим сыном Александра III. Александр III очень любил сына (в свою очередь обожавшего отца), физическое развитие которого заставляло желать много лучшего. Сам

Александр III был почти гигантом; он мог перервать надвое колоду карт, раздавить кусок серебра, как сухарь, распрямить подкову, завязать узлом кочергу и т. п.

Легко представить себе, что основным чувством, которое Николай II испытывал по отношению к отцу, было чувство своей незначительности. Александр III был хорошим отцом, но его огорчало, что сын не был геркулесовского сложения. Единственным сыном Александра III, обладавшим высоким ростом, был Михаил Александрович.

Когда пришло время выбирать учителей для Наследника (а в семье Романовых обычаем было обучение военному делу) — первым учителем его стал старый рассудительный генерал Богданович. Государыня утверждала, что это он сломил характер Императора. Генералу Богдановичу помогал в воспитании Наследника англичанин, мистер Хит. У Госудрая были большие способности к языкам, но в его французском и английском произношении был очень заметен русский акцент.

В ранние годы Наследника держали далеко от политики. Александр III управлял железной рукой, и многие думают, что лучшего царя в России не было. Он знал законы, знал народы, населявшие его огромную Империю, он умел заставить себя слушаться, но в его домашней жизни вопросы политики были табу, так же как и в царствование Николая II. Дома автократ отдыхал, играл с детьми и часто даже принимал участие в их проказах. Никто не мог представить себе, что он может не дожить до старости. Покушение на его жизнь было единственной реальной опасностью, и он всегда был окружен усиленной охраной. Николай II рассказывал, что с годами отец счел нужным его присутствие на приемах министров, чтобы Наследник постепенно знакомился с государственными делами.

Будущему Императору была дана возможность совершить кругосветное путешествие. Его сопровождали Великий Князь Георгий Александрович и греческий Кронпринц Георгий. Но путешествие не было удачным. Во время пребывания в Индии Великий Князь Георгий Александрович заболел туберкулезом и должен был спешно вернуться домой. После этого он большей частью жил на Кавказе и умер молодым.

Неудачи продолжались. В Киото на жизнь Наследника покушался японский анархист, ударивший его саблей по голове. К счастью, греческому кронпринцу удалось отклонить саблю и ослабить удар. Но всё же ранение было серьезным, и Наследник не мог продолжать путешествия.

Одной из характерных черт Николая II была его замечательная память: он запоминал всё, что когда-либо видел; я никогда такой памяти, как у Николая II, не встречала. Обычно на яхте во время чая он рассказывал нам обо всем, что видел во время своих путешествий, о ранних годах своей жизни и т. д.

На жизнь Александра III тоже было совершено покушение. Царская семья сидела в поезде в вагоне-столовой за завтраком, когда на станции Борки произошло крушение. Поезд сошел с рельс, и крыша вагона обрушилась бы на царскую семью, если бы Император Александр III не удержал ее своей геркулесовой силой. Это лало возможность всем выйти из вагона. Позднее у Императора началась болезнь почек, от которой он и умер.

На решения, принимаемые Николаем II, часто влияли различные незначительные обстоятельства. В подтверждение этого я могла бы привести много примеров, но одного будет достаточно. Царь объезжал восточные провинции Империи, его сопровождал губернатор Маклаков, которого он очень высоко ценил. Как раз в это время был вакантным пост министра внутренних дел, и Государь назначил на него Маклакова. Если посещения министров вообще утомляли Государя, посещения Министра внутренних дел он всегда ждал с нетерпением.

Во время войны Маклаков был смещен со своего поста. Я не знала причины тогда, но впоследствии узнала, что Великий Князь Николай Николаевич желал наградить Щербатова, который заведовал лворцовыми конюшнями.

Николай II мало знал о стоимости денег. Он имел с ними дело только во время путешествий за границу, когда делал покупки; дома он никогла ничего не покупал. Все счета оплачивались казначейством.

Перед рождественскими и пасхальными праздниками ювелиры присылали Их Величествам образцы своих изделий. Обычно их раскладывали на больших столах. Императрица

всегда интересовалась ценой, Государь же выбирал подарки только по своему вкусу, независимо от цены.

Император обычно носил форму полка, расположенного в местности, где он в то время находился: в Царском Селе это была форма гусарского полка или, чаще, императорских стрелков. Красную русскую рубашку, часть формы императорских стрелков, он часто надевал и дома, она очень шла ему. На "Штандарте" на Государе была морская форма, в Петергофе — форма уланского полка и т.д. В штатском Государь бывал только за границей.

Однажды в Ливадии, когда мы играли в теннис, Государь заметил, что он почти завидует офицерам "Штанларта" — при белой форме они носят цветные носки, а у него самого носки всегда черные. Я спросила, почему он не закажет себе цветные носки, на что Государь махнул рукой: мол, такое предприятие может потребовать слишком много времени. Покупка носков вовлекла бы так много людей, что он и думать не хотел об этом. На следующий день я поехала в Ялту и купила полдюжины цветных носков, а вечером отдала их Государю. Он усмехнулся и поблагодарил меня. После этого он всегда надевал их, когда мы играли в теннис и с хитрой улыбкой обращал на них мое внимание. Когда Государь бывал в хорошем настроении, он много смеялся, но чаше он бывал серьезен.

Я сделала попытку бегло показать последнего русского Императора. Нет никакой нужды его расхваливать — с годами положительные стороны его характера всё ярче вырисовываются в моей памяти, затмевая слабости. Я всегда буду помнить его удивительно глубокий искренний взгляд, в котором светилась истинная доброта. За несколько лет до революции на крейсере "Рюрик" оказался новобранец-революционер, давший обет убить Государя. Но когда его взгляд встретился со взглядом Императора, он этого сделать не смог.

Императрица Александра Федоровна

Об Императрице Александре Федоровне писать гораздо труднее. Чтобы обрисовать всю сложность ее характера, не

хватит и целой книги. Если мне позволит здоровье и будет достаточно сил, я когда-нибудь возьмусь за это.

После смерти Александра III его вдова неохотно уступала свое место императрицы. Она любила приемы, она привыкла к ним. В сущности, она так никогда и не сошла со сцены, продолжая занимать первое место во всех торжественных случаях. Когда царская семья появлялась на официальных приемах, Государь вел под руку мать, Императрица же шла сзади с одним из Великих Князей. Конечно, это происходило по желанию Императрицы-матери, и сын следовал этому желанию. Такое положение вещей никак не могло быть приятно молодой Государыне, но она старалась не показывать своих переживаний, хоть часто слезы и готовы были брызнуть из ее глаз. Императрица-мать пользовалась огромной популярностью, и общество принимало создавшееся положение как должное. В результате в России, по существу, оказалось два Двора: Двор Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны и меньший Двор Императрицы Александры Федоровны с немногими ее друзьями.

Мой отец был очень привязан к Императрице и, когда мы были детьми, часто говорил нам о ней. волновалась перед тем, как первый раз взошла на борт "Штандарта", непрестанно спрашивая моих бонн Величествах, добры ли они. "Император — ангел, — отвечали мне, — Императрица же очень требовательна, но справедлива". Государыня знала людей и понимала их чувства лучше, чем ее муж, и она не могла не замечать лести и вероломства, окружавших Государя. Часто она старалась дать ему понять, что происходит вокруг, но он не слушал ее. Когда начались клеветнические наветы на Государыню, я так от всего сердца хотела, чтобы Государь решительно положил им конец!

Главными характерными чертами Государыни были непреклонная честность, набожность и правдивость. Она не могла предвидеть условий, в которых оказалась, приехав в Россию. Сначала она пыталась завоевать сердце Императрицыматери теплым отношением к ней, но, как я уже говорила, взаимное непонимание и чувство ревности с самого начала

стояли между ними. Императрица-мать разделила с молодыми Императором и Императрицей принадлежавший ей Аничков дворец, и молодой Император проводил со своей матерью все вечера. Государыня была почти всегда одна, встречаясь с мужем только за завтраком и обедом. Со временем отношения между двумя женщинами становились всё более натянутыми. Возможно, что часть вины лежала и на Императрице Александре Фелоровне — она была моложе и могла первая сделать шаги к сближению. Но врожденная замкнутость удерживала ее от этого.

Вдовствующая Императрица была очень привязана к детям и любила их посещения. Помню, как она, приехав в Финляндию на "Полярной звезде", устроила в день своих именин танцы для детей. Маленькие Великие Княжны поставили для нее пьесу, и это лоставило Императрице-матери огромное удовольствие. Часто она, сидя у кроватки Наследника, чистила ему яблоко. Сам Государь сиял от радости, когда приезжала его мать. Както мы играли в теннис на одном из островов, когда он увидел приближавшуюся из леса стройную фигуру в белом. "Геперь играйте вы, моя мать идет!" — крикнул мне Государь через площадку. Но за столом я часто замечала недружелюбные взгляды, которые Императрица-мать бросала на Государыню.

Единственным человеком в царской семье, с кем у Императрицы Александры Федоровны были дружеские отношения, была сестра Государя Елизавета. Одно время дружеские отношения установились у Государыни и с Великими Княгинями Милицей и Станой Черногорскими, их сближала общность интереса к религии и мистике.

Все интересы Великой Княгини Милицы были сосредоточены на мистике, а в большой библиотеке Государыни было много книг на эту тему. Следует сказать, что именно эти Великие Княгини ввели Распутина во Дворец. Они же первые начали и клеветать на Императрицу, когда дружеские отношения прекратились, и это показало Государыне, что в отношении к ней Великих Княгинь не было искренности.

Первым мистиком, с которым Великие Княгини познакомили Государя и Государыню был мсье Филиппе. француз, которого считали пророком и предсказателем.

Государь и Государыня иногда проводили вечера в обществе Великих Княгинь и их мужей, Великих Князей Николая и Петра, и мсье Филиппа. Последний говорил на религиозные и мистические темы. Когда я была представлена ко Двору, на меня произвели огромное впечатление рассказы Государыни о мсье Филиппе. Она считала его пророком и просила его молиться о даровании ей сына. На одном из столов во Дворце стояла синяя кожаная рамка с несколькими высушенными цветами в ней — подарок мсье Филиппа; он утверждал, что сам Христос прикасался к ним.

Государыня была прежде всего матерью и женой. Вначале она пыталась свести к минимуму обязнности по отношению к обществу, чтобы иметь возможность больше времени посвятить семье. Ее не привлекали ни стремление к показному, ни роскошь. Наряды так мало занимали ее, что порой прислуживающие ей должны были напомнить заказать платье. Платья она могла носить годами. Во время войны она не приобрела ни одной новой веши.

С детьми Государыня была строгой и приучала их к простоте. Так, детская одежда переходила от старшего к младшему, как это бывало в простых семьях. В Финляндии, на островах, царские дети носили простенькие ситцевые платья. Если бы им было суждено пережить революцию, они, сомнения, смогли бы без труда приспособиться к самой простой Императрицы жизни. Ha туалеты были ассигнования, но она никогда не расходовала всей суммы на себя, отдавая значительную часть бедным и жертвуя, сколько возможно, на достойные помощи цели. В результате бывало, что когда ей самой нужен был новый костюм, у нее не оставалось уже ни гроща. Говорили, что Распутин пользовался большими суммами из царской казны. Насколько я знаю, он не получил ни копейки. Ему давали только рубашки, носки и другие вещи, сделанные руками Императрицы или Великих Княжен. Иногда он получал небольшую сумму для поездки домой, в Сибирь.

Государыню часто тревожили мысли о будущем ее дочерей. Она пролила немало слез, зная, что, как царские дочери, они никогда не смогут выйти замуж по любви, а выбор их должен

быть обусловлен политическими или иными подобными соображениями. К этой теме я еще вернусь, когда буду говорить о Великих Княжнах.

У Государыни Александры Федоровны был свой секретарь — князь Ростовцев. В его ведении была канцелярия Государыни. Эта канцелярия оформляла все поступления и расходы из официальных ассигнований. Я знаю, что не одна тысяча рублей из средств Императрицы была израсходована на помощь нуждающимся, и она всегда хотела сохранить это в тайне. В Крыму Императрица часто передавала через меня денежные пожертвования больным, находившимся в санатории.

Много слез осушила Императрица, и много несчастных, чье здоровье было восстановлено благодаря ее помощи, благословляли ее имя. Я сохраняла много писем, подтверждающих это, но все они были потеряны во время революции.

Императрица уделяла много внимания помощи посредством работы. С этой целью — а это была ее любимая идея — молодая Императрица организовывала рабочие дома в разных частях России. В этих домах безработные могли получить работу, а не имеющие специальности могли изучить ремесло. Особенно заметно было значение таких рабочих домов в голодные годы.

Царском Селе Императрица основала школу сестер милосердия, в которой девушек и матерей обучали уходу за детьми и больными. Несколько школ в Ст.-Петербурге, называвшихся "патриотические школы", функционировали под патронажем Государыни. Следует упомянуть также основанную Императрицей промышленно-кустарную школу для русских крестьянских девушек. Окончив эту школу, возвращались домой, в далекие уголки России, как учительницы рукоделья. По окончании школи девушкам выдавали нужные им для работы принадлежности. Императрица часто посещала щколу, а руководительница школы бывала у Государыни, получая у нее указания и советы. Порой я заставала Государыню на коленях рядом с г-жой Шнайдер за изготовлением узора для половика. У Государыни Александры Федоровны было большое чутье. Директор императорской художественное

фарфора, например, часто приносил ей образцы рисунков, и Императрица всегда могла исправить и улучшить их.

Государыня редко встречалась со своими фрейлинами; исключением были только княгиня Барятинская — в начале царствования — и княжна Орбелиани. Обе были друзьями Императрицы. справедлива Она всегда была обслуживающими ее, но неизменно требовала правдивости; малейшее отклонение от правды сердило ее. Она совершенно неспособна к притворству, не могла неискренне улыбаться и никогда не пыталась очаровывать толпу. Мой отец говорил: "Чашка чаю могла бы спасти положение", — то есть если бы Императрица любила приемы, не была бы так замкнута, чаще улыбалась, она пользовалась бы большей популярностью. Ей недоставало непосредственности, которая пленяет толпу.

Были и другие факторы, осложняюще положение. Трагическая болезнь Наследника в сочетании с недугом самой Государыни (слабость сердца, обнаружившаяся после его рождения) делали невозможными балы и приемы. Императрица физически не могла подолгу стоять, что было необходимо в таких случаях. Большую часть времени она лежала. За двенадцать лет, проведенных мною с Государыней, только первый и два последних года она бывала среди людей. Как я уже говорила, во врема войны она работала сестрой милосердия в госпитале.

Огромное количество людей выражало желание быть представленными Императрице, но состояние ее здоровья не позволяло ей принять их, хотя на эту причину никогда не указывали. Этим Государыня оттолкнула от себя целый ряд влиятельных лиц.

В годы своей болезни Государыня проводила много времени с детьми лежа на диване с шитьем или вышиваньем. В эти же годы я часами читала ей книги на религиозные или философские темы.

Больше всего в жизни Государыня боялась войны. В войне она видела гибель России. Государь утаил от нее факт всеобщей мобилизации. Я видела, как велика была ее скорбь, когда весть о мобилизации дошла до нее. Подсознательно она

чувствовала надвигавшуюся катастрофу.

В кругу семьи, особенно в присутствии детей, Государыня знала и счастливые минуты. Когда она чувствовала себя лучше, она бывала веселой, играла с детьми в их комнатах или же в зале, где была сооружена горка, с котрой мы скользили вниз. Правда, такие минуты веселья не были часты. Государыня была склонна видеть трагическую сторону даже в обыденной ежедневной жизни. Я часто заставала ее в слезах, иногда причиной их бывало что-то случившееся несколько лет назад, как смерть ее отца, иногда слезы вызывали обстоятельства ее теперешней жизни, как болезнь Наследника, а бывало, что ее страшило будущее, которое могло принести разлуку с детьми. Разлука с Государем всегда расстраивала ее, даже если она знала, что отсутствие его продлится не более нескольких дней. Когда Государь ездил на две недели в Италию, первый день после его отъезда она провела одна в своей комнате и не хотела видеть ни детей, ни меня.

Во время войны она делила свое время между ранеными и Наследником, которого она обожала. Все ее мысли были сосредоточены на нем, она надеялась, что придет день, когда он станет великим и могущественным правителем России.

Ужасы войны не могли не трогать ее. Ход войны был связан с судьбой России и с судьбой царской семьи. Это могли не знать разве что слепые.

Когда Императрица впервые приехала в Россию, она писала своей приятельнице графине Ранцау (фрейлине своей сестры принцессы Ирены): — "Моего мужа окружает неискренность, я чувствую, что он ни на кого не может положиться. Только немногие любят его и страну и, мне кажется, никто добросовестно не исполняет своих обязанностей по отношению к моему мужу. Каждый думает только о своей выгоде, везде интриги и только интриги".

Как правильно Государыня оценивала положение Императора! Но тогда она, не предполагала, что сама станет жертвой интриги. Позднее мы видели, как изо дня в день вокруг нее разрастались недобрые чувства.

Непопулярность Государыни просвечивала во всем, особен-

но она бросалась в глаза в дни посещений Ставки. Военные атташе, приглашенные к обеду или завтраку, так же как Великие Князья и Алексеев — глава Императорского генерального штаба — пользовались всяким самым незначительным поводом, чтобы отклонить приглашение, а когда принимали его, позволяли себе делать недружелюбные замечания по адресу Императрицы. Но Государыня не могла поверить, чтобы это могло иметь какое бы то ни было значение. Она знала, что совесть ее чиста, и не могла предположить, чтобы бессмысленному злословию, которым было окружено ее имя, могли верить нормальные люли.

Я не стремлюсь затушевать то, что во время войны Государыня интересовалась вопросами политики и порой давала советы своему мужу. Я не сомневаюсь, что на ее месте всякая другая женщина поступала бы так же. Но я не сомневаюсь и в том, что Государь и дети занимали в ее сердце первое место, хотя она и не могла провести разграничивающую черту между их судьбой и судьбой России.

Император был человеком слабовольным и, вне сомнения, не был создан правителем. Потому понятно, что жена делала всё возможное, чтобы поддержать и ободрить его в страшные годы войны.

Нельзя обвинять Императрицу в судьбе, постигшей Империю. Гораздо большая вина лежит на тех, кто пытался переложить ответственность на ее плечи. Императрица хотела поддержать мужа в его высоком положении. По ее мнению, все силы должны были быть сконцентрированы на победном окончании войны, и, естественно, она и слышать не хотела об отречении от Престола.

Когда же отречение стало свершившимся фактом, можно было только поражаться ее силе воли в новых обстоятельствах. Никогда никто не слышал ее жалоб на потерю высокого положения. Письма, полученные мною от нее из заточения, показывают, с каким спокойствием она приняла свою судьбу. До самой смерти она оставалась Императрицей, и я уверена, что заточение не сломило ее духа.

Последняя Императрица всея Руси была хорошей и верной женой, любящей мужа и детей превыше всего. Если бы судьба

приуготовила ей иной жизненный путь, она, конечно, была бы счастливой матерью, независимо даже от болезни сына. Она была бы способна полностью посвятить себя мужу и детям.

Я сохранила чувство глубокой благодарности к ней. Она наполнила мою жизнь содержанием, она стала для меня примером благородства, это ее пример дал мне силы перенести превратности моей судьбы. Она была для меня старшей сестрой, могу даже сказать другом-матерью. В течение двенадцати лет у нас были общие радости и печали. Она легко поддавалась гневу, но так же скоро каялась в нем. Часто бывало, что, уходя домой, я чувствовала себя глубоко несчастной, однако вскоре раздавался звонок телефона или я получала ее записку — она просила извинить ее несдержанность. Когда случалось, что пространство разделяло нас, она писала мне каждый день. Я никогла не забуду, как во время одной из поездок в Финляндию на яхте "Штандарт" она впервые открыла мне свое сердце. Однажды вечером Государыня вошла в мою каюту, обняла меня и сказала: "Бог послал мне вас, и я больше никогда не буду одинока". Между нами всегда были полное доверие и полная обоюдная преданность — эти два необходимые условия дружбы.

У меня сохранились об Императрице воспоминания, полные чувства признательности, так же как у всех других, кому посчастливилось жить вблизи нее. Настанет день, когда о ней будут судить иначе, совсем не так, как судили те, кто преследовал только свои интересы.

Наследник

Наследник, как я уже упоминала несколько раз, был калекой с первых дней жизни, и без надежды на выздоровление. Когда его болезнь была установлена, Государь и Государыня обращались за помощью к наилучшим врачам. Алексей был красивым рослым ребенком, но почти всегда прикованным к постели, с перевязкой на руке или ноге. Когда я вспоминаю дни моего пребывания при Дворе в качестве фрейлины, мне кажется, что почти всё время мы с Государыней проводили в детской у кроватки Наследника.

Сердце наполнялось жалостью при виде этого страдающего

ребенка. У него бывали страшные боли, бывало он плакал днем и ночью. Не меньшее чувство жалости в такое время возбуждала и Государыня. С каждым днем она становилась всё более несчастной, и, казалось, не было дня, когда Наследник был бы здоров.

За Наследником ходила няня — Мария Ивановна. Постоянно был при нем и матрос Деревенько. Я еще ничего не сказала о том, как он появился в детской.

Великие Кнжны были очень живыми и веселыми девочками, и их няня совершенно не могла уследить за ними, особенно во время поездок на "Штандарте". Поэтому во время поездок в Финляндию к каждой из них был приставлен матрос. Так же, в помощь Марии Ивановне, чтобы наблюдать за Наследником, был взят и Деревенько. Наследник сразу же полюбил этого гиганта-матроса, сердце которого было открыто детям — у него было двое своих.

Мальчика надо было носить как дома, так и на дворе, и Деревенько дали велосипед с сиденьем перед седлом для Наследника. На этом велосипеде матрос возил Алексея по парку в Царском Селе. Часто приходили играть с Наследником и дети Деревенько, и вся одежда Алексея обычно переходила к ним. Когда Наследник бывал болен и плакал по ночам, Деревенько сидел у его кроватки.

У бедного ребенка никогда не было аппетита, но Деревенько умел уговорить его. Когда Наследнику исполнилось шесть или семь лет, его воспитание было вверено учителю, а Деревенько оставался при нем как слуга.

Мы все думали, что Деревенько действительно привязан к мальчику, но человеку свойственно ошибаться даже в отношении слуги, пробывшего в доме двадцать лет. Когда разразилась революция, Деревенько одним из первых оказался в рядах выступивших против его бывших друзей и хозяев. В один из первых дней после революции проходя мимо детской я видела развалившегося в кресле Деревенько — он давал распоряжения Наследнику, как своему прислужнику.

Перед тем, как началось обучение Алексея, все баловали и ласкали его, и он рос балованным и капризным ребенком. Госу-

дарь понимал, что такому положению рано или поздно надо положить конец, и начал подыскивать для мальчика подходящего учителя. Первыми учителями были швейцарец мсье Жилльяр и англичанин мистер Гиббс. Лучший выбор едва ли был возможен. Совершенно чудесным казалось, как изменился мальчик под влиянием этих двух людей, как улучшились его манеры и как хорошо он стал обращаться с людьми.

В то же время в пользование Наследника было вылелено несколько комнат: спальня, классная комната и комната для игр. У Алексея была масса игрушек, но он предпочитал проводить время на свежем воздухе. Ему подарили пони, коляску и сани для езды по парку; все виды спорта были ему запрещены. Помню, как он мечтал о велосипеде и как он горевал, когда узнал, что не может иметь его. Государыня и учителя должны были сказать ему о состоянии его здоровья, о том, как он должен быть осторожен.

По совету учителей, Наследнику разрешено было играть с другими детьми, к нему приглашали спокойных мальчиков из кадетского корпуса. Это было, когда Алексею исполнилось лесять лет, и революция уже приближалась. В первые дни революции Наследник заразился от кадетов корью.

Как Алексей развивался физически? Рос он нормально, и, по всем признакам, должен был быть хорошо сложен. Черты его лица были благородны, его ноги и руки пропорциональны; только левая нога была не совсем ровной, но эта неровность, появившаяся после его болезни в Спало, через год перестала быть заметной. Императрица твердо верила предсказанию Распутина, что Наследник по достижении шестнадцатилетнего возраста будет совершенно здоров. К десяти годам он уже достаточно вырос и мог сопровождать отца в Ставку. В Ставке Государь и его семья спали на походных койках. В один из приездов в Ставку у Наследника был сильный припадок гемофилии, у него началось кровотечение носом, пришлось спешно вернуться в Царское Село. Мальчик потерял много крови и к концу пути был желто-бледным. Его внесли во Дворец на носилках, и профессор Федоров не знал уже, что делать, если кровотечение не прекра-

тится. Тогда-то пришел Распутин и остановил кровь крестным знамением.

Вначале Наследник некрепко держался на несколько слабых ногах, но с годами его ноги окрепли, хотя, возможно, если бы он дожил до зрелого возраста, он бы немного хромал, как и его кузен, сын принца Генриха.

С течением времени Наследник становился всё более очаровательным. Многим больным свойственно легко раздражаться, Наследник же в болезни проявлял только лучшие стороны характера. Он понимал больных и страдающих, всегда старался помочь своей матери сесть или встать, а когда я стала калекой, часто приносил мне стул. Он легко прощал и пользовался каждой возможностью, чтобы помочь людям. Как-то он узнал, что мальчик, прислужник на кухне, потерял работу; Наследник не давал покоя родителям, пока его подзащитный вновь не был принят. Он был справедлив и не мог мириться со злом, причиняемым кому-либо. Он был щедр и делал подарки всем и каждому, как только представлялся случай — Деревенько, его летям, своим учителям.

Наследник очень любил животных. Его любимицей была лошадь, и совсем еще маленьким мальчиком он научился чистить и кормить ее. Была у него и собака, Рой, и кот, которого подарил ему комендант Дворца генерал Воейков. И кот и собака спали в ногах его кровати.

Наследник был очень умным мальчиком, не по возрасту развитым, что вполне понятно — у него почти не было друзейсверстников, сестры же были значительно старше его. Он понимал свое положение, знал, что он наследник русского Трона и умел соответственно вести себя. В десять лет он хорошо говорил по-русски и по-французски и понимал английский. Кроме языков, он изучал и другие предметы в объеме большем, чем дети его возраста.

Он любил поэзию. Любил он также участвовать в постановках пьес. Даже в заключении Великие Княжны и Наследник ставили небольшие спектакли. Еще совсем маленьким мальчиком он называл греческую принцессу Елизавету, свою троюродную сестру (сестру герцогини Кентской), своей невестой. Наследник интересовался историей, природоведением, охотно занимался и математикой. В сущности, всё изучаемое легко давалось ему.

Великие Княжны обожали маленького брата и всегда ласкали и баловали его. Когда мальчик бывал болен, Государь часто на руках выносил его на свежей воздух.

Всего этого нельзя сказать об учителях, они не баловали Наследника и относились к нему, как относились бы к любому другому ученику. Но они любили его и говорили, что у него есть все данные, чтобы вырасти сильным и могущественным правителем. Они называли его будущим Петром Великим.

Все знают о трагическом конце жизни Наследника, еще более трагическом, чем гибель последнего французского Дофина. Я знаю, что история вряд ли отзовется с симпатией об убийцах этого одаренного, доброго и благородного ребенка.

Великие Княжны

О Великих Княжнах я вспоминаю почти как о подругах. Правда, у нас была значительная разница в возрасте, хотя старшая, Ольга, легко могла бы быть моей младшей сестрой. У Великих Княжен было мало друзей, они рано вошли в мир взрослых, привыкли думать и вести себя, как окружающие их.

Великая княжная *Ольга*, старшая, характером больше других напоминала мать. Она была неизменно справедлива и честна. Я никогда не забуду, как семилетней девочкой она играла со своей кузиной, Великой Княжной Татьяной, и кузенами, сыновьями Великого Князя Михаила. Один из мальчиков позволил себе умышленно неправильный ход. Ольга расплакалась и подбежала ко мне со словами: "Знаешь, что он сделал, Аня? Он сказал мне неправду".

Ребенком Ольга была очень вспыльчивой и даже трудной. Как и мать, она была упряма и говорила в лицо то, что думала, порой даже резко. Но с возрастом это сгладилось; казалось, она стала мягче, ласковее, чувствительнее, сохранив свойственную ей в ранние годы честность.

Ольгу нельзя было назвать красивой, черты ее лица не были правильны — у нее был небольшой поднятый кверху нос и рот ее

был несколько велик, но она унаследовала от матери золотистые волосы, хороший цвет лица, царственную осанку и грацию.

Ольга была, вероятно, наиболее одаренной из царских дочерей. Она совсем неплохо писала стихи, у нее были способности к музыке, она могла играть самые сложные музыкальные пьесы по слуху, ее голос не был сильным, но чистым. Все учителя поражались ее памяти, которую она, конечно, унаследовала от отца. Ничто не могло отвлечь ее, если она была погружена в занятия, но ей достаточно было прочитать урок раз или два, чтобы знать его на память. Как и мать, она была очень религиозна и была так же склонна к мистицизму. Ольга думала о браке с Борисом болгарским. Еще ребенком она получила от него в подарок какую-то драгоценность и с тех пор говорила о браке с ним. Она была моей любимицей.

Великая Княжна *Татьяна* была очень милая и сдержанная, она была, любимицей отца. Все учителя и гувернантки любили ее больше, чем других детей; она никогда никому не причиняла никаких неприятностей. Всегда знала требования и желания родителей и старалась исполнять их, за это дети прозвали ее гувернанткой. Она была проворной и ловкой. Если горничая Императрицы опаздывала, Татьяна всегда могла причесать мать, что было не так легко — волосы у Государыни были такие длинные, что она могла, если они были распушены, сесть на них. Когда мы бывали в Финляндии и прислужницы, отпущенные на берег, задерживались, Великая Княжна помогала нам одеться к обеду. Она была искусная рукодельница и обладала прекрасным вкусом. Ее работы вызывали всеобщее восхищение. На нее был возложен выбор подарков, и обычно выбор этот бывал удачен.

У Великой Княжны Гатьяны были темные волосы, но она была бледной и, в противоположность матери, никогда не краснела. Глаза ее были большие и серые. Она редко смеялась, была очень добра и умела сохранять спокойствие. Однажды снежок, брошенный ее сестрой Марией, ударил ее в лицо и у нее пошла кровь носом, но она не только не упала в обморок, но даже не заплакала. Когда Гатьяна выросла, она была самой высокой и стройной из всех Великих Княжен, красивой и романтичной. Много мужчин увлекалось ею.

Татьяна любила бывать среди людей больше, чем ее сестры. Она часто жаловалась, что у нее нет друзей и просила меня помочь ей завязать знакомства. Это было легче сказать, чем сделать — Императрица никогда не позволила бы своим детям знакомств, которых она предварительно не одобрила бы. Государыня боялась сближения дочерей с аристократическими семьями, так как в этих семьях дети часто воспитывались неумно и слишком свободно. Императрица не одобряла и дружбы со многими кузинами Великих Княжен.

Великая Княжна Мария была толстенькой девочкой с большими сияющими, как светильники, глазами и полными губами. Она была доброй и послушной, но, как и ее младшая сестра Анастасия, была бойкой и резвой девочкой. Ее несчастье было в том, что она была слишком молода, чтобы быть в обществе старших сестер, и недостаточно мала, чтобы играть с двумя младшими членами семьи. В раннем детстве она была очень шумной и неуклюжей, но к четырнадцати годам заметно похорошела. Когда теперешний король (тогда еше кронпринц) Румынии приехал просить руки Великой Княжны Ольги, он влюбился в Марию. Однако Императрица не хотела и слышать о браке, она говорила, что Мария еще не переросла своей детской. Больше всех на свете Мария любила отца и ребенком всегда ревновала, когда я шла с ним на прогулку.

Великая Княжна Анастасия была тоже бойким и беспечным ребенком, разумным и не без хитрости — ей всегда удавалось повернуть всё на свой лад. Аристократической внешностью она была ближе к роду матери. У нее были светлые длинные волосы. С самого раннего детства в ее голове возникали планы разных шалостей, позднее к ней присоединялся и всегда готовый к шалостям Наследник. Анастасия унаследовала отцовскую наблюдательность, но обычно ее внимание привлекала комическая сторона. Врожденный мим, она прекрасно воспроизводила свои наблюдения.

Однажды в Кронштадте был официальный обед. Присутствовали адмиралы, генералы, сановники, все при лентах и орденах. Вдруг гости начали проявлять признаки беспокойства. Оказалось, что Анастасия — тогда ей было три или четыре года

— решила изобразить собаку; она залезла под стол и щипала за ноги гостей. Государь извлек ее оттуда и сурово отчитал.

Эти дети стоят перед моими глазами до сегодняшнего дня, и многое, связанное с ними и, казалось, забытое, снова возникает из небытия. Но ярче всего в памяти сохранилась гармония семейной жизни Государя, тесные узы, связывавшие членов этой семьи.

Все дети, как и родители, были религиозны и мистически настроены. Но основной их чертой был пламенный патриотизм. Россия была им так дорога, что девочки не допускали мысли о замужестве вне пределов родины и вне православия. Все они хотели служить России, выйти замуж за русских и иметь детей, которые бы тоже служили России.

Во время войны, когда нормальный ход жизни был нарушен, Великие Княжны не могли выполнять тех официальных обязанностей, которые бы лежали на них в мирное время. Теперь они были сестрами милосердия, и эту работу выполняли хорошо. Ольга и Татьяна стали сестрами милосердия с первых же дней войны. Ольге было тогда девятнадцать лет, Татьяне — семнадцать. Но Ольге эта работа была не по силам, через два месяца она уже не держалась на ногах; Татьяна же, казалось, была создана сестрой милосердия, она даже жаловалась, что ей, по молодости, не поручают самых тяжелых случаев. Если бы не война, жизнь этих детей текла бы по совершенно иному руслу.

Каждая из дочерей Императрицы, родившись, получала орден Св. Екатерины и красную ленту к нему. Этот орден был основан Петром Великим, когда его жена Екатерина I, пожертвовала все свои драгоценности на устройство укреплений при отступлении наших войск перед нападавшими турками после боя на Пруте. На ленте было написано: "За веру и отечество".

Орден Св. Екатерины получали, хотя и редко, пожилые женщины в знак признания или их собственных заслуг или заслуг их мужей. Кстати скажу, моя мать была награждена этим орденом. Дамы, награжденные орденом Св. Екатерины, были известны как Дамы рыцарского ордена.

Обычно, когда Великая Княжна достигала совершеннолетия, давали большой официальный бал. Такой бал был дан,

когда Ольге исполнилось шестнадцать дет. Впервые на ней было длинное бальное платье и волосы ее были собраны в прическу. Весь Дворец утопал в цветах, и двери его были широко открыты в южную ночь. В парке играл оркестр, и молодые Великие Княжны порхали, как мотыльки. В этот вечер нелегко было уложить их спать, они так любили музыку и танцы.

После этого Великие Княжны, жившие неподалеку, давали балы в своих дворцах, а зимой Императрица-мать Мария Федоровна дала большой бал в Аничковом Дворце, а Великая Княгиня Мария Павловна — в своем дворце на Набережной.

Когда Ольге исполнилось шестнадцать лет, она получила звание почетного командира гусарского полка и на бал в Ливадии была приглашена делегация этого полка. Ольга была в восторге. Формой полка был светло-голубой мундир и красные бриджи. Командир полка, генерал Мартынов, был замечательным красавцем — высокий, с большими усами. Ольга с увлечением танцевала с ним мазурку.

Позднее Татьяна так же получила звание командира уланского полка. У обеих Великих Княжен была форма их полка и, прекрасные наездницы, они красовались в ней на парадах.

У Великих Княжен было много крестников в семьях дворповой охраны и в семьях офицеров прибрежной охраны. Они любили детей, часто приглашали их и дарили разные вещи простыни, вязанки и всякую одежду.

Татьяна была крестной матерью первого ребенка моей сестры. Одно лето моя сестра с ребенком жила с нами в Царском Селе, и Великие Княжны навещали их почти каждый день. Помню, как однажды рассердилась моя сестра, когда Великие Княжны взяли ее дочь из кроватки после ванны и играли с ней, как с куклой.

Еще перед войной и даже во время войны за Великими Княжнами ухаживали молодые люди и, если бы не революция, они породнились бы с иноземными царствующими домами. Но война и революция нарушили течение их жизни и наложили свою печать на их судьбу.

Помню, как перед самой революцией все дети заразились корью. Входы во Дворец и его коридоры были полны солдат.

Больные дети лежали в большой детской. Государь ходил по парку, окруженный грубыми солдатами. Государыня — ужасающе худая — в белом переднике сестры милосердия смотрела, как последние имперские полки покидали Дворец. Морская стража, офицеры "Штандарта", телохранители и др. уходили, чтобы присягнуть Временному правительству.

Я тоже заболела корью и выздоровела 21 марта 1917 года (по новому стилю 3 апреля). Я молила Бога, чтобы мне было дано попрощаться с Их Величествами. В конце концов мне позволили встретиться с Императрицей и девочками. В последний раз я видела Императрицу в ее передвижном кресле. За ней стояла Татьяна. Мы плакали. У нас было только несколько минут, мы едва успели обняться и обменяться кольцами, и нас разлучили.

Мое последнее воспоминание об Императрице: своей белой рукой она показывает на небо и говорит: "Мы будем вместе на небесах".

А. Вырубова



А. А. Танеева в платье фрейлины. В замужестве — Вырубова.

последние листья

СТОЛПЫ И ТРУХА

Христос (выражаясь в обыкновенной земной форме и для "человеческой его стороны") был последний аристократ, под которым хранится длинная генеалогия, — генеалогия, долго сосчитанная, — но который не захотел более быть аристократом. Поле зрения, открываемое Евангелием, действительно есть поле "лазарей", "нищих", "убогой братии", и, в общем, какой-то трухи человеческой. Имен, лиц, генераций не видим. Нет такого, чтобы "человек был подобран к человеку", "породка подобрана к породке", чтобы каждое зернышко "хлеба человеческого" было умыто, омыто, вычищено. В Евангелии проходит определенная борьба против вычищенности. Отсюда-то снисхождение к болезни, изъяну, уродству. Отсюда: сын-наследник и сын-гуляка. И торжествует. Отсюда: "ушел богатый услышав вслед: "верблюду легче пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царство небесное". И вообще отсюда именно, от Евангелия, потекло начало какой-то безродности, в сущности — вырождения и голытьбы. Христос — горит, сияет. Но какая темь вокруг Него. Чем ярче небесное Его сияние, выше подвиг "учения" и "на кресте", тем всё человечество, исцеляемое

Эту рукопись В.В. Розанова мы получили из Финляндии и с удовольствием печатаем ее в нашем журнале. $PE\mathcal{I}$.

Эти отрывки не были включены В. Ховиным в его журнал "Книжный угол" и их нет в публикации Флешмана в журнале "Континент" (7). Эти "Последние листья" были написаны в Троице-Сергиевой Лавре (Загорске), кула Розанов с семьей переселился вскоре после Октябрьской революции. М.М.

и на самом деле вовсе не исцеленное, — сгорбленнее, суше, с болячками.

В сущности — нищенство; и Он повел к нищенству. И основал — нищенство: но не то, чтобы "ниших возлюбил", а — нишету, бедность, уродство. Повлекши ко всему этому, к чему всегда было так враждебно человечество, чего так безумно боялось человечество, чего так пугалось — к тому самому вдруг, наоборот, Он повел его как к своему же, человеческому и земному идеалу.

- Я хочу быть нищий.
- Я люблю быть нищим.

Это есть гораздо большее что-то, нежели все чудеса "хождения по воде": чудо именно таковой перемены идеала. Чсловек вдруг возлюбил собственное зло. Человек вдруг возлюбил собственное несчастие. Человек вдруг возлюбил — раны. Раны на ногах, раны на руках. Голова повязана и т.д.

O, o, o...

Таковых видим везде. Они окружают христианские храмы. О, это уже "не две белые телицы, везущие жрицу Диотамию к храму". Причем еще телиц выпрягли, и два сына вместо телиц привезли жрицу и мать. Мать от счастья умерла.

Умерла — от счастья. В христианстве от счастья не умирают. Иные образы смерти, иные образы скорбей и муки.

Борьба с Иерусалимом и особенно с храмом Его, единым, вечным, — проходит так явно в речах Иисуса, во всем Его научении, в "молитве мытаря", противоположной "молитве фарисея", который "исполнил весь закон", — потому именно, что Иерусалим и храм его был весь построен "на столбах" (столбыколонны, "Иоахим" и "Вооз"). Мы не сознаем и историки не дотолковали, что вовсе не Рим и Греция, и не царства, очень мелкие, Азии, — и ни даже Персия и Вавилон, но именно Иудея с 12-ю запечатленными ee коленами, 110 именам родоначальника Иакова, была не только родовитою страною, родовитою землею, но что именно она была землею, где родовитость, генерации и генерации, слились с самою религиею и были ее сущностью, ее душою. Израиль был до того чрезмерный аристократ, что никакой из сынов его, самый бедный и убогий, не мог и не смел (было запрещено) породниться с

первым патрицием Рима. Он до того чтил род и родовитость, всегда свою, всегда одну (как это и бывает в каждом аристократе, у всех аристократов); что наконец вменил это в религию и слил с этим сущность религии. Он один имел какое-то Божеское происхождение, считал "начало мира" с "происхождения себя", и "человечество" изводил "из себя", после построения Вавилонского столба. "Всё прах и вся — прах". "Гы один Израиль божественный". "Гы — Божие дитя". И нужно быть совершенно слепым, чтобы не заметить, что борьбу против этой мысли всех пророчеств, — всех именно пророчеств, — и устремил Христос. Который будто бы "пророками предсказан". И выбирают, выбирают крупицы "предречений о Нем", колючки, волокницы предречений, не замечая совершенно того, что Он прободает все пророчества, льющиеся вообще все в эту точку этой единой крови, единой породистости, единого рождения. Что как "суть пророчеств — в этом", так "суть Христа — в противо-этом".

В Иерусалимском храме, — едином и единственном на земле храме Истинного Бога, стояли два столба-колонны, не одного устройства и формы. И уже по разности устройства, без всякой впрочем зрительной символики, было догадливо, что один столб выражал отцовскую сторону родовитости Израиля, а другой столб выражал материнскую сторону родовитости Израиля. В храм входить никому не позволялось. На границе его стоял камень, с греческою, общепонятною для народов древнего мира надписью: "Кто пройдет дальше за этот камень внутрь храма — для того последует смерть". Но всё сокрушилось перед римлянами, и воины — ворвались. Что же они увидали? Изумительно — и никогда этого не передается в христианских изображениях иерусалимского храма: они увидели внутри его огромное дерево из золота с плодами и листочками, — всё из золота одного. Гупые, глупые римляне приняли, что "храм был, поэтому, Бахусу". На самом же деле в Великом Дереве было изображено Древо Жизни: и иудеи поклонялись Своему Плодородию. Огни лампад и жертвенник, хлебы предложения и прочее — всё горело сияло, всё освещало "наше плодородие". Дивно. Рассказать — и то диво. Вот — гордость, вот слава. Вот настоящий аристократизм. "Мы — и никто". И когда это так сказано, с этим упоением силы и красоты, как не дополнить, не прошептать грустно для человечества: "они — и никто".

Это — гром пророков. "Мы — и никто", "они — и никто". Но ведь человечество...Повернемся к нам: мы же только у собак и лошадей считаем породы, какой борзой щенок и какая скаковая лошадь произошла "от Балтимора" и от "матки тоже с именем". Кто же считает породы людей. "Отца и деда, по отчеству отца, еще помним", и "бабку по отчеству матери помним же". "В дальнейшую темь не проникаем".

В этот-то "камень, на коем утверждаюсь" — Израиля, кинул камень Христос: и — разбил.

Уничтожил.

Вот в какой связи стоят все "мытари", "Лазари", "блудные сыны", "прощаемые блудницы" и т.д. и т.д. и проч. и прочее Евангелия. Разбивалась Виноградная Лоза Размножения Израиля. И разбивалась — скажем мы, вообще человеческая всемирная родовая аристократичность. "Подбирай зернышко к зернышку"; "очищайся — и лишь очищенный множься".

O, o, o....

- Хочу сиять.

Христос сказал: — Потухни.

От этого-то, от этой связи с "Лазарями" и убогостью, от таинственного ведения к убожеству и смерти — и слова о скопчестве... Есть и другие места, из которых главное: "Аще соблазняет тебя глаз твой, или десница твоя — вырви десницу или глаз". А в сущности: "Вырви сердце у себя, так как оно источник пожеланий".

- Монах.
- О, как всё приводится в связь. Но через какие ужасные подозрения, о коих высказывая и мы рыдаем.
- Если ты и даровит, наконец, и гений: то́ сияй же один. Ты никогда не размножишься. Потому что ты вообще Мне не нужен.
- Да кто же Ты, сказавший эти ужасные слова человеку, человечеству?
- О, Лоза жизни гори! И я скажу: сияй, сияй! Больше виноградных листов. Еще больше... и ягодок, и детей, и плода.

Гори, гори... Светильники — осветите "плод чрева". О.чело-вечество, как я люблю тебя: и вот Апокалипсис вдруг, до утомления, до скуки (впрочем, разве может быть тут скука?) вдруг начинает исчислять: "и 144.000 из колена Завулонова", и "144.000 из колена Данова", "144.000 из колена Нефалимова", и "144.000 из колена Вениаминова". Опять — генерации, опять роды: аристократизм. И — "белые одежды".

O, o, o...

Где же Ты, Христос, и почему Ты важен миру? Миру мир важен. И Солнышко, и древа, и травки...

Но вы теперь понимаете, почему

"Посередине Престола Библия — Бык, Орел, Лев и Дева"... И все орут взывая

— Свят! Свят! Свят!

O, o, o...

Да ведь, увы, человек размножается не иначе, не по-иному, чем Лев, Бык, Орел... Почему же "он один"? Космогония, а не антропология. Космогония в основе самой антропологии, — и тогда-то последняя прочна, а первая — свята. И я скажу о целом мире:

Свят! Свят! Свят! Святое Имя его. Всё оправдалось в Боге Саваофе...

Но вот настала труха. "Мы интересуемся только породами лошадей и собак". "Не у человеков же нам помнить отца и мать" (поразительные слова: "Кто любит отца и мать больше нежели *Меня*, не внидет в Царствие Небесное").

- ... Труха, труха... Еще труха... Темь, копоть, дым. Много дыма. Пока "сорвав крест" она не возгласила стомиллионными устами:
 - Мы пролетариат...
 - Мы социализм...
- После того как погасли лампады и их, конечно, не надо, осталось свободное человечество собачье человечество (впрочем, ниже собак, ибо "не почитает отца и матери"), которое обратилось к грызне друг друга... и ужели сказать: при единственном смехе Кого-то...

Но, в самом деле, что же ему делать как не изгрызать

внутренности друг друга в полемиках, в спорах (чудное "не воюй" и "не охоться" Израиля), в войнах, в дипломатике. Что же делать, когда вообще связи и соединения кончились, когда вообще родство человечества окончилось, когда мы вообще интересуемся собаками, скачками, но "не самими же собой", по "смирению христианскому"... Сперва "по смирению христианскому", а потом — сказать ли ужас: и по "нигилизму христианскому".

- Кто же ты, христианин?
- Родных не помню. Рода нет. Племени нет, нация одна ерунда. Но вот я довольно талантлив и издаю журнал. Я, впрочем, нигилист, и в общем мне хоть трава не расти. "Меня запишут в историю русской литературы".
 - Меня в историю искусства.
 - Меня в историю ткацкого ремесла.
 - Я изобрел телефон.
 - А я на человеческие брюки (нашил?) лишнюю пуговицу.

Произошла "История труда", которая заменила историю генераций. Бъ погасший человек. Возста ремесленник. И вот он, сбросив крест, уже не нужный ни к чему символ, хватаясь за высохшую кашляющую грудь, выхватил громадный молот, поднял его и сказал:

Держись, цивилизация: размозжу.

"Восплакался "зверь" и "разодрал одежду блудницы, показав ее скверное тело" ("Апокалипсис").

*

Благородное солнце... Благородное солнце... Благородное солнце...

О как ты светишь.

Приласкай, приголубь...

Вот я протягиваю к Тебе свои руки... О, как они иззябли в христианстве... И стали костлявы, худы...

Потому что тош желудок.

Он воистину тощ. Ни хлеба, ни сахара, ни вина.

И сердце мое завистливое и тощее: я плачу, а всё загляды-

ваю сквозь пальцы рук, отирающих слезы, не богаче ли меня кто, не знатнее ли, не превосходит ли талантом...

Ибо я — воистину Лазарь.

Но не тот, который был в раю... Я горю в ничтожестве, завидовании. Мне кажется: все меня лучше, все меня превосходят. Я же только богат убожеством. Я тот, который есть Иов, но без первой его фазы: в богатстве дома, детей. Я — вечный Иов, только на гноище, и уж теперь не благославляю и кляну Бога, а только кляну Его и всё его создание.

Ибо я воистину несчастен.

Ибо я воистину христианин.

Лазарь без награды.

И просто — пролетарий.

Согрей же меня, солнышко, новое, благородное. Меня утомило прежнее солнышко. Ибо оно не восходило и было как-то вечно тусклое. Как кровавое во время затмения.

Но ты солнышко — другое. И звездочки — они радуют. Их не исчисляет Коперник. От какового исчисления мне ни тепло, ни холодно. Это — другие звезды, совсем другие. С благородным гороскопом, который знаменует мое рождение.

Звездочка — она родная. Она — моя. У каждого — своя звезда. И "течет жизнь его" по "такой-то звезде".

Звезды — это мы, наши души. Это нашептал нам Апокалипсис. Покончил с закоптелым небом и открыл нам Новое Небо.

Оно нас рождает. Бог — Он вот. Чувствую Его в ладонях моих, в каждом сгибе пальцев. Бог — это мы. Но потому, что Бог — это мир Сам.

И будет молитва к Богу. И будет Бог к Человеку в молитвах Его.

И мы будем слушать Его голос. А Он наши вечные, неистощимые молитвы.

Встану ли я поутру: вот Он, мой Бог. Засну ли, скажу: завтра опять увижу Его. Ибо оно так велико и благодетельно, что позаботилось и о сне моем. Это гораздо выше Коперника, что оно позаботилось и о сне. Коперник "сосчитал" и не догадался, что солнышко дарует сон усталому от труда человеку, и это "в счет его не входит." Не "входит", что для восстановления моих и

всемирных сил нужно ровно столько времени, часов и минут, сколько "от восхода до захода". И можно не без улыбки сказать, что "Коперник проспал солнце". Он всю жизнь на него смотрел, но взял с такой глупой стороны, как будто никогда его не видел.

СОЛНЦЕ

Гордое солице...

— чувствуете ли вы в незримых фибрах души, что оно — гордое? Человеческий атрибут около "по существу Звезды"... — как это странно...

Но в самом деле, в самом деле, есть "что-то", почему оно кажется гордым.

"Смиренный вид солнца"? — не подходит. "Уничиженный вид" — тоже нет.

Но "гордый"?

Странно. Удивительно до странности. Но в самом деле оно "спокойно и величественно обтекает землю"... Тьфу: — "земля обтекает его по астрономии...

И восход, и заход так прекрасен.

И заслушались люди: "он поёт".

И Лобанов присылает вот марки.

И еще сто рублей, милый. По своему почину и принудительно.

Боря из Нижнего — пятьдесят.

И — потянулись. Соколова — с толокном. Так помогает "от почек и утомленного сердца" (отдал "другу").

О, други мои. Спасибо. И Андрей Константинович с "вечной памятью" Евгении Ивановны. И Нестеров.

И Всехсвятский — он прелестен. И жена его, милая Муза Николаевна. Гри раза напоила чаем. С обильным хлебом, с вареньем. Хлеба — три ломтика, сложенные в форму поленницы.

И Каптеревы: пирожки с картофелем.

Гольдовский исключительный кофе со сгущенным молоком.

Рап — суп из протертого гороха.

последние листья

Таксис — Порядок.

Я говорю, что Бог ставит точки над моим "i" и всему меня научает "из жизни".

Моя худенькая дочь, моя любимая (Татьяна Розанова) портит мне второй день, — и испортила все праздники. В стремлении "к чистоте" — она вымыла всю кухню к Рождеству. А сама маленькая и бессильная. Я же думая, что ведь "Рождество — *это ночь под Рождество*", решил в душе своей, слишком "по-чиновному" трактуют христиане исключительный праздник, воображая, что и он делится пограждански, с 12-ти часов одной ночи до 12-ти часов следующей ночи". Гогда "Рождество" приходится посередине, и выпадает как что-то пустое. Затем — "визиты", подлое -- "гражданство" и Рождества "как не бывало". Поэтому именно этот год я решил "праздновать Рождество" с вечера, с прекрасной вечерней звезды, и, сам поставивши самовар (прислуги с революции нет), умылся, оделся, всё "предпраздничное", — пирог, молоко, запасенные заранее сливки — приказал поставить на чистую скатерть, и сказал: —

— "Дети, Рождество"...

И все повиновались. Радостно сошлись к столу. — "Где же любимая дочь?" — С головной болью, уткнувшись носиком в подушку, она лежала без сил, без движения.

"Как, радость радости — и ее нет с нами". Гневно я вошел в ее комнату и сказал, что не пойду к празднику на Всенощную, а проведу канун как обыкновенную ночь, за трудом, за заботами. Я тоже "чистил было" и убирал свой письменный стол. Но теперь оставил всё по-прежнему в беспорядке и сел за обычное писанье...

Ну, день вышел не ладно. Но нужно же: Новый год и два Ангела в дому. Радость семейная, особая. Вхожу: почти кувыркаясь от усталости, она домывает прихожую в моем

кабинете. "Чтобы чисто встретить день Ангела папочки"... Опять! вторично... И я проклял "день Ангела"... "День Ангела проклял"... Страшно выговорить, произнести. Угрюмо пошел один в церковь. Хорошего встретил знакомого, он поддержал, помог, и я хорошо приложился к раке Преподобного.

То есть в давке и тесноте народной. Я забыл оговориться, что сам так слаб эту зиму, что уже "своими силами" мало что могу. От этого впечатлителен. От этого так почувствовал работу лочери. И от этого вышли "две точки" над "i", которые мне поставил Госполь.

Удивительно, Лавра состоит из огромной высокой колоно это, оказывается, "Успенский собор", новой постройки, и ничего собою не представляет. Затем — Духовная Академия и постройки для жилья монахов. "Ничего особенпого". Особенное же и главное Лавры, конечно — "где лежит Угодник". Как же это выражено? Тут же неподалеку великолепная "Грапезная". Совершенно закрываемая ею, стоит небольшая церковка, — совершенно незначительного вида, и как-то "по-новому" выкрашенная, неприятная. Которую никак не заметить, пересекая Лавру поперек. И я, сто раз пройдя через Лавру по одному делу, не мог никак представить себе, чтобы это "что-нибудь значило". "Это — скорее часовня". Мизерабельное с виду, с фасона. Ещё с какими-то розоватыми цветами в окраске наружных стен. Полная безвкусица, — "по-русски". Когда, открыв дверь, вдруг входишь в черное почти, закоптелое помещение: и "столь малое снаружи" вдруг открывает себя как огромное внутри, огромное между прочим и по помещению (каким это чудом сделано — не понимаю!!). И тут-то и лежит Угодник, и "по сему бысть Лавре", и "по сему — защищали от поляков", "по сему" — всё. Все, все, все... Самая Гроица — "по сему". А остальное — только пристройка. Ухитрились же русские так глупо сделать. Но Бог преобратил "глупое" в "разумное".

Черные стены. Закоптело всё. Черное, копотное, великолепное. Православное. "Да не стою ли я в Успенском Соборе, в Москве?" И эти Ангелы в красных сапогах и греческих хитонах.

^{1.} К удивительным составным частям древней живописи как знаменитого Успенского Собора в Москве, так равно и великой Троице-Сергиевой Лавры

Изумительно. И я молился древнею хорошею молитвою.

Митр, митр... Духовенства, духовенства... Удивительная церковь так не объемна снаружи: а будто поместилось в ней всё российское духовенство...

"Великой Державы Российской"...

Я молился. Все было хорошо. И вдруг я стал думать на свою домашнюю тему: "А что, если бы вдруг все стало не хорошо, — и например молящиеся все повернулись бы к двери, к выходу лицом".

"Гогда бы исчез алтарь и не было бы средоточия храма", подумал я. И перенёсся "к началу бытия нашего". Что же сделал Христос?

— Нет, что в самом деле Он сделал?

Теперь я часто бываю в комиссариате. Нуждишки и все... Провизия и прочее. И вот я раз случайно утерял провизионную карточку. Утерял, и на другой же день вернулся. "Не умирать же мне со своей семьей с голоду". Показываю список своих книг, отчёт магазина за проданные в прошлый год. "Я не плут и не вор, но мне 63 года, я трудился всю жизнь для Огечества": но барышня интеллигентная окончательно и решительно отказалась выдать новые карточки. "Я вам вчера выдала на шестерых, а сегодня вы пришли и требуете новых". Значит, умирать с голоду. Хлеб. Я стою. Не ухожу час. Знаю, что безнадежно. И не ухожу, потому что наступит более безнадежное, если уйти.

Тут, в комиссариате, ходил (?) ранее всё в валенках. Он имел вид слуги. В то же время — все "продовольственное управление" сидело, и видно было, что "который в валенках" — им служит. Они же все сидели и даже "восседали" в сюртуках. Он толкался в прихожей и разносил подписанные бумаги. Лет тридцати с небольшим. "Должно быть — лакей" (моя мысль).

Видя меня стоящим, и уже в такой тоске, кто-то с соболезнующим лицом сказал: "Вы бы обратились к комиссару". И указал на "с валенками". Я изумился. "Неужели он?" Шепчу, показываю лист с "сочинениями". Он полу-читает. Не грамотен.

принадлежит то, что все "бесплотные силы духовные", т.е. Ангелы, представлены обутыми в красные сапоги. (Примечание автора.)

Но "плюнув в пальцы", взял два листка и что-то написал. "Исполнено". "Исполнена жизнь семьи!" Я с благодарностью пожал руку даже сердитой барышне. И выскочил. Была снежная буря, срывало шапку, даже рукавицы трехэтажные (в три ткани) срывало: но я как "ангел вечный" летел домой. "Сыты, сыты".

И вот мне показалось, что есть что-то такое, что очень похоже с одной стороны на "службу задом к переду" в храме, и на этого "с валенками", который мановением своим "все поправлял"... Таксис — порядок.

В таинственной — поистине таинственной книге — Евангелий проходит все какой-то "спор о субботе". И пока не было уразумеваемо, "что такое суббота" — было совершенно не ясно, что же такое "совершилось в христианстве". А что такое "суббота", об этом во всех евангельских и ветхозаветных историях нигде не было сказано. "Суббота. 7-й день. И — праздник". Как "наше воскресенье", — "заменившее её". И в том, что оно "заменило её", в этой-то именно замене и как бы "уравнении" и кануло все в Лету. В Лету — небытия, забвения, непонимания. Мир новозаветный и ветхозаветный "слился воедино", корабли стали проходить над утонувшим колоколом, который "больше шикогда не зазвонит"...

На самом же деле "суббота" защищала, — защищала и хранила, — весь языческий мир, вообще весь мир, свет и солнце "до-христианства". Но — невидимо и безмолвно, с той же безмолвностью, неизреченностью, ваемостью как во всем тексте священного писания, ни разу не пачертано неизрекамое имя Божие (так называемая священная "тетраграмма"). И в параллель этим двум потрясающим умолчаниям можно и следует указать еще на то, что и в минуту и час "завета Бога с Авраамом" не было произнесено никакого молитвенного слова, ни простого "Господи Совершенно ничего: завет совершился абсолютно безглагольно. Лишь по аналогии этих трех умолчаний мы можем догадываться и даже должны угадать, соединяя, что в Имени, празднике и живете содержалось что-то одно. Одно — Имя, одно — действование ("праздник"); один — завет, "договор", "союз". Конечно, я здесь не нарушу пятитысячелетнего молчания: но из догадки своей, какая есть у меня, я вывожу, что все древние религии

"приложились" к субботе и она все их держала, крепила собою, все их истинствовала. "Сломиться субботе" — это уже включало собою слом и храма, богослужения. Слом наций, культур... Молитв; в основе — жертвоприношений.

Пользуясь молчанием о субботе, — роковым и неодолимым, — и что о ней действительно не надо говорить, "неизреченно есть сказать", — Христос начал таковое делать в субботу, о чем никакого не могло быть спора, что это — хорошо, благо, свято, прекрасно. Это было "совершенно свято" кроме того единственного и непонятного, что это в то же время "нарушало субботу". Но Господь спросил: "человек для субботы или суббота для человека"? В самом деле: "ведь и суббота дана бысть человеку, чтобы он отдохнул от шести дней работы, воспраздновал на сей седьмой день." Таксис, порядок.

Что такое "праздник"? А тут — добродетель. Нет, больше: начало всех добродетелей — труд и благотворение. "Не всё ли человечество за труд и благотворение?" И всё человечество хлынуло за Христом. И Он умер "и погребён и воскрес в третий день по Писанию". Израиль — один и единственный — остался со своими "субботами" и "бысть погребён в истории", как смердящий Лазарь.

— Что же случилось? Что же случилось? Нет, в самом деле, что такое случилось...

Это "как моя любимая дочь". Она предпочла "не встретить праздника с папой и мамой", чтобы "всё приготовить зато к празднику". Переменила час. Надо же наконец всё выместь, вычистить. Но "к этому часу", чем "всем вместе встретить бы праздник" — она предпочла утрудить себя: и померкла, и почти лежала больною, потому что "вздумала быть судомойкою", когда семья засияла "праздником". Переменила час и не захотела его "встретить с израильским народом". В прочем же всем он ничем не отделялся от Израиля.

"Можно быть православным, и читать все молитвы православные. Но отчего не читать их на литургии, повернувшись лицом к выходу из храма?"

Странный вопрос. Странный ли? "Ведь суббота — для человека". Но тогда... почему бы солнцу, восходя вообще с Востока,

редкий день не взойти и с Запада?" С Запада оно также хорошо светило бы..." "И заря, и всё..."

Что же совершил и начал совершать собственно Христос? "Субботу" ли Он нарушил. Или Он нарушил что-то совершенно иное... "О, померкни луна и побледней солнце". Как бы обмокнув слюною перст, Он начал стирать все Божие творение, — ибо Божие сотворение и заключалось и заключается не в глине и персти, не в или (греч.), "материи", а в порядках, чередованиях и "связи всего" ...

Молитвы всё те же: но задом наперёд. И "не царь в опоясании меча и державы своей", а в валенках.

"Держись, Вседержитель... Я победил Гебя: ибо я благотворю человеку".

Вседержителю ли жить? Человеку ли? Израиль один промолвил: "Если не Вседержителю, то зачем же мы".

Человечество же не поняло. И изрекло безумно: "Лучше пусть не будет Вседержителя. А только жили бы мы."

Праздник. "Но работа выше праздника". "Что за праздник в грязи". Один еврей сказал: "Нет, ты *окончи всё до праздника*." "А праздник — *ликования* Господу".

"Одному Богу мои молитвы"...

И умер народ за это, обратившись в козла.

А козел, вонючий козёл, сел на место священного народа.

Вот история. И — Апокалипсис.

В. Розанов

БУНИН О Л. АНДРЕЕВЕ

Дочь Бориса Константиновича Зайцева, Наталия Борисовна Сологуб, к которой я обратился по некоторым литературоведческим вопросам и, в частности, осведомился о материалах, касающихся Леонида Николаевича Андреева, которые могли бы находиться среди бумаг ее покойного отца, прислала мне фотокопию письма Ивана Алексеевича Бунина. Письмо датировано 22 сентября 1938 года и обращено к Б. К. Зайцеву. Первая часть этого письма, нигде до сих пор не опубликованного, несомненно интересна для характеристики отношения Бунина к своему знаменитому современнику (Андреев на год моложе Бунина). С разрешения Н. Б. Сологуб, которой я за ее любезность глубоко признателен, привожу здесь текст первой части послания.

Вторая часть письма относится к совершенно иной теме, а именно, по словам самого Бунина, к "бесовской веселости русского народа". Понятно, текст этой второй части здесь не приводится.

Бунин пишет:

"Дорогой братишка, целую тебя и Веру, сообщаю, что вчера начал перечитывать Андреева, прочел пока ¾ "Моих Записок" и вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что напрасно мы так уж его развенчали: редко талантливый человек..." Полпись: "Твой Ив."

Комментарий к тексту несложен: "Вера" — Вера Алексеевна Зайцева; "Мои Записки" — одна из превосходно написанных "исповедей", где автор явно не сливается с рассказчиком, — Бунин, сам мастер высокой литературной техники, именно за это называет Леонида Андреева "редко талантливым": в устах Бунина такие слова о другом писателе — профессиональная оценка уменья последнего, как прозаика. Однако, выяснению

подлежит фраза — "напрасно мы так уж его развенчали". Кто, когда и почему занимался "развенчанием" Леонида Андреева?

Едва ли может быть в этом "деле" заподозрен адресат письма. Б. К. Зайцев был обязан Леониду Андрееву на ранних этапах своего писательского пути и сохранил всю жизнь "особое отношение" к Леониду Николаевичу: помню, как в 1969 году тронута была многочисленная аудитория в Париже его воспоминаниями на вечере в память пятидесятилетия смерти Леонида Николаевича, — Г. В. Адамович, сидевший передо мной (оба мы позлнее в тот же вечер выступили с речами от русских, а три докладчика были от французов), пробормотал, нагнувшись ко мне, — "Хорошо иметь преданных друзей, верных и полвека спустя..." Столь же "про-андреевски" Борис Константинович проявлял себя и прежде в разных своих писаниях. Более того, если судить по его "литературным биографиям" ("Жизнь Тургенева", "Чехов") "жанр разоблачений" его вовсе не привлекал.

Другое дело — Бунин. В своих "Воспоминаниях", изданных в Париже в 1950 г., но составленных из разновременно написанных очерков (начиная с 1904 года — первая часть о Чехове и кончая "Автобиографическими Заметками", в которых цитируются воспоминания Родиона Березова о Есенине из "Нового Русского Слова" в Нью-Йорке, — значит, писались в самом конце сороковых годов), Бунин упоминает имя Леонида Андреева не меньше одиннадцати раз. И все эти упоминания "анти-андреевские". Характер их странный. Дважды приводятся резко отрицательные мнения Чехова, высказаные, якобы, в 1902 году А. Н. Тихонову и в некотором углубленном "варианте" напечатанные Буниным в 1914 году во второй части его воспоминаний о Чехове. Несколько раз строго осуждается "народническая манера" Андреева, Горького, Скитальца и Шаляпина носить вышитые рубашки, поддевки и высокие сапоги, при этом объявляется: "Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только "литература" и часто даже лубочная". Мимоходом, при перечне "ненормальных" авторов (Цветаева, "буйнейший пьяница Бальмонт", "морфинист и садистический эротоман Брюсов", "обезьяньи неистовства Белого", "и говорить нечего про несчастного Блока...") Андреев определяется, как "занойный трагик"... Уместно вспомнить, что еще до революции Корней Чуковский высмеял этот "бульварный поклеп" на Андреева. По-видимому, Бунин считал главнейшим грехом Андреева, "изоглавшегося во всяческом пафосе", ожидание революции, как "нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля"... К сожалению, Бунин ни слова не сказал о том, что Леонид Андреев оказался одним из первых, еще до победы большевиков, кто печатно усомнился в "качествах" революции, а в 1919 году он опубликовал свое знаменитейшее обращение к равнодушному миру: "С. О. С. Спасите наши души", — как результат, имя Леонида Андреева подвергалось в С.С.С.Р. или полному или частичному "остракизму"...

Не по этой ли причине Джемс Вудворд в своей английской книге 1969 года о Леониде Андрееве, шесть раз упоминая Бунина, ни разу не цитирует его "Воспоминаний", которые едва ли произвели впечатление "объективного источника".

Следует, понятно, оговорить, что забвение — подчас — Буниным (главным образом — в "Автобиографических Заметках") "исторической пропорции" в обвинениях своих современников, никаким образом не снижает литературной силы, яркости изображения и подлинности нравственного гнева, которые в своем сочетании придают этому тому Бунина совершенно уникальные черты огненности и праведной ярости во имя России. Никто и никогда не составил такого обвинительного акта в адрес "братьев-писателей" и "иже с ними", — это, во истину, львиное рыканье, эхо которого еще не раз отзовется в сознании читателей, ставя по иному, чем общепринято, много проблем.

Почему же все-таки Бунин столь долгое время, с 1914 года, накапливает "анти-андреевщину"? Отголосок ли это "борьбы" за "первенство" после смерти Чехова? Все тогдашние "кандидаты" (Куприн, Горький, Андреев) "упразднены" Буниным в "Воспоминаниях" как недостойные "всероссийской славы". Я попытался проверить характер отношений Бунина и Андреева до революции, ища "истоки личной неприязни", и пересмотрел какбудто бы все важнейшее, опубликованное об обоих писателях. Впечатление от материала, что у Андреева и Бунина были не очень близкие, но лично и литературно хорошие отношения. Мне

кажется характерным, что, когда летом 1916 года Андреев стал редактором литературного, критического и театрального отделов во вновь созданной и финансово обеспеченной газете "Русская Воля", Бунин немедленно принял его предложение сотрудничать (так же как Куприн и Алексей Толстой). Между тем, ряд писателей, начиная с Короленко, Горького, Блока и кончая Серафимовичем, Шмелевым и Чириковым, оказался в оппозиции к новому органу печати (поскольку инициатива создания газеты принадлежала А.Д. Протопопову, тогда товарищу председателя Государственной Думы). Значит, возможно заключить, что идейные и литературные "линии" обоих авторов были в этот момент гораздо более близки, чем рисовалось позднее первому русскому Нобелевскому лауреату.

Письмо Бунина, здесь публикуемое, показывает, что Иван Алексеевич усумнился в оправданности "разоблачения" Андреева. Возможно, что без этого "усумнения" "анти-андреевщина" в "Воспоминаниях" была бы еще резче. Быть может, буниноведы расскажут нам однажды больше на эту тему, чем лаконичное послание И.А. Бунина к своему "дорогому братишке", Б.К. Зайцеву.

Кембридж, Великобритания

Ник. Андреев

Р. S. Пользуюсь случаем сказать, что я не состою ни в какой либо степени родства с Π . Н. Андреевым, за исключением "почетного", по шутливому выражению старшего сына Π . Н., Вадима Леонидовича. "Они" — орловские. А "мы" — "иные" и в моем ответвлении — "кембриджские". H. А.

КОННИЦА БУДЕННОГО

"И когда, наутро, черной тучей Двинулась орда... (А. Блок)

Осенью 1920 года Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии находился в Таврии. Для снега было еще рано, но земля была уже скована морозом. Вечером 25 сентября мы расположились в селе Рождественском. Село это, как многие другие села этого края, было и огромно и богато, а главная улица тянулась верно больше версты.

Я был утомлен, одолевали черные думы, положение наше становилось безвыходным, и казалось что война проиграна. Нехотя поел, лег, но не успел по-настоящему уснуть, как меня растолкали — приказ строить баррикаду!

На улице было светло как днем и при полной луне тени были особенно резки. Меня всегда поражала ширина наших деревенских улиц. Плакались мужички "дескать куренка некуда выпустить, землицы маловато..." — а сколько тут земли зря пропалало?

Как тут построишь баррикаду? Что она против конной атаки — ясно! Видно сам Буденный недалеко. Буденный свой человек — драгун Приморского полка, но в Великую войну был взводным унтер-офицером 5-го эскадрона Драгунского Северского полка нашей дивизии. Лихой кавалерист, но как командующий Первой Конной армией? Разве что у него за спиной башковитый офицер Генерального Штаба?

Мы печатаем отрывок из воспоминаний Л.Л. Столыпина о гражданской войне. $PE\mathcal{I}$.

Баррикаду всё же надо было строить. Вот и стали мы таскать телеги, возы, срывать заборы и ворота, носить доски, бороны, плуги, катить бочки. Однако баррикада выходила у меня жидковатая, да и обойти её можно было, вероятно, со стороны.

Было уже за полночь, мороз крепчал, дыхание клубилось при лунном свете, руки мерзли и тянуло "до хаты".

Вернувшись заснул мертвым сном, но еще до рассвета стали меня безжалостно трясти... Снаружи шум, крики, брань, топот коней... что такое? "Подходит красная конница..." Спал я одетым, выскочил, и "не пивши, не емши" — на коня!

Морозное утро румянилось, но солнце было еще за горизонтом. После избяного духа воздух казался живительно-чистым. Эскадроны гулким галопом вынеслись в поле, а я доскакал до низкого холмика, за которым расстилалась равнина. Поднялся, взглянул — и у меня захватило дыхание...

Взошедшее солнце резким косым светом заливало степь и конницу Буденного — полки за полками, бригады за бригадами — десятки тысяч всадников покрывали бескрайнюю равнину... всё это двигалось, развертывалось, останавливалось. Катились пушки, пестрели значки...

Мне почему-то вспомнилось "Слово о полку Игореве." Эта мерзлая равнина — вель это же "Дикое Поле!" Здесь столетиями скакали без стремян, на быстрых конях, скифы, сарматы, хозары, авары, печенеги, половцы, а позже — татары... Может с этого самого холма какой-нибудь удельный князь, нахмурясь, смотрел на врага? Может на него, как и на меня, напал страх и мелькнула мысль, что пришел конец?

Кн. Львов подъехал к гр. Шамборанту и сказал: "Принимай эскадрон. Полк отходит вон за те откосы, а ты будешь задерживать противника. И когда я говорю задерживать — это значит задерживать — дай нам время."

Оглянулся я на черную орду, гр. Шамборант посмотрел кн. Львову в глаза, слова не промолвил, лишь честь отдал.

Львов отъехал. Мы с Шамборантом переглянулись. Было в эскадроне человек 80 драгун, командовал ими гр. Лев Шамборант, из младших офицеров теперь помню лишь братьев

Маклаковых, корнета Фреймана и хорунжего Беднягина. Были у нас две пулеметные тачанки, запряженные парами коней. Рассыпались мы лавой и, освещенные багряным светом восходящего солнца, остановили коней и стали ждать.

"Русичи великая поля черьлеными щиты перегородиша, ищучи себе чти, а князю славы"

Жаль только, что против нас были не "поганыя плкы половецкыя" а своиже "русичи!"

Не утро, а одно восхищение, если бы только не буденовский авангарді— несколько сотен— которые приближались не торопясь, шагом, как-то небрежно, словно нас и не было... А за ними, словно туча, Первая Конная армия!

Начали посвистывать первые пульки. Посмотрел я на драгун, жалко мне их стало.

Буденовская артиллерия, тряско громыхая по мерзлым кочкам, лихо выехала на позиции и к выстрелам и пулеметным очередям присоединились громовые разрывы гранат. Мы отвечали стреляя с коней, осаживались, отходили злые, огрызаясь. Наши пулеметы открыли огонь.

Буденовцы всё шли шагом. Почему они не атаковали? Казалось простое дело — десятеро на одного? Так и не понял — ни тогда, ни потом.

Вот прямое попадание в нашу тачанку: кони вздыбились, один тонко заржал; пулеметчиков сбросило на землю мертвыми. Несколько драгун уже лежало на седой, мерзлой траве. Гр. Шамборант подъехал ко мне: "Столыпин, я ранен в ногу — принимай эскадрон."

Время шло. Медленно отходили мы, шаг за шагом. Расстояние между нами и буденовцами не уменьшалось, но огонь всё усиливался, гранаты рыли землю и мерзлые комья летели во все стороны. Падали лошади, валились убитые и раненые. Попадало разумеется и буденовцам. Людей становилось всё меньше и меньше — было нас 80, теперь может сорок осталось, не больше.

Вот за их авангардом разворачивается Конный полк буденовцев — без суматохи, словно на параде. Ужас и красота! Взял себя в руки чтобы подавить страх.

А время всё шло. На окровавленной земле в неловких позах

валялись убитые с серыми лицами, легко раненые ковыляли в тыл зажимая раны, метались ошалелые кони без седоков. Нас оставалось еще 20 — нет — уже меньше! Послал драгуна с донесением и пришел ответ: "Присоединяйтесь к своим." Мой вестовой перекрестился.

Повернули, по дороге встретили колонну конницы кирасира, ген. Петровского. Я доложил его адъютанту, что у меня от эскадрона осталось всего І І человек, а от него узнал, что выслан свежий арьергард.

Не успел доложить Львову в чем дело, как вдали, на гребень, галопом вынеслась пулеметная тачанка. Не успел обернуться, чтобы дать приказание, как роем зажужжали пули и меня, словно кулаком, ударило в спину. Хотел что-то сказать, но поперхнулся, и кровь хлынула горлом. Невольно отпустил повод, конь стал крутиться, кто-то схватил его под уздцы... помню испуганное лицо вестового.

Сознания не потерял, но говорить не мог. Кровь продолжала противно заливать шинель, седло, руки, всё... Помогли сойти с коня, посадили на тачанку с подбитым пулеметом. Тачанка сразу рванулась, я вцепился в пулемет, прижался горячей шекой к остывшему стволу, старался не скатиться.

По мерзлому пахотному полю, по ухабистым дорогам, катили мы версту за верстой, версту за верстой... Кровь уже почти не шла — лишь выплевывал сгустки.

"Стой! Что с вами?" Две сестры Выграновского отряда. "Куда попало? Раздевайтесь!" "Да побойтесь Бога — в эту стужу, да еще на ветру!.." Все же раздели до пояса и перевязали. Увидев, что рана в грудь на вылет, я подбодрился, т. к. почему-то, по глупости, думал, что ранен в верх живота. Пуля на излете застряла в пуговице шинели. Сунул в карман на память.

По дороге отогрелись в хате, даже смог сидеть на стуле и хлебнуть чайку. Затем тронулись дальше, и уже смеркалось когда прибыли в передовой лазарет где-то недалеко от Перекопа. Опять перевязали. "А где ваша папаха? Видно потеряли? Это не беда, мы вам дадим вязаный шлем с убитой сестры." "Какой сестры?" "Сестры Звегинцевой..." Знакомая и друг — вот еще несчастие! А санитар, добрая душа, всё утешает: "Вы

г. ротмистр, не беспокойтесь, шлем в порядке, ни кровинки, как новый..."

Погрузили меня с другими ранеными на солому в товарный вагон, а в другом вагоне, тоже на соломе, лежало тело молодого казака, хорунжего Беднягина, с которым недавно еще болтал.

Рана почти не болела, но левое легкое было полно крови, которая неприятно булькала и переливалась когда я поворачивался. В Севастополе температура стала резко подниматься за 40 — кровавый плеврит, но милейший др. Зверев, знакомый по Батуму, подбадривал меня: "Аркадий Александрович, дорогой, здорово вам подвезло — чуть пулька левее — крышка, каюк."

Так закончилась для меня гражданская война и моя первая и последная встреча с конницей Буденного.

А. Столыпин

КУЗНИЦЫ МАСТЕРОВ ВЛАСТИ

(ШКОЛЫ ВЫСШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАДРОВ ЦК КПСС)

1. Основы большевицкой доктрины о кадровой политике

На путях государственной власти коммунистов в России, как и в других странах Европы и Азии, постоянно взаимодействовали два фактора: организация и идеология. Какому из
этих факторов принадлежал примат? Изучение истории русского
и мирового большевизма не оставляет никакого сомнения в том,
что решающим фактором в победе коммунистов в борьбе за
власть было и осталось их классическое искусство организации.
Что же касается идеологии (пропаганда, программа), то она
всегда рассматривалась большевиками лишь как инструмент
партийной организации, а потом и самой монопартийной власти.

Искусство организации людей для революции во имя установления "диктатуры пролетариата" — это альфа и омега ленинизма. Это ведь Ленину принадлежат известные слова, когда он, перефразируя Архимеда, сказал еще в 1902 г.: "Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию" ("Что делать?").

Создав такую организацию, он и перевернул Россию. Но "перевернуть Россию" означало лишь организовать революцию, что в условиях России 1917 г. было не очень трудно. Трудным и решающим по словам Ленина было другое, а именно организация новой государственной власти. Другими словами — превращение организации революционеров в организацию мастеров власти. Эту задачу в основном осуществил в России такой мастер власти, как Сталин. Искусство организации

избранных людей (кадров) для управления и расширения тиранической тоталитарной власти над народом, — это альфа и омега сталинизма. Таким образом, если Ленин был величайшим мастером организации коммунистической революции, Сталина надо признать мастером организации тоталитарной власти. Вот тут встает вопрос, который нас сейчас интересует: какая главная мысль лежит в основе организационной политики большевизма о власти? Эта мысль может быть выражена коротко: учение о кадрах партии. У Сталина на этот счет есть ряд указаний, которыми ЦК КПСС руководится и поныне. Прежде всего — что такое кадры партии? Ответ Сталина: "Кадры партии — это командный состав партии, а так как наша партия стоит у власти, — они являются также командным составом руководящих государственных органов" (И. Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 595, 1947).

Еще в 1921 г. Сталин писал, что "из партии переворота внутри России Российская коммунистическая партия превратилась в партию мирного строительства" и что до взятия власти "работа партии была преимущественно критическая, а критиковать легко", но "теперь партия не может обойтись без знатоков дела" (И. Сталин. Соч., т. 5, стр. 107). "Знатоки дела" — это и есть "кадры партии", мастера власти. Судьбу самой политики партии решают кадры. Как бы подводя итоги почти двадцатилетнего опыта коммунистической диктатуры, Сталин заявил в 1935 г. в речи в Академии Красной армии: "Кадры решают все". Годом раньше, на XVII съезде партии в 1934 г. Сталин сообщил, что в своей кадровой политике "ЦК партии руководствуется гениальной мыслью Ленина о том, что главное в организационной работе — подбор людей и проверка исполнения" (И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 479).

На XVIII съезде партии Сталин указал на связь между эффективной политикой партии и кадрами, которые ее проводят. Заодно Сталин разъяснил, какие требования предъявляются к кадрам партии. В политике ЦК КПСС сегодня эти указания Сталина являются действующими нормами так называемого "партийного строительства" (искусство руководства партией и государством). Поэтому важно процитировать их здесь: "После того, как выработана правильная политическая линия... кадры

партии становятся решающей силой партийного и государственного руководства... Чтобы превратить в жизнь правильную политическую линию нужны кадры, понимающие политическую линию, воспринимающие ее, как свою собственную линию, готовые провести ее в жизнь, умеющие осуществлять ее на практике и способные отвечать за нее, защищать ее, бороться за нее. Без этого правильная политическая линия рискует остаться на бумаге" (Сталин, там же, стр. 595).

Эти основные принципы кадровой политики партии надо иметь в виду, чтобы понять исключительное значение, придаваемое ЦК КПСС работе и функционированию той сложной и огромной машины подготовки, обучения и распределения партийных кадров, которой непосредственно руководят два отдела ЦК — Агитпроп и Оргпарт работы. Посмотрим, как формировались и формируются высшие школы партийных кадров.

II. Школы высших партийных кадров в первые годы советского государства

Историю партийных школ высших кадров собственно надо было бы начать со школы, которую Ленин организовал весной 1911 года около Парижа (местечко Longjumeau) Хотя школа и не считалась чисто ленинской (там учились, кроме ленинцев-большевиков, также "меньшевики-партийцы" из группы Плеханова, левые большевики — "впередовцы" из группы Богданова — Луначарского — Горького), но подавляющая масса ее слушателей состояла из ленинцев. Главным лектором тоже был сам Ленин. Он прочел в школе в общей сложности около 60 лекций на разные темы (политэкономия, аграрний вопрос, теория и практика социализма в России). Кроме Ленина лекторами выступали Семашко, Луначарский, Рязанов. Когда выяснился чисто фракционный, ленинский характер школы, Плеханов взял обратно свое предварительное согласие читать там лекции по философии (их читал потом сам Ленин). Ленин и его сторонники обучали своих учеников не только теории марксизма, но и тому, что являлось главной целью школы: теории и практике большевицкой революции, теории и тактике большевицкой диктатуры. Школу окончило 16 человек. "Многие из окончивших школу впоследствии стали крупными партийными и советскими работниками", — говорится в официальном справочнике (Советская историческая энциклопедия, т. 10, стр. 891, 1967). Действительно, многие из этих учеников сделались членами ЦК (Бслостоцкий, Бреслав, Догадов, Шварц), а один даже членом Политбюро (Орджоникидзе). Главное значение первой ленинской партийной школы заключалось не столько в количестве подготовленных ею кадров, сколько в выработке Лениным (большевиками) на опыте этой школы той новой доктрины о подготовке кадров, о которой говорилось выше.

Не прошло и года после победы большевиков, как была организована по парижскому примеру в 1918 г. центральная школа по подготовке инструкторов и агитаторов партии при ВЦИК. В 1919 г. эта школа была реорганизована в первый Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, непосредственно подчиненный ЦК партии. Университет Свердлова представлял собой большой учебный комбинат, куда входили дополнительно: Вечерний коммунистический университет, коммунистический университет, Вечерняя Комсомольский совпартшкола, Воскресный коммунистический университет, Заочный коммунистический университет, Лекторские курсы, Институт аспирантуры. Университет окончило за первые десять лет 10 тысяч человек (вообще через него за это время прошло 19 тысяч человек). В учебной программе резко выделялись два цикла лекций и семинаров. Один теоретический цикл: Учение марксизма. Другой практический цикл: Как управлять партией и государством (соответствующие дисциплины назывались "Партийное строительство" и "Государственное тельство"). О значении Свердловского университета для ЦК можно судить по его лекторскому составу. В числе лекторов были: Ленин (лекции о государстве, они опубликованы в работах Ленина), Сталин (его знаменитые "Основы ленинизма" читались как курс лекций в этом университете), Свердлов (партийное и государственное строительство), члены Политбюро Бухарин, Зиновьев, Молотов, Калинин, Куйбышев, члены ЦК и ЦКК Ярославский, Степанов-Скворцов, Покровский, Владимирский, Луначарский, писатель Горький и др. Выпускники Свердловского университета стали руководящими работниками весьма важного звена в иерархии власти партии — областей, краев и национальных республик. Опыт Свердловского университета, как кузницы подготовки высших кадров, вполне себя оправдал. Надо было его использовать не только на высшем, но и на среднем и низшем уровнях. Это и было решено на IX съезде партии в 1920 г. В резолюции этого съезда сказано: "Особое внимание должно быть обращено на дальнейшее развитие партийных школ (высшего, низшего и инструкторского типа)... ЦК должен выработать учебные планы и примерную программу подобных школ" (КПСС в резолюциях, ч. 1, стр. 499, 1954).

Отсюда возникла целая сеть так называемых "комвузов" (коммунистических высших школ) для подготовки областиых кадров и губернских "совпартшкол" для подготовки районных и сельских кадров. Столь резкое увеличение сети партийных школ встретилось с трудностями подыскания соответствующего преподавательского состава. Но ЦК все же не пошел на сокращение сети партийных школ. На следующем X съезде партии (1921) было решено: "Необходимо обязать всех ответственных работников партии быть лекторами партийных школ и смотреть на эту работу, как на одну из важнейших своих обязанностей" (там же, стр. 552). Тогда же ЦК и Совнарком приняли и постановление от 11 февраля 1921 г. за подписью Ленина о создании аспирантуры по общественным наукам для подготовки "красных профессоров" — так называемого Института Красной Профессуры (ИКП).

III. Условия приема и программа обучения в ИКП

Для проверки поступающих в Коммунистический университет им. Свердлова, Институт Красной Профессуры и КУТВ им. Сталина при ЦК партии существовала "Мандатная комиссия" ЦК в составе представителей отделов ЦК — Орготдела (партийный техник-организатор), отдел агитации и пропаганды (партийный идеолог), админстративного отдела (профессиональный чекист), национальной комиссии ЦК (эксперт по национальному вопросу) и директоров самих школ. Общее руководство Мандатной комиссией осуществляли в разное время от

Орготдела ЦК Ежов, Маленков и Щербаков (потом они стали членами Политбюро ЦК), от Отдела агитации и пропаганды ЦК Ингулов, Криницкий, Стецкий, Булатов, Александров (потом они стали членами ЦК). Задачу предварительной фильтровки кадров с советского Востока для КУТВ им. Сталина Мандатная комиссия возлагала на национальную комиссию ЦК (председатель сначала Л. Каганович, потом таджик Рахимбаев). К рассмотрению Мандатной комиссией, например, для поступления в ИКП, надо было представить следующие документы: 1) подробную автобиографию с указанием занятий и судьбы родителей: 2) подробную политическую и деловую характеристику обкома партии с обязательным указанием о неучастии данного коммуниста в каких-либо антипартийных оппозициях и группах; 3) рекомендацию обкома партии, утвержденную Крайкомом или ЦК партии республики; 4) свидетельство об окончании школы: 5) печатные работы, если таковые были; 6) вступительную работу по избранной специальности; 7) справку врача о состоянии здоровья; 8) фотографические карточки.

Весь этот материал рассматривала Мандатная комиссия ЦК и в случае положительного ответа кандидата направляла в Экзаменационную комиссию соответствующей школы. Экзамены были конкурсные — это значит на одно место допущено два, три, а то и четыре кандидата. При одинаковых "мандатных данных" допущенным к принятию считался кандидат с высшими отметками. Но это еще не все. Кандидаты, лучше выдержавшие вторичное рассмотрение экзамены, поступают обратно на Мандатной комиссии ЦК. Комиссия выносит решение принятии всех или части этих кандидатов и представляет его на окончательное утверждение Оргбюро ЦК партии (теперь Секретариат ЦК партии). Оргбюро ЦК (Секретариат ЦК) каждого кандидата поименно рассматривает и утверждает как слушателя высшей школы ЦК. Вот с этих пор данный коммунист входит в состав партийной элиты и получает статут так называемого "номенклатурного работника ЦК". На протяжении всей своей учебы он пользуется всеми привилегиями работников ЦК: снабжение из Кремлевского закрытого распределителя, поликлиники, больницы и аптеки Кремля, курортные путевки Лечебной комиссии ЦК, стипендия в размере своей прежней

зарплаты, одна, иногда две комнаты в общежитии школы; такими привилегиями пользовались слушатели ИКП, Курсов марксизма-ленинизма при ЦК; ими теперь пользуются слушатели Академии общественных наук и Высшей партийной школы ЦК КПСС.

Первоначально единый ИКП через год имел 3 отделения: экономическое, историческое и философское. В 1924 г. было XIII съезда создано 110 решению еше подготовительное отделение с тем, чтобы потом после его окончания перевести слушателей на основное отделение. В 1928 г. были созданы историко-партийное, правовое и естественное отделения. В 1930 г. единый ИКП был разделен на ряд специализированных самостоятельных институтов: истории, историко-партийный, экономический, философский, естествознания, а с 1931 г. создали еще институты аграрный, мирового хозяйства и мировой политики, советского строительства и права, литературный, техники и естествознания, подготовки кадров (бывшее подготовительное отделение). Всего было создано 10 институтов Красной профессуры. Как правило в ИКП принимали после окончания университета (вуза), а на подготовительное отделение - со средним образованием. Срок обучения в основном институте — три года, на подготовительном отделении — два года. Целевое назначение ИКП в советском справочнике охарактеризовано так: "Институты Красной Профессуры — специальные научные и учебные заведения, готовившие преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов... Обшее руководство ИКП осуществлял Агитпроп ЦК партии" (Советская историческая энциклопедия, т. 6, стр. 109-110, 1965).

После окончания ИКП студенты сдавали государственный экзамен перед комиссией, куда, кроме собственных профессоров, иходили еще представители ЦИК СССР и ЦК партии. В среднем и год все ИКП выпускали до 300-400 человек (в 1946 г. вместо ИКП была создана единая Академия общественных наук ЦК КПСС с разными отделениями).

Преподаавательский состав ИКП набирался из самых высококвалифицированных ученых, какими только располагала

страна, безразлично партийные они или беспартийные. Разумеется, все эти профессора — партийные и беспартийные заседании Оргбюро ЦК утверждались на тщательной проверки (партийных через парткомы беспартийных через университеты и НКВД). Из беспартийных ученых сбольшими именами в разное время преподавали в ИКП; Деборин (в 1930 г. он был без кандидатского стажа принят в партию специальным решением ЦК, хотя потом оказался в опале, но арестован не был, умер после войны, его сын Г. А. Деборин сейчас видный идеолог ЦК), Рожков, Рубин, Громан, Л. Аксельрод (все бывшие активные меньшевики), Д. Розенберг (бывший член еврейского Бунда), Базаров (бывший левый большевик-антиленинец из группы Луначарского "Вперед"), Платонов (монархист), Греков, Тарле, Струве, Крачковский, Косминский, Бахрушин, Грацианский, Сергеев, Марр, Мешанинов, Преображенский и др.

Из виднейших партийных профессоров можно назвать: Бухарин, Покровский, Ярославский, Радек, Вышинский, Крыленко, Варга, Е. Пашуканис, Берман, В. Невский, Луначарский, В. Волгин, Фриче и др.

Из иностранных руководителей Коминтерна периодически лекции читали в ИКП: Эрколи-Тольятти, В. Пик, В. Коларов, Куусинен, Бела Кун, Страхов (русский псевдоним видного китайского коммуниста), Ленский (польский представитель в Коминтерне) и др. Из руководителей ЦК КПСС как докладчики-гости в ИКП выступали Сталин, Каганович, Калинин, Молотов, Криницкий, Стецкий и др.

Годы существования ИКП были годами ожесточенной внутрипартийной борьбы и многочисленных чисток партии. Вполне естественно, что слушатели ИКП участвовали в перипетиях этой борьбы самым активным образом. Я не стану здесь описывать бурные события, связанные с этой борьбой. Ограничусь перечислением имен тех студентов, которые стали потом известны либо как антисталинцы, либо как сталинцы. Антисталинцами выступали и потом были расстреляны: Стэн (член ЦКК), Карев (философ), Слепков, Астров (члены редакции органа ЦК журнала "Большевик", теперь "Коммунист"), Марецкий (был сотрудником ЦК), Краваль

(секретарь Бухарина), Бессонов (был дипломатом в Берлине), Мадьяр, Миф (были сотрудниками Коминтерна), Щацкин, Чемоданов (были руководителями КИМ — Коммунистического Интернационала молодежи), Ломинадзе (член ЦК) и др. В "школы Бухарина". это были люди из т. н. Известными сталинцами стали, но тем не менее были расстреляны во время ежовщины следующие слушатели ИКП: Стецкий (заведующий Агитпропом ЦК), Марьин (его заместитель), К. К. Бутаев, Таболов, Самурский, Михайлов, Варейкис (все потом были секретарями обкомов партии), Пашуканис, Берман, Кнорин, Ванаг, Пионтковский, Фридлянд, Дроздов (все потом были профессорами ИКП) и сотни других. Остались до конца верными Сталину и сыграли видную роль в ЦК (некоторые играют и сейчас) следующие слушатели ИКП: Щербаков (был секретарем ЦК, умер к концу войны), Вознесенский (был ка местителем Сталина, членом Политбюро, расстрелян в 1951 г.) Панкратова (была членом ЦК, умерла уже после смерти Сталина), Сидоров (был руководителем Института истории Академии наук СССР, умер после Сталина), Юдин (был послом в коммунистическом Китае, умер после Сталина), Абалин (был главным редактором журнала "Коммунист", умер после Сталина), Мехлис (был главным редактором газеты "Правда", потом министром СССР, умер накануне смерти Сталина) и др. Живут сейчас и являются видными деятелями партии — Минц, Константинов (члены Президиума Академии Наук СССР), Митин (редактор ж. "Вопросы философии"), Поспелов (редактор ж. "Вопросы истории КПСС", автор доклада Хрущева о Сталине), Сурков и Щипачев (руководители Союза писателей (ССР), Ильичев (быв. секретарь ЦК, сейчас заместитель министра иностранных дел), Пономарев, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК по иностранным компартиям, Пельше (сейчас член Политбюро ЦК), Суслов (член Политбюро, секретарь ЦК с 1946 г. и шеф-идеолог партии) и др.

Перейдем к академической жизни в ИКП. Здесь мое описание будет основано не на литературе (она мне сейчас пелоступна), а на моем личном опыте. Я учился в ИКП истории с перерывом: сначала на подготовительном отделении (в конце двадцатых годов директором ИКП истории был известный

Покровский, проректором по учебной части И. К. Луппол), а потом в 1934-1937 гг. в основном ИКП. ИКП истории имел следующие отделения: история СССР, история Запада (Европа и Северная Америка), Японо-китайское отделение и ближневосточное отделение (это отделение потом было передано в специальный институт в системе РАНИОН Академии наук СССР). Говоря об академической жизни ИКП, важно остановиться на следующих вопросах: 1) учебный процесс, 2) исследовательская работа, 3) практика. Учебные занятия происходили в двух формах: лекции и семинары.

IV. Лекции, семинары, литература

Учебная программа ИКП истории в основном сводилась к следующему — общая программа на первом курсе — лекции по философии (марксистской и немарксистской), лекции по политэкономии (марксистской и немарксисткой), лекции по истории социальных учений, лекции по истории партии и Коминтерна, лекции по технике, тактике и стратегии пролетарской революции, лекции по общей теории права и государства, курс историографии, курс источниковедения, курс лекций и семинары по церковно-славянскому языку и т. д. Со второго курса начиналась специализация по отделениям (факультетам): 1) отделение истории народов СССР (собственно русская история), 2) западное отделение (Европа и Америка) и 3) японо-китайское отделение.

Русское отделение готовило специалистов двух "профилей" — специалистов по истории древних и средних веков и специалистов по новой и новейшей истории России. Кроме того, студенты по СССР изучали один из иностранных языков (предпочтение отдавалось немецкому и французскому). Западное отделение в основном готовило специалистов по современной истории Германии, Франции, Англии и Америки. "Западники" должны были изучать государственно-политическую структуру, язык и специальную литературу соответствующей страны (для этого они находились в постоянном контакте с аппаратом Коминтерна, а также с советской заграничной дипломатической и торговой службой). Сказанное о "западниках" отно-

сится также и к "японцам" и "китайцам" (надо заметить, что иностранцев в ИКП не принимали, для них существовали специальные школы, о которых речь будет дальше). Распространенное мнение, что в Институтах красной профессуры изучали только марксистские науки, — ошибочно. "Чтобы бить и добить врага — надо его изучать" — постоянно напоминали нам. Поэтому слушателям ИКП были доступны такие источники литературы, за пользование которыми обыкновенный беспартийный студент из обыкновенного университета попал бы в концлагерь. Во-первых, сами профессора, которых называл, были людьми высокоосведомленными и столь же квалифицированными; во-вторых, мы имели доступ к секретным документам и к засекреченным иностранным книгам, журналам, газетам, даже к русским эмигрантским заграничным изданиям. Едва ли я ошибусь, если скажу, что около 90% всей рекомендованной литературы к семинарам принадлежало домарксистским, немарксистским и антимарксистским авторам, в числе которых были и виднейшие антисоветские авторы, такие как историк, кадет Милюков (Курс историографии, Очерки по истории русской культуры), как генерал Деникин (Очерки русской смуты) и др. Даже заграничные писания Л. Троцкого (хотя и не были рекомендованы) мог читать каждый студент в "Парткабинете" ИКП. (Работу "Моя жизнь" Троцкого в двух томах на русском языке впервые я читал в нашем Институте). Все выдающиеся профессора ИКП были беспартийные: академики Тарле, Струве, профессора Косминский, Преображенский, Бахрушин, Грацианский. Никто из них не был марксистом. Свое преподавание русской и западной истории каждый из них доводил только до конца 17 столетия, а начиная с 18 столетия, когда исторические события становятся актуальны для марксизма, читали уже красные профессора — Покровский, Ярославский, Панкратова, Минц, Пионтковский, Фридлянд, Лукин, Кнорин, Бубнов, Ванаг, Дроздов, Зоркий, Радек и др. Исключая первых четырех, все они были расстреляны во время ежовщины. Все лекции профессоров стенографировались и потом служили для студентов материалами-учебниками во время сдачи зачетов. Особенно живыми и критическими бывали теоретические семинары. Конечно, каждый из студентов должен был приме-

своем исследовательском докладе и выступлении марксистский метод, но само понимание этого метода истолковывалось довольно либерально, чтобы поощрять исследовательскую инициативу участников семинара. Если случалось серьезное столкновение между беспартийным профессором и студентами из-за марксистской или антимарксистской интерпретации того или иного исторического события, ЦК партии почти всегда становился на сторону профессора. В этой связи я вспоминаю случай, который у нас произошел в 1935 г. на семинаре профессора Преображенского по древней истории. Когда докладчик начал говорить, какую оценку давали Маркс и Энгельс Афинской классической демократии периода Перикла, профессор Преображенский его резко оборвал, "ссылаясь на них, вы просто позорите ваших учителей, ибо в вопросах древней истории ни Маркс, ни Энгельс не являются научными авторитетами". Этот случай обсуждался на общем партийном собрании ИКП. Преображенского обвинили "антимарксистской выходке". Собрание решило поставить перед ЦК вопрос о снятии Преображенского. Из ЦК ответили: "Мы хорошо знаем, что Преображенский буржуазный историк и снимем его только тогда, когда вы научитесь от него фактической истории и сможете его заменить, но ни одного дня раньше". Такая политика была сформулирована еще при Ленине: "учиться у буржуазных специалистов!" Из красных профессоров, кроме Покровского, выдающимися лекторами были Н. Ванаг, Пионтковский, Фридлянд, Лукин, Слуцкий, Дроздов и нынс здравствующий Исаак Израилевич Минц. Минц читал историю трех русских революций и одновременно был личным секретарем Сталина по редакции многотомной "Истории гражданской войны в СССР". Минц учил нас одновременно и технике редактирования партийной исторической литературы на примерах редакционной деятельности Сталина, как главного редактора названной работы. Он показывал нам на лекциях, например, фотокопии редакции Сталина первого тома "Истории" и с восхищением рассказывал, неподдельным как сталинский гений даже, казалось бы, в самых незначительных редакционных поправках. Из многочисленных мечаний Сталина мне запомнились только три: первый том "Истории" имел подзаголовок: "Подготовление пролетарской революции". Сталин его исправил так: "Подготовка Великой пролетарской революции". Последний русский царь везде в тексте упоминался лишь под своим именем "Николай", без гитула, чтобы этим подчеркнуть его ничтожество. Сталин тут же на полях сделал замечание: "Николай — это не ваш дядя, поэтому надо писать "царь Николай II"! Третье замечание, которое запомнилось мне, касалось позиции Мартова и Троцкого во время первой мировой войны. В тексте было сказано, что по время этой войны среди меньшевиков "Мартов стоял налево и псвее него стоял Троцкий". В отношении Троцкого Сталин эту фразу исправил так: "и чуточку левее стоял Троцкий".

Позволю себе здесь сделать маленькое отступление. После войны, во время похода против "космополитов" и "низкопоклонников" (ждановщина) И. Минц чуть не был арестован. Его обвинили именно в "космополитизме" и "низкопоклонстве" перед Западом (эта чистка имела явно выраженный антисемитский характер). Минц храбро защищался и написал в журнале "Вопросы истории" (№1, 1949) длинную статью "Ленин и развитие исторической науки", в которой доказывал, что к истории надо подходить не с точки зрения национализма, а с ченинских классовых позиций. На эту статью ответил коллега Минца — Сидоров в том же журнале (№12, 1949) столь же ллинной статьей, но с многозначительным названием "Сталин и советская историческая наука". Автор легко доказал Минцу, что последнее слово в исторической науке — это не Ленин, а Сталин, империализм которого Сидоров назвал "советским" и "русским" иптриотизмом.

Когда в 1960 г. я встретил моего бывшего учителя академика Минца на IX Международном конгрессе историков в Стоктольме (советскую делегацию возглавлял там тот же Сидоров), я инпомнил ему эту дискуссию, добавив, что в свете разоблачения Сталина марксистко-ленинская правда, кажется, была на его, Минца, стороне. Минц хладнокровно ответил мне цитатой из Пушкина: —"Оставьте: это спор славян между собою!" Я ничего пе ответил, но про себя подумал: Сталин — грузин, Минц — спрей, а Сидоров — русский, какой же это "спор славян между собою"?

Из иностранных профессоров особенно сильное впечатление на нас производил член Президиума Коминтерна Эрколи (Тольятти), лидер итальянских коммунистов. Это впечатление одинаково относилось как к его внешности, так и к содержанию его лекций. Типичный южанин, брюнет с пронизывающим взглядом карих глаз и с небольшими усиками, в ярком галстуке (мы по примеру Сталина галстуков"принципиально" не носили), в первоклассном костюме итальянского покроя, причем почти каждый раз эмигрант Тольятти приходил в новом костюме, тогда как мы, "красные профессора", не имели больше одного или двух плохих костюмов. Тольятти как бы на собственном примере демонстрировал перед нами превосходство капитализма над социализмом. Его курс лекций назывался "Тактика и стратегия Коминтерна". Читал он по-русски грамматически безупречно, но с мягким мелодичным итальянским акцентом. У нас читали лекции и другие руководители Коминтерна — венгр Варга, болгарин Коларов, поляк Ленский и друге. Но и по подходу к своему предмету, я бы даже сказал и по методологии, выгодно отличался от всех названных коллег по Коминтерну. Прежде всего для Тольятти никакого "табу" в политике не существовало. Он касался и таких вопросов тактики и стратегии Коминтерна, по которым не принято было говорить, пока по ним не высказался сам Сталин. Я хорошо запомнил некоторые из его высказываний об условиях подпольной работы иностранных компартий и допустимости тимости участия коммунистов в нацистских и фашистских организациях. Он говорил, что немецкие и итальянские коммунисты должны активно участвовать не только в работе профсоюзов Германии (Arbeitsfront) и Италии (Профсоюзная корпорация), но и в нацистской и фашистской партиях, чтобы изнутри подготовить их будущий взрыв и одновременно осведомлять Коминтерн об их работе (я ничуть не удивился, когда после второй мировой войны узнал, что знаменитый советский шпион в Германии и Японии Зорге был одновременно и членом Коммунистической партии Советского Союза и членом Национал-социалистской партии Гитлера); другой пример: в июле 1969 г. в Германии был суд над немецким миллионером Порст, который, оказывается, был членом западно-германской буржуазно-либе-

ральной партии FDP и одновременно состоял членом SED партии Ульбрихта, которую он систематически осведомлял, что делалось в руководстве FDP. Соотечественник великого флорентийца — Макиавелли — Тольятти открыто нам излагал то, что Ленин проповедовал более или менее завуалированно ("Детская болезнь "левизны" в коммунизме", 1920), а Сталин не очень завуалированно делал через советскую разведку. Не удивился я также и тому, что основоположником и теоретическим обоснователем новой доктрины коммунизма о "плюрализме", о разных путях как к власти, так и к социализму, явился именно Тольятти. Не только его академический блеск, но и широта и свобода его взглядов в империи Сталина были для нас полным откровполне понимаю, что итальянские коммунисты. прошедшие через школу Тольятти, являются кем угодно, только не догматиками.

В отношении пользования заграничной политической литературой и внутренней информацией преподаватели (партийные) и слушатели были приравнены к работниками ЦК партии. Так, например, наш ИКП истории регулярно получал из ЦК два очень важных для нашей текущей политической ориентации до кумента: "Стенографические отчеты пленумов ЦК" (которые никогда не публиковались) и "Бюллетень иностранной печати", изданный в типографии ЦК для ограниченного числа лиц. "Бюллетень иностранной печати" (его редактором сначала был Карл Радек, а после его ареста жена Ем. Ярославского — Кирсанова) представлял из себя сборник переводных критических статей о Советском Союзе и о политике партии из разных английских, французских, немецких, американских, японских и других газет и журналов. Статьи, как бы критически они ни были, давались в буквальном переводе без комментариев (только самим органам печати и авторам статей давались краткие характеристики). Кроме того ЦК устраивал периодически собрания для академического партийного актива (в ИКП и Коммунистической академии), чтобы рассказать ему о международном положении и мотивах текущей советской иностранной политики. В последний год учебы слушатели много работали в архивах по своей специальности. Специализируясь по 19-20 векам истории России, я работал одновременно в следующих архивах: в

Военно-историческом архиве (весь архив Николая II находится там, и я читал его с великим увлечением), в архиве Октябрьской революции и в архиве Института Маркса, Энгельса, Ленина (теперь Институт марксизма-ленинизма ЦК КПСС). В каждом из этих архивов есть секретные фонды, которыми можно пользоваться по специальному разрешению. Причем есть документы, которые вы можете читать, но на которые вы не можете ссылаться в своих работах, пока с них не будет снята их сектретность (например, в Институте марксизма-ленинизма некоторые партийные документы были объявлены секретными на 10-15 лет, многие из этих документов однако остаются секретными и до сих пор, особенно протоколы пленумов ЦК). Практика студентов ИКП сводилась к тому, что они вне института выполняли две функции — одну академическую (вели семинары в Московских вузах) и пропагандистскую — являлись нештатными членами пропагандистских групп ЦК, Московского областного и городского комитетов партии (главным образом, как докладчики или как руководители партийных школ на разных предприятиях и в учреждениях). Все что сказано об ИКП истории в отношении принципов и методов обучения относится и ко всем другим девяти ИКП. Может быть, надо добавить несколько слов об Институте Красной Профессуры мировой политики и мирового хозяйства. В этом ИКП тоже учились только советские граждание. Как показывает само его название, ИКП мировой политики и мирового хозяйства (руководитель вышеназванный, уже ставший советским гражданином Е. Варга) готовил советские кадры специалистов политики и экономики не только для советских вузов, но и для заграничной работы по линии министерства иностранных дел, министерства внешней торговли и Коминтерна. Соответственная его программа предусматривала и вопросы, связанные как с работой Коминтерна, так и с работой советских заграничных учреждений, в том числе и советской разведки за границей (окончившие ИКП, если они направлялись заграничную политическую работу, обычно мандаты под вымышленными именами чиновников советских торговых агентств за границей).

В 1938 г. вместо Институтов Красной профессуры была создана новая единая высшая школа под новым названием. В

постановлении ЦК партии от 14 ноября 1938 г. об этой школе сказано: "Организовать' Высшую школу марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) с трехгодичным курсом обучения для подготовки высококвалифицированных теоретических кадров партии" (КПСС в резолюциях, ч. II, стр. 872, 1953). Однако опыт показал, что одностороннее изучение одних произведений основоположников марксизма-ленинизма цели не достигает. Поэтому пришлось вернуться обратно к старой программе и к методам обучения ИКП. Так возникла в 1946 г. существующая и поныне Академия общественных наук при ЦК КПСС с трехгодичным сроком обучения. В Академию принимаются члены КПСС с партийным стажем не менее пяти лет (возраст до 35 лет), имеющие опыт ответственной партийной или советской работы не менее трех лет и законченное высшее образование. К конкурсным экзаменам в Академию допускаются только лица, рекомендованные ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии и прошедшие через Мандатную комиссию ЦК КПСС. Процедура прохождения через эту комиссию и характер нужной документации те же, что и при приеме в ИКП. На 1-ом курсе Академии — следующие кафедры: история (специальности: история партии и партийное строительство); экономические науки (специальности: общие проблемы политической экономии, экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, мировая экономика); философия (специальности: диалектический и исторический материализм, критика современной буржуазной философии и социологии); научный коммунизм (это новая дисциплина вместо старого "научного социализма"); история советского общества; история международного коммунистического и национально-освободительного движения; литературоведение, искусствознание и журналистика; институт научного атеизма (ж. "Коммунист", №5, стр. 128, 1968 г.). Как в свое время ИКП, Академия общественных наук ЦК КПСС готовит кадры как для учебных и ученых заведений СССР, так и для отдела пропаганды ЦК и Международного отдела ЦК. Есть ли в Академии отделение для иностранцев-коммунистов трудно сказать, но поскольку известно, что такие отделения имеются для коммунистов из стран "народных демократий" в Высшей Партийной школе при ЦК, а

также в Военной Академии имени Фрунзе и Академии Генерального штаба. Советской армии, то вполне вероятно, что и там есть отделение для коммунистов, но только для коммунистов из коммунистических стран.

V Подготовка иностранных коммунистических кадров

Русская коммунистическая революция никогда ни при Ленине, ни при Сталине не рассматривала себя как лишь национальный акт или как самоцель. Даже Сталин, которого, в отличие от Гроцкого (проповедника "перманентной революции"), считали чуть ли не "национал-коммунистом" ("теория социализма в одной стране") писал: "Победа социализма в одной стране не есть самодовлеющая задача. Революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата во всех странах" (Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 102). Поэтому на советские деньги был создан и на советском содержании существовал Коминтерн. На VIII съезде партии в 1919 г. ЦК была дана директива: "РКП всеми силами и средствами будет бороться за осуществление великих задач III Интернационала (Коминтерн) и поручает ЦК оказать самую мощную всестороннюю поддержку организации и деятельности III Интернационала" (КПСС в рез., ч. 1, стр. 430). Одним из видов такой поддержки и было создание в Москве четырех коммунистических школ для подготовки иностранных коммунистических кадров:

- 1. В 1921 г. по предложению тогдашнего наркома по делам национальностей И. Сталина был создан Коммунистический Университет Трудящихся Востока им. Сталина (КУТВ) (с двумя отделениями одно для коммунистов советского Востока, другое для иностранных коммунистов из Азии и Африки);
- 2. В том же 1921 г. был создан Коммунистический Университет Национальных Меньшинств Запада им. Мархлевского (КУНМЗ) для коммунистов Польши, Чехословакии и балканских стран;

- 3. Был создан в 1925 г. "Университет имени Сун Ят-сена" для корейцев, индокитайцев, но главным образом для китайцев-гоминдановцев (с 1923 г. КПК входила в состав Гоминдана) (между прочим, в этом Университете учились сыновья Чан Кайши и Фын Юй-сяна).
- 4. Были созданы в тридцатых годах так называемые международные "Ленинские курсы" с годичным сроком обучения для высшего кадрового состава компартий из главных западных стран (туда принимали только секретарей обкомов и членов ЦК). Все эти школы были созданы в Москве. Их слушатели пользовались большими привилегиями, чем студенты советских университетов (благоустроенное общежитие, повышенные стипендии, хорошее медицинское обслуживание и т. д.). Их преподавательский состав набирался из выдающихся советских профессоров и иностранных руководителей Коминтерна.

То, что Сталин говорил 18 мая 1925 г. в своем докладе о задачах КУТВ, относилось в принципе ко всем перечисленным школам. Сталин сказал: "В Университете народов Востока имеется около десяти резличных групп слушателей, пришедших к нам из колониальных и зависимых стран. Всем известно, что товарищи эти жаждут света и знания. Задача Университета народов Востока состоит в том, чтобы выковать из них настоящих революционеров, вооруженных теорией ленинизма, снабженных практическим опытом ленинизма и способных выполнить очередные задачи освободительного движения колоний и зависимых стран не за страх, а за совесть". (Сталин. Соч., т. 7, стр. 150-151).

Программы школ для иностранных коммунистов строились в точном соответствии с задачами Коминтерна и советского правительства в том или ином районе. Общетеоретические дисциплины по марксизму-ленинизму здесь были те же, что и в советских кадровых школах, что же касается практических дисциплин, то они строились и преподавались различно для различного состава слушателей: для западных студентов ведущими практическими дисциплинами были техника и методы, тактика и стратегия пролетарской революции на Западе; для восточных студентов — техника и методы, тактика и стратегия

колониальных, национально-освободительных войн, против империализма, заключая временные союзы с национальной буржуазией, но стараясь сохранить руководство движением за коммунистами.

Студенты иностранных школ мало общались с советскими гражданами. Не поощрялись также их браки с советскими подданными. Практическая работа иностранных коммунистов заключалась в том, что их периодически посылали в свои страны на подпольную работу по заданию соответствующих секторов или отделов Исполкома Коминтерна. От степени или умения выполнения задания зависела не только академическая, но и политическая карьера студента в своей отечественной партии. Если коммунист-иностранец принимал советское гражданство, то он через соответствующую процедуру зачислялся в члены КПСС с укзанием его стажа как в заграничной компартии, так и в КПСС. Надо заметить, что многие иностранные коммунисты из этого числа были уничтожены в СССР во время Великой Чистки 1936-1938 г.г. как иностранные "шпионы".

Оглядываясь назад на работу, проделанную ЦК КПСС и его Коминтерном за границей, надо констатировать, что советские усилия и советские деньги по подготовке заграничных коммунистических кадров вполне себя оправдали. Через эти школы или "Ленинские курсы" прошли в разное время многие из руководящих кадров компартий стран, которые после второй мировой войны стали коммунистическими, такие видные потом коммунисты, как Тито (Югославия), Георгиу-Деж (Румыния), Ульбрихт (Германия), Хо Ши мин (Индокитай), Лю Шао-ци (Китай) и др. Кроме того, советская военная Академия тоже готовила военно-политических руководителей из коммунистов (там училась группа китайских коммунистов, из Кореи, учился нынешний руководитель КНДР Ким Ир Сен, из Индокитая соратник Хо Ши мина — Le Hong Phong, расстрелянный в 1940 г.). После войны подготовка иностранных кадров коммунистов и некоммунистов — из Азии и Африки сосредоточена в Московском университете имени Лумумбы, в Африканско-азиатских Институтах в Ташкенте (Узбекистан) и Баку (Азербайджан). Коммунисты западных стран учатся в нормальных советских школах. Теперь нет единого центра подготовки и обучения мировых коммунистических кадров. Плюрализм в мировом коммунизме привел и к плюрализму партийных школ. Иностранные коммунисты-студенты имеют теперь широкий выбор: Москва, Пекин, Белград, Гавана. Причем такие богатые компартии, как итальянская и французская, открыли свои собственные партийные школы.

VI. Подготовка аппаратчиков партии

Если вы возьмете список элиты КПСС, список членов и кандидатов ЦК КПСС, членов ЦРК, а также список всех секретарей обкомов, крайкомов и центральных комитетов союзных республик (их более 700 человек, считая по пяти секретарей в комитете). прибавив еше список руководителей советских ствующих исполкомов, TO при изучении биографий вы установите, что они буквально все прошли через две школы — через нормальную высшую школу (техника, педагогика, агрономия, общественные науки) и дополнительно через специальную школу — через высшую партийную школу ЦК КПСС. В отличие от ИКП и Академии общественных наук при ЦК эта высшая партийная школа готовит не теоретиков и идеологов, а практиков-мастеров власти.

Впервые высшая партийная школа ЦК по подготовке и переподготовке руководящих партаппаратчиков была создана в середине двадцатых годов. Называлась она сначала "Курсы марксизма при ЦК", потом "Курсы марксизма-ленинизма при ЦК". Курсы эти были двухгодичные и туда принимались только партийные и советские руководители областей, краев и республик. На этих курсах было также редакторское отделение (для переподготовки областных и республиканских редакторов газет и издательств). На этом отделении учился и я, в 1933-1934. Я был оттуда в 1934 г. переведен в ИКП, который окончил в 1937 г.).

В 1946 г. вместо этих курсов была создана "Высшая партийная школа ЦК". В постановлении ЦК от 2 августа 1946 г. об этой школе сказано: "Иметь при ЦК партии Высшую партийную школу с трехгодичным сроком обучения для подготовки руковолящих партийных и советских работников областного, краевого и республиканского масштаба. В составе школы создать два факультета: партийный и советский. На партийном факультете

отделения: организационно-партийных работников, пропагандистских работников, редакторов газет" (КПСС в рез., ч. II, стр. 1020). В школу принимают в возрасте не старше 40 лет, с партстажем не менее пяти лет. Кроме того при этой школе созданы девятимесячные курсы для переподготовки секретарей и заведующих отделами обкомов, крайкомов, центральных комитетов союзных республик, председателей и заведующих отделами исполкомов Советов названных административных единиц, а также редакторов их газет. В постановлении сказано, что как в школу, так и на девятимесячные курсы принимаются только перечисленных руководящие работники выше Контингент слушателей Высшей партийной школы был установлен на каждом курсе 300 человек, а контингент девятимесячных курсов — 600 человек. При школе созданы кафедры: история КПСС, история СССР, всеобщая история (западная история), политическая экономия, экономическая и политическая география, диалектический и исторический материализм, международные отношения, русский язык и литература, советская экономика, партийное строительство, государственное право и советское строительство, журналистика, иностранные языки. Ведущими дисциплинами школы являются: 1) курс как руководить партией (партийное строительство), 2) курс как руководить государством (советское строительство) и 3) курс как руководить экономикой (практика руководства отраслями народного хозяйства). Лекции по этим трем курсам читают заведующие отделами ЦК партии, соответствующие министры СССР и члены Госплана СССР. Я слушал некоторые из таких лекций на курсах марксизма-ленинизма при ЦК. Я бы их назвал не лекциями, а подробнейшими инструкциями, как управлять партией и государством.

Высшая партийная школа ЦК сейчас значительно расширена. В ней существуют отделения с двухгодичным, трехгодичным и четырехгодичным сроком обучения. Кроме того создана при ней же и "Заочная высшая партийная школа" с трехгодичным и пятигодичным сроком обучения. Даже в "Заочную высшую партийную школу" не может попасть рядовой коммунист, хотя бы он и имел высшее образование. Непременным условием принятия и в заочную школу является принадлежность

к элите партии. В официальных условиях приема сказано, что и в нее принимаются только лица "из числа руководящих работников республиканских, краевых и областных партийных и советских органов" (ж. "Коммунист", №6, 1968, стр. 128).

Для подготовки кадров среднего звена партии (секретарей райкомов, горкомов партии, заведующих их отделами, советских руководителей и редакторов газет этого уровня) созданы межобластные и межреспубликанские Высшие партийные школы в крупных центрах страны. Кроме того, начиная с 1967 г. на базе ВПШ ЦК созданы и постоянно действующие курсы с месячным сроком обучения для секретарей обкомов, крайкомов, ЦК республик, их советских руководителей. Такие же курсы созданы в областях и республиках для секретарей первичных партори заведующих отделами райкомов, горкомов, заместителей председателей райисполкомов и горсоветов, а также их редакторов (ж. "Партийная жизнь", №22, 1967, стр. 57). Словом, вся иерархия власти сверху до низу обеспечена постоянно действующей учебно-инструкторской сетью школ и курсов, где не только готовят новые кадры, но и производят перманентное промывание мозгов старым кадрам.

В Высшую партийную школу ЦК КПСС иностранных коммунистов не принимают, кроме коммунистов стран "народных демократий". Для последних создано специальное отделение. По иронии судьбы, как раз это отделение и окончил знаменитый теперь Александр Дубчек.

А. Авторханов

Прим. ред. Статья была уже сдана в набор, когда автор сообщил редакции о новом постановлении ЦК КПСС "по совершенствованию подготовки кадров в высших партийных учебных заведениях", опубликованном в журнале "Партийная жизнь" №7,апрель 78 г. В нем в частности говорится: "В соответствии с положениями и задачами, выдвинутыми в Отчетном локладе ЦК КПСС XXV съезду партии, и в целях обеспечения систематической подготовки руководящих кадров высокой квалификации для центральных, республиканских, краевых и областных партийных и государственных органов, идеологических учреждений и организаций Центральный Комитет КПСС решил создать на базе ВПШ, АОН и ЗВПШ при ЦК КПСС единос, качественно новое учебное заведение — Академию общественных наук при ЦК КПСС". И дальше: "На Акдемию возложено научно-методическое руководство республиканскими и межобластными высшими партийными школами, подготовка и издание научных трудов, учебников и учебных пособий, стенограмм лекций, читаемых в Академии, повышение квалификации преподавателей и научных работников высших партийных школ..."

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ ЕГО РАЗВИТИЯ

ДОКЛАД М. В. ГАРДЕРА*

В одном я не могу согласиться с А. И. Солженицыным, — а именно, когда он утверждает, что мы находимся в 3-ей мировой войне. Мне кажется, что вот уже около восьми лет как началась пятая мировая война (или, вернее, 5-ый мировой конфликт, поскольку "война" является пароксизмальной стадией конфликта).

Это недоразумение зиждется на том, что с 1945 года по наши дни не всеми, увы, ощущаемый перманентный конфликт, навязанный советским правительством "некоммунистическому миру", уже два раза изменялся в своей морфологии. Иными словами, наподобие балканских войн начала столетия, настоящий мировой конфликт давно уже не соответствует, — несмотря на все утверждения советской пропаганды, — упрошенной схеме антагонизма между коммунистическим Востоком и либеральным Западом.

Посему, прежде чем перейти к основной теме моего доклада, мне кажется необходимым сказать о сущности упомянутого мной перманентного конфликта и проанализировать развитие и итоги его предыдущих фаз (или, как я говорю, 3-го и 4-го конфликтов).

^{*} Доклад, прочитанный 8.10.1977 г. на 29-м расширенном совещании журнала "Посев" во Франкфурте-на-Майне; опубликован в "Посеве" №12 за 1977 г.

ПЕРЕХОД ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ К ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ 1914 - 1917

Мое вступительное — и, в сущности, чисто условное — недоразумение с Александром Исаевичем не мешает мне полностью согласиться с его метким определением в "Августе четырнадцатого", по которому начало первой мировой войны совпало с какой-то переменой в знаках Зодиака. Так называемый "цивилизованный мир" переходил тогда, сам того не зная, из эры "классических войн", унаследованных из древнехристианского и рыцарского понятия о "Божьем суде", в эру "тотальной войны", отрицающую всякую трансценденцию и какие бы то ни было ограничения. Появились удушливые газы, были разработаны методы саботажа в тылах и в экономике противника, начались подводная война, воздушные налеты на мирное население и, наконец, подрывные политические действия, из коих самым крупным была засылка в Россию Ленина и его сотоварищей по инициативе германского Генерального штаба.

Последствием же было, как мы, увы, знаем, крушение Российского государства, уже подорванного Февральской революцией, и появление на его развалинах революционного генерального штаба, созданного большевиками под именем "Коминтерна".

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ

Приход к власти в России профессиональных революционеров-интернационалистов во главе с В. И. Лениным, создание "Коминтерна", располагающего во всех развитых странах открытыми и тайными сообщниками, открывает начало "стратегической эры", которую 30 лет спустя так называемая атомная революция вовсе не изменит, а лишь углубит. С этой эпохи все классические понятия о разграничениях между мирным и военным временами, между политиком и стратегом и, наконец, между политикой и стратегий теряют свое значение. В то же время в горнилище гражданской войны происходит курьезный синтез между революционной стратегией большевиков и клас-

сической военной стратегией, применяемой бывшими офицерами российского Генерального штаба, находящимися во главе Красной армии.

Эта новая всеобъемлющая стратегия является (по некогда данному мною определению) "искусством в навязывании своей истины всеми существующими способами" — политическими, психологическими, дипломатическими, экономическими и, в последнюю очередь, военными, стараясь в то же время помешать противнику первым применить свои вооруженные силы.

Как мы знаем, эта концепция получила свою окончательную форму после поражения Красной армии под Варшавой, когда Ленин и его соратники пришли к убеждению, что революцию нужно навязывать "другими способами", оставив вооруженную мощь в резерве с двойным заданием — с одной стороны, как способ "устрашения противника" (современное: dissuasion=Abschreckung), а с другой, как ultima ratio (крайнее средство — война).

Отметим, что вот уже скоро 60 лет, как существует эта всеобъемлющая стратегия, — в которой "военная стратегия" является лишь одной и неотъемлемой составной частью, — и что за столь долгий срок мало кто на Западе полностью осознал ее сущность.

Правда, сами большевики никогда не давали ей определения, хотя и создали для ее проведения настоящий генеральный штаб — в виде Коминтерна, при Сталине передав его функции Секретариату ЦК.

Но главные две причины непонимания этого феномена на Западе следующие: во-первых, привычка думать в классических категориях, благодаря которой всеобъемлющую стратегию продолжают называть "политикой", а во-вторых, нежелание постичь диалектический метод ее применения.

Если можно так выразиться, она слишком "военная" для штатских и слишком "штатская" для военных.

ВНЕДРЕНИЕ АТОМНОГО ФАКТОРА ВО ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ СТРАТЕГИЮ

Как мы уже говорили выше, появление атомного фактора в

августе 1945 года не изменило сущности всеобъемлющей стратегии, а лишь углубило и завершило ее.

Не нужно забывать, что в первый период (1945-1949) того, что я называю "3-м мировым конфликтом", Советский Союз не располагал ядерным оружием и, боясь нападения со стороны США, старался "разубедить" потенциального противника традиционными способами: 1) психо-политическими — пропагандой за мир и за запрещение атомного оружия, разоблачением американского империализма и т. п., и 2) военными — крупными классическими вооруженными силами.

Затем, внедрив в свой арсенал сперва ядерное (1949), а затем термоядерное (1953) оружие, кремлевские стратеги тем самым бесконечно усилили "разубедительный" аспект своих вооруженных сил. Но в то же время аспект "ultima ratio" оказался менее правдоподобным не только у СССР, но даже и у США. Таким образом, утверждение Клаузевица о том, что "война является продолжением политики иными средствами", явно устарело. Можно даже сказать, что война, эта последняя пароксизмальная сталия перманентного конфликта, превратилась в катастрофу, которую необходимо избежать какой бы то ни было ценой.

ТРЕТИЙ МИРОВОЙ КОНФЛИКТ: 1945-1963

Вопреки общепринятым понятиям, конфликт этот начался не после, а до конца второй мировой войны, — а именно во время Ялтинских переговоров, когда Сталин, играя на наивности Рузвельта и недальновидности Черчилля, добился выгодных исходных позиций для своего "неизбежного" столкновения с временными союзниками.

Этот третий конфликт можно разделить на три части.

1-ая, или "сталинская", часть длилась восемь лет: 1945-1953.

Пользуясь слабоумием противника Сталин включил в свою новую империю ряд восточноевропейских стран. Создавшуюся угрозу на Западе осознали лишь в 1948 году, что привело — после пражского "путча" и берлинской блокады — к объединению западных держав в рамках Атлантического пакта. Этот жест самозащиты был немедленно представлен советской про-

пагандой как "попытка агрессии против социалистических стран". Таким образом оказалось, что "западные империалисты ведут холодную войну", тогда как с коммунистической стороны идет "борьба за мир".

В этой "миролюбивой борьбе" главный удар всеобъемлющей советской стратегии был направлен на Западную Европу и Северную Америку, тогда как диверсии проводились в Греции и на Ближнем Востоке. Обе эти диверсии окончились крахом. Первая — из-за "измены титовской Югославии", а вторая — изза прозападной ориентации Израильского государства, на которое Сталин серьезно делал ставку. В Москве реагировали сперва "антититовской" и затем "антикосмополитической" кампаниями. Отметим, что последняя отнюдь не привела к сближению с арабскими странами и что даже в 1952 году, после египетской революции, Сталин не пожелал оказать ни малейшей помощи "египетским фашистам".

Тем временем, в октябре 1949 года, Китай стал союзником СССР, и конфликт вылился в следующую упрощенную формулу:

$$P + C + K \rightarrow A + E$$

где P = СССР; С=сателлиты; К= Китай; A = США; E = некоммунистическая Европа.

В 1950 году Сталин прибегает к корейской диверсии в надежде раздробить единство Западного мира. Операция эта не удается и вскоре приводит к очень опасной обстановке — на грани всеобщей войны. В Вашингтоне предпочитают не следовать мнению генерала Мак-Артура, сторонника применения атомного оружия, и корейская война затягивается до 1953 года, то есть до 2-ой части конфликта.

Эта 2-ая, или "послесталинская", часть длится около пяти лет: 1953-1958. Начавшись со смертью Сталина, она отмечена

- ожесточенной борьбой в Кремле, жертвами которой станут сначала Берия и ряд других чекистов (1953), а под конец (июнь 1957) антипартийная группа (Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов);
- выдвижением на первый план Китая, который, пользуясь кремлевским междуцарствием, получает от Москвы существенную помощь в области атомной технологии и навязывает, в

свою очередь, СССР новую стратегическую концепцию, направленную на Ближний Восток, Африку и Южную Америку (что приведет к Суэцкому кризису);

- развенчанием "культа личности" Сталина, или, если можно так выразиться, "посмертным богоубийством" со всеми его последствиями как внутренними, так и внешними (взрывами в Польше, ГДР и Венгрии);
- серией советских тактических отступлений (признание ФРГ и освобождение немецких пленных, уход из Австрии), приведших к необходимости психологического закрепления "империи" в виде Варшавского пакта.

Наконец, 3-я, или хрущевская, часть длится до августа 1963 года. Часть эта начинается с попытки вернуть Кремлю его прежнее полновластие над коммунистическим миром, что приводит к первым недоразумениям между Москвой и Пекином.

С точки зрения всеобъемлющей стратегии Хрущев поставил себе основной целью подрыв и крушение НАТО при помощи двойного маневра: продолжая, совместно с Китаем, наступление по всей зоне (Ближний Восток, Африка, Южная Америка — с января 1959 приход Кастро к власти на Кубе сильно облегчит эту часть наступления), он начинает добиваться в северном полушарии совещания глав "четырех великих" государств (США, Великобритании, Франции и СССР) с целью навязать противнику серию безвозвратных уступок. Для этого он сначала (в 1958 г. и в 1961 г.) использует Берлин, а затем (в 1962 г.) Кубу.

"Первая берлинская операция" начинается в ноябре 1958 года и, после благоприятного для Хрушева развития — встреча с президентом Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвид, триумфальная речь в ООН, удачная эксплуатация дела американского самолета У-2 1 мая 1960 г.

— кончается полным поражением. Хрущеву, приехавшему в Париж в полной уверенности, что ему удастся навязать Западу свою волю, пришлось вернуться домой без малейшего результата под злорадный аккомпанемент китайской пропаганды.

Хотя западным державам и не удалось — по незнанию правил всеобъемлющей стратегии — полностью использовать поражение Москвы, тем не менее можно сказать, что с этого

момента начался "закат" Н. С. Хрущева и постепенный переход советско-китайских отношений от внутренней ссоры к открытой вражде.

"Вторая берлинская операция" длится лишь три месяца — июнь, июль, август 1961 г.— и завершается "Берлинской стеной". Не добившись желаемого совещания на верхах, Хрущев оказался в трудном положении в своем собственном лагере ввиду открытого "бунта" Албании и подкопных действий Китая.

Формула конфликта изменяется и переходит в такой вид:

$$P + C \pm K \rightarrow A + E$$

Как известно, в то же время внутреннее положение Советского Союза ставит немало задач правящей олигархии, возглавляемой Н. С. Хрущевым. Тем не менее, в 1962 году он возобновляет свой северный маневр, используя на этот раз Кубу, куда посылает советские ракеты и войска. Это ему тем более необходимо, что "южный маневр" уже начинают срывать китайцы и что в Африке, после некоторых удач в 1960 году, СССР далеко не в выгодном положении. Кубинский маневр сперва развивается президент Кеннеди, не понимая "тонкостей" успешно, но замысла московских стратегов, использует всю мощь США, чтобы поставить Хрущева в отчаянное положение. Отметим, что с американской стороны предполагалось даже довести дело ло конца, т. е. высадиться на Кубе, свергнуть режим Кастро, овладеть советскими ракетами и отправить "домой" советских военнослужащих. Намерение это не было проведено в жизнь, так как в Вашингтоне побоялись, что подобный удар по советскому самолюбию приведет к падению Хрущева и к замене в Кремле "штатской власти" — "военной диктатурой".

Таким образом, операция закончилась для советской верхушки, с одной стороны, "стратегическим поражением", а с другой, "тактическим успехом" — поскольку режим Кастро был спасен.

В завершение этой операции, после долгих переговоров, 6 августа 1963 года подписаны московские соглашения о запрете некоторых ядерных испытаний и установлении прямого провода между Белым домом и Кремлем.

ЧЕТВЕРТЫЙ МИРОВОЙ КОНФЛИКТ: 1963-1969

Для китайских коммунистов московские соглашения были открытым доказательством измены, дошедшей до союза дефакто между СССР и США. На этом основании, отбросив "советских ревизионистов" в лагерь империалистов, Китай как бы объявил — в рамках вышеуказанной коммунистической всеобъемлющей стратегии — войну обеим "супердержавам" и их сподручным. Образовалась новая формула:

$$K \rightarrow (A \pm E) \mp (P \pm C)$$

Отметим тут следующее:

- Во-первых, возникает [†] между А и Е, поскольку с этого времени начинаются недоразумения между Вашингтоном и его европейскими союзниками, в первую голову с Францией генерала де Голля. Но плюс все же преобладает.
- Конечно, между скобками (A^{\pm} E) и (P^{\pm} C) преобладает минус, но все же китайский экстремизм и прочие факторы создают почву для некоторого, хотя и ограниченного, сближения и приведут к тому, что позже назовут "разрядкой".
- Наконец, минус появляется также между Р и С, главным образом из-за Румынии, которая во время кубинского кризиса тайно дала знать президенту Кеннеди, что в случае войны она будет считать себя нейтральной.

Перейдя в наступление, Китай стремится провести тройной маневр:

- На главном направлении, т. е. во всех развивающихся странах так называемого "Гретьего мира", он ведет массивное наступление с целью вытеснить советское и западное влияния и мобилизовать все "революционные национализмы" этих стран против СССР и США;
- внутри мирового коммунистического движения КПК призывает всех истинных коммунистов к созданию подлинных, революционных марксистско-ленинских партий и к безжалостной борьбе против московских ревизионистов-изменников;
- в группировках "противника", т. е. в скобках ($A \stackrel{+}{-} E$) ($P \stackrel{+}{-} C$), проводится косвенное действие через "истинных коммунистов" с целью восстановить западноевропейские страны про-

тив США и поднять на бунт против СССР восточноевропейские страны.

Возникает новая формула

$$K + H \rightarrow (A \pm E) \mp (P \pm C) \dots S$$

Формула эта обогащается новыми факторами: Н = революционные национализмы и Я = Япония. Япония отдает себе отчет в том, что "биполюсная" формула предыдущего конфликта изменилась и для нее возникли новые возможности стать великой державой — сначала в области экономики, а затем и в политической, и в военной областях.

Весь 1964 год китайское наступление проводится успешно. Встревоженные соратники Хрушева тайно входят даже в сношения с китайцами, дабы нашупать их условия "примирения". На это следует сухой ответ: "Избавьтесь от ревизиониста Хрушева — а там посмотрим!"

14 октября 1964 года происходит бесславное падение главы партии и правительства СССР Н. С. Хрущева и замена его "единовластия" коллективным руководством.

В Пекине надеются вернуть "московских товарищей" на путь ортодоксального коммунизма, и Чжоу Энь-лай отправляется для этого в Москву, где выясняет, что наследники ничем не лучше ревизиониста. Конфликт возобновляется, и в конце 1964 года в Пекине уже предполагают создать "Объединение революционных наций" с Северной Кореей, Северным Вьетнамом и Индонезией (которая под влиянием Китая покидает ООН). Но, начиная с первых месяцев 1965 года, китайское наступление захлебывается на всех трех направлениях и к концу года оказывается на грани провала.

В так называемом "Гретьем мире" революционные националисты разочарованы китайцами из-за скудости их материальной помощи и, главное, из-за скромности их реакций на действия империалистов. Гак, например, они могли бы послать войска во Вьетнам, как некогда в Корею, или спасти индонезейских коммунистов от истребления в октябре 1965 года.

Внутри коммунистического движения процент "истинных

революционеров" оказался небольшим. Правда, крайне левые начали проявлять обещающую активность в США (Беркли), в Германии, в Италии и во Франции. Но в основном коммунистические партии при этом не ослабли.

Наконец, подрывная работа в западноевропейских странах и в сателлитах СССР осталась без результата.

Формула конфликта изменилась

$$K \pm H \rightarrow (A \pm E) \mp (P \pm C) \dots S$$

При этом между К и Н стал намечаться риск полного разрыва.

В начале 1966 года советским стратегам, наконец, удается, с помощью Фиделя Кастро и до некоторой степени алжирца Бумедьена, перехватить инициативу, воспользовавшись Трехконтинентальной конференцией в Гаване. Советское влияние усиливается в Южном Йемене и в Сомали. Черноморский флот выделяет постоянную эскадру в Средиземное море, где Египет и Алжир предоставляют ей свои порты.

В Пекине же тем временем назревает глубокий кризис, который вскоре разрешится кровавым хаосом "культурной революции". Лишь выдержка большинства военных кадров спасает Китай от окончательного расчленения. Казалось бы, настало время новых побед для советской стратегии, но 1967 год год пятидесятилетия революции — приносит правящей олигархии лишь одни неудачи. Достаточно напомнить некоторые из них: установление — против воли советского правительства — дипломатических отношений между Румынией и Германией, неудачный полет в космос полковника Комарова, поражение арабских стран в Шестидневной войне с Израилем, отказ Румынии порвать сношения с Израилем и, наконец, падение Новотного в Праге.

С начала 1968 года положение еще более ухудшается. В Чехословакии развивается процесс, который приведет к "гражданской войне"; в Польше усиливается брожение в университетах; в самом СССР "диссиденты" всех толков всё более открыто выступают против режима.

На счастье советской олигархии, все эти события совпадают, с одной стороны, с китайской "культурной революцией", а с другой, — с американскими трудностями во Вьетнаме. Таким образом, ни Пекин, ни Вашингтон не в состоянии использовать слабости Советского Союза — тем более, что в Америке готовятся при трудных обстоятельствах к выборам нового президента. Советскому правительству посему удается расправиться с "Пражской весной" в августе 1968 года, сделав сообщниками своей интервенции страны Варшавского пакта, за исключением Румынии...

ПЕРЕХОД ОТ 4-го К 5-ому МИРОВОМУ КОНФЛИКТУ

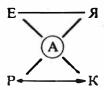
1969 год был важным, переломным годом, отмеченным следующими событиями:

- приход к власти новой американской администрации во главе с президентом Никсоном;
 - покушение на Л. И. Брежнева у Боровицких ворот; опасное развитие советско-китайского кризиса; отставка генерала де Голля во Франции; Ливийская революция;
 - смерть Хо Ши Мина и
 - начало советско-китайских переговоров.

Приход к власти новой американской администрации явился событием особой важности, поскольку Ричард Никсон оказался первым президентом, осознавшим сущность и правила всеобъемлющей стратегии. Под его руководством в Вашингтонс создается настоящий "генеральный штаб" для проведения этой стратегии и разрабатывается стратегический план, который впоследствии станет известен под именем "Никсоновской доктрины".

Главные черты этого плана следующие:

- 1. Обеспечить свободу действий США в первую очередь вывести американские войска из Вьетнама, опираясь на "вьетнамизацию", т.е. на усиление южновьетнамских войск.
- 2. Сделать США судьей мировой обстановки, используя для этого зависимость Западной Европы и Японии от американской военной мощи, а также советско-китайский кризис.
 - 3. Для этого создать два "треугольника" с единой вершиной:



В "треугольнике" союзников, т. е. А—Е—Я, подтвердить европейцам и японцам намерение США гарантировать их оборону против СССР или Китая при условии, что в области экономики они откажутся от "лишней" конкуренции с Америкой.

Чтобы создать другой треугольник, т. е. США—СССР—Китай, было необходимо наладить отношения с Пекином, что, как известно, потребовало более двух лет тайных переговоров. Затем оставалось лишь не допустить войну между "братскими державами", и, пользуясь слабостями коммунистической экономики, бросить "отряды американского бизнеса" на завоевание советского и китайского рынков.

Покушение на Л. И. Брежнева — спровоцированное или нет — имело два очень важных последствия: значительное усиление роли КГБ внутри советской системы и поднятие Брежнева над остальными членами "коллективного руководства". С этого в СССР начинается исключительно интересный процесс прогрессирующего захвата власти штабом госбезопасности, о чем будет речь далее.

Одновременно назревает и советско-китайский кризис, который в марте месяце доходит до кровавых событий на острове Даманском (река Уссури) и других пограничных участках.

Создается положение, пожалуй, еще более опасное, чем во время кубинского кризиса, поскольку на этот раз в Москве серьезно подумывают о применении ядерных средств против китайского атомного арсенала. Однако перед тем, как решиться на подобный шаг, необходимо было прошупать почву в Вашингтоне, где, как мы видели, план Никсона как раз предвидел использование советско-китайского конфликта. На тайный советский запрос с американской стороны последовал ответ "о недопустимости войны в Азии". Таким образом, советской олигархии пришлось отставить военный вариант и довольствоваться надеждой, что с исчезновением Мао в Китае произойдут благоприятные для СССР перемены.

Во Франции отставка генерала де Голля и замена его президентом Помпиду способствует возобновлению процесса объединения Европы, со включением и Великобритании, т. е. способствует проведению в жизнь американского плана.

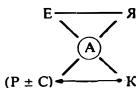
Зато ливийская революция и приход к власти полковника Каддафи безусловно осложняет положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке в тот момент, когда в Вашингтоне приступают — в рамках стратегического плана — к решению арабско-израильского конфликта.

Наконец, смерть Хо Ши Мина позволяет Северному Вьетнаму сыграть роль посредника между Косыгиным и Чжоу Эньлаем, приехавшим в Ханой на похороны. В результате оба соглашаются на открытие переговоров, которые начинаются 20 октября 1969 года в Пекине. Советская делегация во главе с В. Кузнецовым испытывает на себе в полной мере китайскую революционную диалектику.

Переход от формулы 4-го конфликта, то есть

$$K \pm H \rightarrow (A \pm E) \mp (P \pm C) \dots 9$$

к 5-ому конфликту, или



длится до начала 1972 года, т. е. до поездки в Пекин президента Никсона.

Гем временем происходят многие события, важнейшие из коих в 1970 году:

- усиление советской военной помощи Египту и Сирии, дошедшее до того, что к лету 1970 года Москва фактически правит обеими странами;
- гражданская война в Иордании, приведшая к разгрому палестинцев, к поражению сирийцев и к косвенному неуспеху СССР;
- смерть полковника Насера и замена его Садатом, которого все, включая советскую верхушку, недооценивают, тогда как он окажется крупным государственным деятелем;

начало китайского дипломатического наступления по инициативе Чжоу Энь-лая, которое приводит через год к принятию коммунистического Китая в ООН вместо Национального Китая;

- пересмотр в Кремле всей стратегии и переход на "брежневский" план;
- и, наконец, в декабре массовое брожение в Польше, приведшее к бесславному падению Гомулки и приходу к власти Герека.

А в 1971 году, помимо "исторического" XXIV съезда КПСС, нужно отметить:

- американско-китайское сближение, под прикрытием пингпонга, с тайным визитом Киссинджера в Пекин и официальным выступлением президента Никсона по этому вопросу 14 июля;
- советско-индийский договор и оказанная Индии военная помощь, которая способствует индийской победе над Пакистаном и созданию независимого государства Бангладеш;
- крупный внутренний кризис в Китае, приведший к смерти Липь Бяо и ликвидации его сторонников;
- начало ликвидации советского влияния в Египте и в Судане по инициативе Садата.

5-ый МИРОВОЙ КОНФЛИКТ

1972 год особенно удачен для президента Никсона и его правой руки — Киссинджера.

После их поездки в Китай срывается во Вьетнаме генеральное наступление коммунистических сил, обученных и вооруженных Советским Союзом. Президент Никсон приказывает возобновить бомбежку и минирование портов Северного Вьетнама. Москва не в состоянии помочь Ханою и, что хуже, Политбюро, удалив предвратительно Шелеста, решает все же принять президента США, хотя американские самолеты бомбят "братскую страну", убивая не только вьетнамцев, но и советских военнослужащих.

Советскому правительству до зарезу нужны капиталы и технология развитых капиталистических стран, в первую очередь США, и это важнее, чем интересы "братских" стран!

Гем временем, вопреки всем советским стараниям, Япония сближается с Китаем. А Садат "отправляет домой" большую часть советских военных советников.

В довершение всего Никсон торжественно переизбран в президенты и позволяет себе вновь "наказать" Северный Вьетнам перед окончательным договором с Ханоем.

В январе 1973 года, в своем обращении к стране, Никсон говорит о начале "мирной эры". Слово "мир" неоднократно повторяется в его речи, и действительно кажется, что начался не 5-ый конфликт, а "Американский мир" — "Рах americana"!

Но человек предполагает, а Бог располагает! Вскоре начинается дело "Уотергейт" и созданный Никсоном "генеральный штаб" разлетается на куски. Многие из сотрудников президента попадают под суд, а самому Никсону приходится вести безнадежный бой против Конгресса и американской общественности.

Тем временем в Кремле происходят изменения: в Политбюро входят маршал Гречко, Андропов и Громыко. Военные и чекисты как бы объединяются против тронутого разложением партаппарата. Во "всеобъемлющем стратегическом замысле" наблюдаются перебои. Не говоря уже о том, что трудно совместить необходимость получать помощь от "противника" с "наступательными" действиями против него, в Москве, по-видимому, не могут определить "главное направление". Хотя единственный настоящий противник СССР — Китай, главная группировка советских вооруженных сил все еще направлена на Запад; советская пропаганда по-прежнему громит империалистов; подрывные действия иностранного отдела госбезопасности в западных демократических государствах не прекращаются.

Но удар по "Американскому миру" нанесут не СССР и не Китай, а арабские страны по инициативе египетского президента Садата.

Нападение на израильские позиции в день "Кипура" 1973 года было неожиданностью не только для Иерусалима, но и для Вашингтона, и для Москвы. Хотя через некоторое время израильскому командованию удается перехватить инициативу и вновь одержать победу над арабами, "нефтяное оружие" дает арабским странам возможность шантажировать Японию и

европейские страны и поставить США в затруднительное положение.

И без того расшатанный вашингтонский "Генеральный штаб всеобъемлющей стратегии" имеет теперь дело не с двумя, а со многими треугольниками, причем Европа вновь разделилась, а Япония обнаружила свои слабости.

На счастье США, советское правительство не в состоянии использовать создавшееся положение, и лишь Китай ловко играет на всех "струнах", стараясь ополчить всех против Советского Союза.

В 1974 году положение не налаживается и запутанный 5-ый конфликт развивается, не поддаваясь, как предыдущие, упрошенным формулам.

Арабским странам, временно объединенным, удается мобилизовать с помощью Китая весь "Гретий мир" и добиться признания "палестинского фактора" в ООН. Лишь благодаря Кубе и Алжиру эта мобилизация не обернулась против СССР, что лишило Китай крупной победы.

Тем временем НАТО переживает опасный кризис, связанный с драматическими событиями на Кипре, с одной стороны, и португальской революцией, с другой. Лишь усилиями всех членов НАТО предотвращена война между Турцией и Грецией, но в Греции происходит политический переворот и она выходит из НАТО. Португалия же, находясь под угрозой захвата власти коммунистами, становится очень спорным союзником для Запала.

В довершение всего президенту Никсону в результате "Уотергейта" приходится покинуть Белый дом, передав правление США Джеральду Форду. Новый президент неспособен проводить настоящую всеобъемлющую стратегию, не располагая никаким "генеральным штабом". К тому же, не будучи избранным, он не обладает нужным авторитетом.

Все это плачевно сказывается в первой половине 1975 года. Несмотря на все старания, государственный секретарь Киссинджер не добивается никаких результатов на Ближнем Востоке. Тем временем Индия становится атомной державой, а в странах Индокитайского полуострова, т. е. во Вьетнаме, в

Камбодже и в Лаосе, коммунисты добиваются окончательной победы.

Американский престиж подорван. Многие обозреватели приписывают все эти поражения Вашингтона советской стратегии. На самом же деле это вовсе не так — советские стратеги были неспособны использовать, казалось бы, благоприятное для них положение.

Их единственным достижением была Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце июля в Хельсинки — причем выгоды для советской олигархии от подписанного Заключительного акта более, чем спорные.

АМЕРИКАНСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

С осени 1975 года наблюдается перемена в мировой обстановке, благодаря восстановлению в Белом доме сокращенного "генерального штаба" во главе с генералом Хейгом. Ему удалось, если и не полностью, то хотя бы частично, согласовать работу всех ведомств, необходимых для всеобъемлющей стратегии.

На Ближнем Востоке положение меняется в пользу США. Саудовская Аравия, Египет и Иордания открыто становятся на американскую сторону. К тому же в советских вооруженных силах выявляется кризис — восстание на эсминце "Сторожевом" в ноябре 1975 года.

Правда, благодаря кубинцам, советскому правительству удается в конце 1975 г. — начале 1976 г. помочь прокоммунистическому движению, возглавляемому "интеллектуалом" Нето, победить в Анголе и также усилить свое влияние в недавно ставшем независимым Мозамбике. После катастрофических последствий интервенции во Вьетнаме конгресс США не дает администрации Форда возможности прямого вмешательства в африканские дела. Впоследствии это невмешательство окажется благоприятным для интересов США и даже всего Запада, поскольку, разочаровавшись в советских "покровителях" и в кубинских "друзьях", многие начнут надеяться на американцев.

Так же благополучно для США развернулись события в Китае, где после смерти Мао Цзэ-дуна, в сентябре 1976 года,

победу одержала реалистическая тенденция Хуа Го-фэна и Дэн Сяо-пина.

Наконец, нужно отметить, что смена администрации в Вашингтоне после победы Картера над Фордом не имела особых последствий для мировой обстановки. Хотя стиль, вернее — тактика, новой администрации отличается от предыдущей, стратегия в основном осталась той же, имея целью восстановление и укрепление "Американского мира".

ПЕРВОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ИСТОРИИ?

Прежде чем перейти к анализу мировой обстановки осени 1977 года необходимо сказать о той, на мой взгляд, коренной перемене, которая происходит сейчас в СССР в связи с выдвижением аппарата госбезопасности на первое место в партократической системе.

Как мы это отметили ранее, процесс захвата власти чекистами начался в январе 1969 года. Сначала были отвоеваны позиции, утерянные после ликвидации Берии, а затем при Хрущеве, который систематически заменял "чекистов" партаппаратчиками на всех ответственных постах госбезопасности. Затем, с 1970 года, под предлогом борьбы против разложения партийного и государственного аппаратов некоторых республик (Азербайджан, Грузия и др.), органы добились от Брежнева систематической замены сомнительных чиновников "честными чекистами". Захватив в свои руки управление периферийных республик, КГБ в то же время усилил свой контроль над партийногосударственной верхушкой. Под негласную опеку органов были взяты все институты анализов и прогнозов (вроде известного Института мировой экономики и международных отношений), официально зависящих от Академии наук СССР, но на самом деле работающих на Секретариат ЦК. Так же были практически захвачены госбезопасностью Министерство иностранных дел и все советские представительства за границей (в ЮНЕСКО и др. международных учреждениях).

В апреле 1973 года, с введением Андропова в Политбюро и генерала госбезопасности Цвигуна в личную канцелярию Бреж-

нева, КГБ захватило практически ключевые позиции системы. На этом этапе власть практически перешла в руки временной коалиции "военных и чекистов", так как и генералитет в лице маршала Гречко вошел в Политбюро.

Но это "двоецарствие" длилось недолго: помимо смерти Гречко и болезни Якубовского (также позже скончавшегося), позиции военных были подорваны в конце 1975 г. — начале 1976 г. серией "скандалов", вроде восстания на "Сторожевом" или дезертирства Беленко. Можно быть уверенным, что и тут органы воспользовались случаем, чтобы "предложить свои услуги", и серьезно взялись за работу по очищению вооруженных сил от нежелательных элементов.

Последний этап начался в апреле 1976 года, когда Андропову было поручено произнести речь на праздновании 106-летия рождения Ленина. Этот этап как бы завершается в 1977 году, когда 60-летие Октябрьской революции совпадает со 100-летием рождения Дзержинского. Достаточно отметить, что празднование этого 100-летия началось уже весной, с выставки в честь "ЧК", и закончится лишь в декабре месяце!

Итак, мы присутствуем при исключительном событии, а именно — при захвате власти полицейским аппаратом: то, что не удалось ни Фуше при падении Наполеона, ни Гиммлеру в последние дни нацистской Германии, ни Берии после смерти Сталина, удается на наших глазах, если не лично Андропову, то головке КГБ.

Не знаю, окончательная это победа или нет, но мне кажется, что ни разложившийся партаппарат, ни обезглавленные вооруженные силы не в состоянии изменить положения.

Итак, перед нами впервые в истории настоящее "полицейское государство" или, вернее, "разведывательно-полицейское", поскольку КГБ — это слагаемое из разведки, контрразведки и политической полиции.

Но тут встает вопрос: может ли "инструмент" заменить голову и руку, которые им владели и управляли?

Пока "разведывательно-полицейский аппарат" использовался сильной властью, твердо намеренной навязать свою идею как внешнему миру, так и собственным подданным, он был основным и могучим средством всеобъемлющей стратегии. Теперь же, когда КГБ приходится делать вид, что марионеточная власть, во имя которой он правит, сильна, и пытаться, за неимением какой бы то ни было идеи, оживить мертвую тоталитарную систему, — больше уже нельзя говорить о какой-то последовательной всеобъемлющей стратегии.

"PAX AMERICANA" ИЛИ АПОКАЛИПСИС?

Отметив эту важную характеристику коммунистической системы в России наших дней, вернемся к сегодняшней мировой обстановке.

Как мы уже говорили, новая американская администрация продолжает, с легкими изменениями в тактике, проводить ту же стратегию, что и президент Никсон, то есть добиваться формулы

E A K

За последние годы "арабский полюс" расшепился, и его части вновь стали "объектами", а не "субъектами" мирового конфликта. Второстепенные "полюсы" — Европа и Япония — не в состоянии играть действительно независимую роль, и будущее зависит от треугольника A-P-K.

Мы знаем, чего желает A (т. е. США), целью которого является "Рах americana", иными словами — конец конфликта. Ни Р, ни К не могут с этим согласиться, но, конечно, реагируют на это каждый по-своему.

Для Kuman задача ясна, поскольку единственный враг — Poccun. Нужно ополчить против этого врага все остальные полюсы, т. е. добиться формулы

$$K + E + A + A \rightarrow P$$

Посему китайская всеобъемлющая стратегия последовательно добивается этой цели, с уверенностью, что рано или поздно России придется напасть на Китай или на Европу и погибнуть, восстановив против себя весь мир, — как некогда гитлеровская Германия.

Казалось бы, для CCCP единственным решением была бы формула

$P + E + \mathcal{A} + A \rightarrow K$

Но, как мы уже заметили, о последовательности советской стратегии больше говорить нельзя. Во-первых, для советской олигархии понятие "союзник" не существует, есть только "подчиненные" или "противники"; во-вторых, вот уже 14 лет, как в Москве не могут определить, кто основной противник — Китай или США?

Таким образом, сами же советские стратеги играют на руку Китаю, отбрасывая в лагерь противника Европу, Японию и даже США. Это создает очень опасное положение, поскольку срыв всеобъемлющей стратегии влечет за собой риск прямого применения силы — а, как мы знаем, СССР обладает могучими вооруженными силами.

Конечно, это не значит, что в Москве хладнокровно готовятся к "продолжению политики иными средствами". В наше время вряд ли найдется какой-нибудь ответственный политический деятель, — даже воспитанный в безумной большевистской системе, — который не осознаёт значения возможности ядерного апокалипсиса. Но это не исключает саму возможность.

ЛИНИЯ "ВЗРЫВЧАТЫХ ЗОН"

За последние годы от Японского моря до Прибалтики создалась серия взрычватых зон, как бы связанных между собой невидимым "Бикфордовым шнуром". Взрыв, происходящий в той или иной зоне, несет в себе риск начала необратимого процесса, ведущего к всеобщей войне.

С востока на запад зоны эти следующие:

- 1 Корея
- 2 советско-китайская граница
- 3 Индийский субконтинент
- 4 Персидский (или "Аравийский") залив
- 5 Ближний Восток
- 6 Балканы
- 7 Польша

l-ая зона — т. е. Корея — вероятно, наименее опасная из всех, потому что "взрыв" в ней, может быть, не перебросится автоматически на советско-китайскую границу.

2-ая зона — советско-китайская граница — конечно, очень (если не самая) опасная, и настоящие военные действия в этой зоне чреваты катастрофическими последствиями.

3-ья зона — Индийский субконтинент — опасен тем, что его три составные части — Индия, Пакистан и Бангладеш — связаны с великими державами и война здесь может привести к советско-китайскому столкновению (т. е. переброситься на 2-ую зону).

4-ая зона — Персидский (или "Аравийский") залив. В этой зоне постоянная трехсторонняя борьба между Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, не говоря об Объединенных эмиратах и Кувейте.

Благодаря нефти большинство этих стран создали себе огромные военные арсеналы (самолеты, танки и т. д.). Взрыв в этой зоне также, вероятно, перебросится на соседние — 3-ью и 5-ую — зоны.

5-ая зона — Ближний Восток — уже несколько раз пылала без последствий для всего мира (за исключением нефтяного эмбарго). Это все же не значит, что она неопасна, тем более, что после Каирского кризиса и потенциального турецко-греческого конфликта она связана теперь с 6-ой зоной.

6-ая зона — Балканы — вновь, как в начале столетия и в тридцатых годах, являются "пороховым погребом Европы". В данный момент наиболее опасным кажется "югославский вариант" в случае кончины маршала Тито. Взрыв в этой зоне может привести к столкновению между Варшавским пактом и НАТО, — не говоря про остальные зоны.

7-ая зона — Польша — уже два раза (в 1956 и 1970 гг.) была на грани взрыва. Вот уже более года — то есть с июня 1976 — как в Польше вновь создалось опасное положение, и Герек потерял большую часть своей популярности. В случае народного взрыва Москва будет принуждена вмешаться, что неизбежно приведет к настоящей войне, причем вряд ли советские войска ограничатся польской территорией.

Помимо этих "зон" существуют еще и теоретические потенциальные опасности в самом Советском Союзе и в Китае.

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО В КИТАЕ

Будущее развитие коммунистического Китая может, конечно, иметь влияние и на советско-китайские отношения, включая возможность войны.

Будущее это, в принципе, должно вместиться в следующие "ножницы":

- К1 сохранение, с небольшими изменениями, настоящего положения;
 - К3 генеральный хаос.

Между двумя крайностями:

- К2 новый дворцовый переворот с его разными вариантами.
- К1, конечно, не исключен. Это будет в той или иной форме продолжение прагматической линии Чжоу Энь-лая и Дэн Сяопина. На этот вариант рассчитывают в США и в Западной Европе из коммерческих и стратегических соображений. Предполагается, что "государственный капитализм" может с иностранной помощью избежать краха, а это пока не доказано.
- К2 со всеми его вариантами кажется самым вероятным, поскольку с 1949 года в Китае уже насчитывается 11 кризисов и не видно причин, почему эта "привычка" кончится. Среди подвариантов можно даже предвидеть крайне правый К 21, который приведет к объединению с Тайбеем, и крайне левый К23 с альтернативой: К 231 ультракоммунизм; К 232 гражданская война. В свою очередь К 232 может привести к К 3.
- К 3 обсолютно не фантастичен, так как во время "культурной революции" мы были на границе этого хаоса. При всех подвариантах К3 СССР будет вынужден прибегнуть к военной интервенции, так как невозможно допустить хаос и даже просто гражданскую войну в стране, обладающей атомным арсеналом.

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Предыдущий метод можно применить и к анализу будущего Советского Союза.

 $P \ l - coxранение настоящего - т. е.$ "разведывательно-полицейского" режима, при котором безболезненно произойдет за-

мена теперешней верхушки либо просто чекистами, либо угодными КГБ чиновниками. Дальнейшее развитие подвариантов Р 1 трудно себе представить, поскольку в истории нет прецедента "разведывательно-полицейского" режима. Лично нам этот вариант кажется маловероятным и во всяком случае обреченным на переход в Р 2.

 $P\ 2$ — дворцовая революция, спровоцированная либо одной фракцией КГБ против другой, либо аппаратчиками против КГБ, причем военные могут играть лишь роль "инструмента" в этих разных комбинациях, а не ведущую роль.

Подварианты Р 21, Р 22 и Р 23 предпочтительно определять не по их началу, а по результатам.

- $P\ 21$ дворцовая революция имеет приблизительно те же последствия, что и события в Чехословакии в декабре 1968 г., т.е. освобождает все живые силы страны и ведет к:
- Р 211 демократизации и федерализации страны со включением ее в общую федерацию евразийских стран;
 - Р 212 аналогичному процессу без расширения;
- Р 213 распаду страны на несколько государств, с риском гражданской войны.
- *Р 22* дворцовая революция приводит к власти "неомарксистов", которые пытаются восстановить в стране "ортодоксальный социализм":
- Р 221 появление новой сильной личности, возглавляющей что-то вроде "национал-коммунизма";
- Р 222 новое коллективное руководство, которое быстро придет в тот же тупик, что и настоящее;
- Р 223 попытка "оргинального советского ревизионизма", с риском гражданской войны.
- P~23 дворцовая революция приводит к расколу вооруженных сил и к гражданской войне, с риском иностранного вмешательства.

Подварианты можно здесь определить по-разному. Наконец же,

 $P\ 3$ — генеральный хаос, вытекающий прямо из $P\ 2$ или через некоторое время из $P\ 22$.

Здесь также можно определить подварианты по-разному. Но самое вероятное в этой апокалипсической возможности — это

вмешательство иностранных держав, так как подобно К 3 хаос наступит в стране, обладающей термоядерным арсеналом.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ?

Беглый обзор возможных перспектив будущего, который мы только что сделали, конечно, не дал нам ключа к познанию завтрашнего дня, но все же помог установить пределы этого познания с его "желательными" и катастрофическими крайностями.

Подобный метод необходим для всякого политического или военного деятеля, который желает избежать неожиданностей и быть всегда (по формуле французской Академии Генерального штаба) "en mesure de", т е. "в состоянии" реагировать на все обстоятельства.

Мы сейчас испытываем чувство неизбежности каких-то великих событий в скором будущем, и лично я думаю, что это чувство обоснованно. Но события эти не обязательно будут радостными, и если вернуться к тем угрожающим вопросительным знакам, которые ставятся и по поводу развития мировой обстановки в целом, и будушего России в особенности, то шансы счастливой развязки кажутся малыми. Остается лишь похристиански готовиться к этому будущему, то есть, проявляя волевую веру в благое провидение Всевышнего, быть всегда в состоянии включиться в процесс новых событий, дабы или содействовать благоприятным или бороться против неблагоприятных.

От редакции. Михаил Васильевич Гардер — автор многих книг и статей, быв. офицер ген. штаба французской армии и профессор французских академий, советник при франц. Институте Стратегических Вопросов и вице-председатель Центра по изучению западно-восточных отношений. М. В. — сын русского офицера-артиллериста. Мы перепечатываем статью М. В., считая ее исключительно ценной и заслуживающей самого широкого распространения.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПРОФЕССОР Н. С. АРСЕНЬЕВ

В воскресенье 18 декабря 1977, в окрестностях Нью-Йорка, тихо скончался во сне¹, на 90-ом году исключительно плодотворной жизни, Николай Сергеевич Арсеньев — крупный религиозный мыслитель, автор тридцати книг и сборников стихов, более двухсот статей, и один из последих профессоров, преподававших в русских университетах ещё до револющии.

Николай Сергеевич родился в 1888 году, 16 мая по старому стилю, в Швеции, в Стокгольме, где его отец, С. В. Арсеньев, был тогда первым с секретарём русской Миссии. Мать Н. С. Екатерина Васильевна, рождённая Шеншина. Н. С. был третьим ребёнком в семь. Большую роль в начальном воспитании Н. С. сыграла няня, немка, которая поступила к Арсеньевым молодой левушкой, и скончалась в их доме уже пожилой женщиной. О "Нанахен" Н. С. вспоминал в семейном кругу, со слезами на глазах, ещё незадолго до своей смерти. Благодаря ей все дети Арсеньевы в совершенстве говорили по-немецки; фактически, немецкий язык был для них первым.

От моей матери, которая была старшей сестрой Н. С., я не раз слышал, что педагогическое призвание Н. С. определилось очень рано. Толстенький, несколько неуклюжий, шестилетний мальчик с уверенностью зявлял, что хочет стать "профессором", когда его спрашивали, кем он хочет быть.

В 1905 г. Н. С. окончил среднюю школу и поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Он жил тогда на Садовой, в доме соего деда, почет-

Последние моменты жизни Н. С. описаны в моей заметке в газете "Новое Русское Слово", Нью-Йорк, от 30 декабря 1977.

ного опякуна и действительного тайного советника, В. С. Арсеньева. В своей прекрасной книге воспоминаний, "Дары и встречи жизненного пути", Н. С. красочно описывает патриархальный быт этого дома. Но, конечно, не меньший интерес для будущих историков представляют воспоминания Н. С. о Московском университете. Н. С. слушал там лекции: по истории у Ключевского и Виноградова; по психологии и философии у Лопатина, Попова и Челпанова; по русской Литературе у Сакулина, М. Н. Сперанского и Шамбинало; по истории итальянского искусства у М. Н. Рязанова; по испанской и итальянской литературе у Брауна. В то же время Н. С. посещал собрания "Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева", "Общества памяти кн. С. Н. Трубецкого" и "Кружка ищущих христианского просвещения".

Блестяще закончив курс учения и получив диплом первой степени, Н. С. едет в 1910 г. в Германию, где слушает лекции в мюнхенском, фрейбургском и берлинском университетах. Зимой 1912 г. он сдает магистерские экзамены при Московском университете. Там же он оставлен при кафедре западно-европейской литературы.

Когда в 1914 году начинается война, Н. С. назначен помощником уполномоченного Красного Креста на северо-западном фронте. Но он проводит там только часть войны. С сентября 1916, Н. С. начинает чтение лекций по культуре и литературе Средних Веков и эпохи Возрождения, одновременно в Московском университете и на Московских высших женских курсах. Отметим, что Н. С. проявлял в те годы интерес и к политическим вопросам. Он принадлежал к правому крылу партии октябристов.

В 1918 г. Н. С. избран профессором вновь основанного Саратовского университета, в котором Временное правительство поручате философу С. Л. Франку организовать историко-филологический факультет. В 1919 Н. С. дважды посажен в тюрьму советскими властями. В марте 1920 г. Н. С. удается перейти польскую границу и благополучно добраться до Восточной Пруссии.

С ноября 1920 г. Н. С. преподаёт русскую литературу в Кенигсбергском университете. Там же он сам слушает лекции,

сдаёт требуемые экзамены, и 16 юлия 1924 г. получает степень доктора философии. Раньше он носил звание лектора, теперь он становится приват-доцентом. Впоследствии он назначен доцентом, а затем экстраординарным профессором. В Кенигсбергском университете Н. С. остается до конца 1944 года.

Одновременно со своим преподаванием в Восточной Пруссии, Н. С. читает лекции по русской культуре в Рижском университете, и по истории религий и Новому Завету на православном факультете Варшавского Государственного университета.

Во время летних каникул Н. С. старался читать семинары в разных университетах Западной Европы. Эта неутомимая деятельность имела целью собрать ту значительную сумму денег, которая требовалась для оплаты выездных виз из СССР — матери, стршего брата, двух сестёр и других членов семьи Н. С. В начале тридцатых годов это было еще во зможно.

С 1927 по 1937 Н. С. состоял членом Экуменического движения и участвовал в конференциях Всемирного союза Христианских церквей, в 1927 в Лозанне и в 1937 в Эдинбурге. В сентябре 1959 г. Н. С. получил личную получасовую аудиенцию у Папы Иоанна XXIII. Она подробно описана в воспоминаниях Н. С. О Папе Иоанне XXIII Н. С. всегда говорил с волнением. Он его считал подлинным святым. В 1965 г. Н. С. участвовал в качестве почетного гостя на заседаниях Второго Ватиканского Собора в Риме.

Возвращаясь к преподавательской деятельности Н. С, укажем, что после поражения Германии и оставления Кенигсбергского университета, он переезжает в Париж. Там, в течение полутора лет, он читает лекции по истории религиозной мысли в Католическом Институте, и по русской культуре, при Сорбонне. Он часто ездит также в Лозаннский университет и в Больгию.

В феврале 1948 г. Н. С. обосновывается в окресностях Нью-Йорка, в "русском" Си-Клиффе. В Свято-Владимирской Духовной Академии он преподаёт Новый Завет. В то же время он и профессор истории русской культуры в Монреальском университете. Читает цикл лекций и в Фордамском университете, в Нью-Йорке. Летом 1955 и 1957 гг. ему поручено вести семинар в Боннском университете. А в 1960 и 1961 гг. Н. С. преподаёт в Вене, затем в 1963 г. в Граце, и 1965 г. в Мюнхене. весной 1960 г. Парижский Богословский Институт присуждает Н. С. почетное звание доктора богословия.

До самой своей смерти Н. С. был неутомимым лектором и писателем. Смерть прервала его работу над самыми последними страницами дополнительной главы, которая должна была войти в возможное новое издание одной его английской книги по богословию.

В сборнике статей в честь Льва Толстого, который вскоре будет издан Русской Академической Группой в С.Ш.А., имеется большая статья Н. С., озаглавленная "Захваченность стихией жизни у Льва Толстого". Очень характерно для Н. С. то, что эта работа носит посвящение: "Русской молодежи..." В другом очередном томе "Записок" РАГ будет помещена прекрасная статья, в которой Н. С. пишет о лирической поэзии Д. И. Кленовского. Наконец, Академическая Группа готовит изданию сборник статей в честь самого Н. С. Предполагалось преподнести "Фестшрифт" Н. С. в мае этого года, по случаю его 90-летця. Было уже несколько крупных пожертвований для издания этого сборника, но требуемая сумма еще не собрана, и сбор продолжается. Отметим, что в сборнике имеется несколько статей, написанных выдающимися русскими и иностранными авторами.

К сожалению, Н. С. не увидел в печатной форме своего последнего сборника стихов, "Прорывы": первые экземпляры пришли воздушной почтой из Европы уже после кончины автора.

В 1964 году Владимирская Академия издала подробный список книг, брошюр и статей Н. С. Эта библиография насчитывала 151 единицу. С тех пор, прибавилось более 60 единиц, из коих около 10 являются книгами и сборниками статей или стихов. Составление полной, библиографии трудов профессора Арсеньева — кропотливая работа, но она будет осуществлена.

Известна огролыная, казалось всеобъемлющая, эрудиция Н. С Он был и богословом, и литературоведом, и историком культуры. К природным талантам Н. С. надо прибавить и необыкновенную силу воли, позволявшую ему "заставить" себя работать при любых обстоятельствах. Опытный докладчик, Н.

С. не был по существу оратором. Но когда он затрагивал особенно живые для него вопросы, на него находило вдохновение, и он проявлял несомненный ораторский дар.

Глубокая религиозность была главной чертой характера Н. С. В своих воспоминаниях он подробно рассказывает, как формировалось его миросозерцание и какое благотворное влияние оказало на него его семейное окружение. Н. С. можно назвать поистине проповедником культа православной русской семьи.

Н. С. выразил желание, чтобы на его могиле были следующие надписи: "Гвой, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках" и "Любовь Христова объемлет нас". Могила Н. С. — на кладбище Розлин, на Лонг Айланде, рядом с могилами его брата Юрия и сестры Веры, вдовы писателя Евгения Гагарина. Согласно желанию Н. С. его архив будет вскоре сдан на хранение в Толстовский Фонд.

Мир праху этого очень хорошего, доброго, отзывчивого, чуткого, поистине замечательного человека и глубоко русского, выдающегося православного учёного.

И. Балуев.

В.С. ВАРШАВСКИЙ

Редакция "Нового Журнала" глубоко скорбит о кончине своего постоянного, ценного сотрудника В.С. Варшавского и выражает искреннее сочувствие жене его Татьяне Георгиевне в постигшем ее горе. Мы печатаем статью прот. К. Фотиева о Владимире Сергеевиче, как писателе и человеке. Статью эту мы берем из "Нового Русского Слова" с любезного разрешения редактора Андрея Седых.

Г. Андреев, Роман Гуль.

Скончавшийся 22 февраля в Женеве писатель и публицист Владимир Сергеевич Варшавский принадлежал к младшему поколению первой эмиграции, которое он, в книге, посвященной судьбе, духовным исканиям, политическим убеждениям и литературному творчеству своих сверстников, назвал «незамеченным поколением». У «отцов» было что вспоминать — они принадлежали, пусть в разной степени, к ведущему слою дореволюцион-

ной России — они были там, в разрушенной «р о д и м о й Трое», профессорами, писателями, адвокатами и политическими деятелями. В эмиграцию они унесли свой, им привычный мир — в Берлине, Праге, Париже, Белграде они создавали бесчисленные объединения, союзы и землячества, с новым ожесточением спорили на старые темы, старательно готовили очередной «День русской культуры».

У их сыновей — В. С. Варшавский, родившийся в 1906 году, покинул Россию гимназистом первых классов и потом продолжал свое образование в Праге и в Париже — была боль по потерянной родине, была растерянность перед непривычными условиями беженского существования, но вспоминать им было почти нечего. Тот мир, в котором продолжали жить их отцы, не без основания казался им эфемерным. Безусловное преклонение перед всем тем, что было сметено революцией, было им чуждо и «отцы» раздраженно косились на них за это. В русском культурном наследии эмигрантским сыновьям были близки не недавние властители дум, не писатели-общественники, а те, кто были, в свое время, одинокими и даже осмеянными.

Одновременно им открывался мир западной культуры, к которому их отцы относились, как правило, равнодушно. Кафка, Киркьегор, Пруст — отвергнутые или запрешенные в советской России (а в тридцатых годах подобные книги будут сжигать гитлеровцы), чуждые старшему поколению эмиграции, стали для эмигрантских «сыновей» выразителями их собственной судьбы, их тайных дум, ибо эти писатели знали, что значит быть одиноким, "брошенным" в шумной, благополучной толпе огромной европейской столицы. Более того — их щек уже коснулся еще более страшный ветерок одиночества метафизического: пусты не только умы и сердца окружающих людей, быть может пусто и Небо, или Бог не внемлет молитвам, "потерявшим соль", и человеку не остается ничего, кроме печального "братства одиноких", тех, кто, по слову В.Ф. Ходасевича, "аукаются в наступившем мраке"...

Но эта "редукция" мира к существованию одинокой и томящейся человеческой души породила у В.С. Варшавского не примирение с действительностью и отчаяние, а, как и у близких ему по духу людей его поколения, твердую решимость защи-

щать до конца те немногие, но зато несомненные ценности и истины, попираемые тоталитарными диктатурами и лишь лицемерно, по привычке, исповедуемые их политическими противниками: достоинство и свободу человека (ставшую секулярной веру в "образ и подобие Божье"), верность основным принципам демократии — таким, как выраженное еще Монтескье необходимое разделение между законодательной, исполнительной и судебной властями, свободу совести и слова. Этому убеждению В.С. Варшавский и его единомышленники остались верны в течение всей своей жизни: несмотря на все изъяны и даже язвы западного общества, только оно есть альтернатива и защита от ада тоталитаризма. И когда на Францию, столь равнодушную, а порой и жестокую к изгнанникам-эмигрантам, двинулись гитлеровские моторизованные части, добровольцем во французскую армию вступил не только 33-летний тогда В.С. Варшавский, но и почти пятидесятилетний Г.В. Адамович, сумевший скрыть на медицинском осмотре, что он болен пороком сердца...

Как писатель, В. С. Варшавский отмечен влиянием на него им любимого Марселя Пруста, пытавшегося всеми силами своего проницательного взора и литературного мастерства заклясть, остановить, спасти от забвения дары прекрасной и хрупкой человеческой жизни, поглощаемые "рекой времен". Сама эта попытка Пруста с неизбежностью была обречена на неудачу — ибо "вечная память" присуща лишь Богу, а не человеческому творчеству, даже гениальному — но она породила прекраснейшие страницы, забыть которые невозможно — более того, она возродила в сердцах читателей жажду чуда. Но если писательский метод В.С. Варшавского носит на себе печать Марселя Пруста, то тема у него своя: это есть вера во всечеловеческое братство и убеждение, что те, кто этой вере жертвенно служат, в самом страдании своем будут счастливее тех, кто от этой веры отрекся.

В 1926 году В.С. Варшавский переселился из Праги в Париж, где в 1929 г. вышла его первая книга "Шум шагов Франсуа Вильона". В 1950 г. появилась его книга "Семь лет", написанная в "замедленном ритме" созерцания и раздумий повесть о довоенном русском Париже, о войне, о жизни военнопленных в гитлеровской Германии, судьбу которых автор разделил. После зна-

чительной переработки и дополнений эта книга вышла в США под заглавием "Ожидание". В 1956 году в ньюиоркском издательстве имени Чехова появилась книга В.С. Варшавского "Незамеченное поколение" — рассказ о судьбе "сыновей" первой эмиграции. Статьи В.С. Варшавского часто появлялись на страницах "Нового Журнала", "Нового Русского Слова" и парижской газеты "Русская Мысль". Сборник статей о демократии, над составлением которого В.С. Варшавский работал в последние годы, будет напечатан, нужно надеяться, в недалеком будущем.

"Шум шагов Франсуа Вильона"... Французский поэт второй половины XV века был подкидышем: о. Вильон, кюрэ церкви Сэн-Северэн, что между рю Сэн-Жак и бульваром Сэн-Мишель, нашел младенца на ступеньках церкви и усыновил его. Франсуа прожил свою бурную жизнь школяра, поэта и бунтаря в узких улочках Латинского квартала — по ним, спустя четыре столетия, бродили безденежные студенты-эмигранты. Он писал стихи — порой лирические, порой непристойные. Он был не в ладах со своим веком — законы окружавшего его общества были писаны не для него. Общество отомстило ему — есть основания считать, что Вильон умер насильственной смертью — быть может даже на виселице.

В.С. Варшавский слышит шум шагов этого изгоя в ночной тишине кривых и темных улиц — что будет, когда эти шаги умолкнут и он снова "останется один"? Из этого же чувства родилась вся поэзия рано погибшего эмигрантского поэта Бориса Поплавского, друга Варшавского (в книге "семь лет" Поплавский — "царства монпарнасского царевич" — выведен под псевдонимом, как и А.Ф. Керенский, названный в книге Бобровским; о Поплавском В.С. Варшавский пишет подробно и в "Незамеченном поколении"). Как близко это чувство к тому, о чем говорит Пруст на первых страницах "В поисках утраченного времени" — к печальной повести о том, как человек, тяжело больной и все же вынужденный путешествовать, с радостью замечает в щели под дверью темной комнаты отеля блуждающий огонек: о счастье, он не покинут в своей болезни. бессоннице и тоске — уже встают люди, их можно позвать... Но нет это последний лакей унес последнюю свечу; ночь не кончилась,

напротив — она воцарилась окончательно и долгим будет ее молчание.

Ночь — "великая питательница забот" — как назвал ее Овидий.

Вот — небольшой "кадр" из книги "Ожидание". Франпузские военнопленные копают картошку на плоских, осенних полях Померании. Их охраняет "цивильный вахманн", по фамилии Вицке — усталый и печальный человек, осуждающий всякое насилие и готовый поделиться с военнопленными своим скудным пайком. "Мы, маленькие люди, войны не хотели", повторяет он.

На страницах бесчисленных книг, написанных в Советской России о минувшей войне, мы постоянно встречаем немецких охранников, "вахманнов" и "полицаев". В изображении советских авторов все они — либо совершенные изверги, либо, в лучшем случае, покорные винтики в огромной машине насилия и уничтожения. У этих писателей мы никогда не встретим человека, подобного Вицке, а как естественен его образ в книге Варшавского! Его взгляд, настойчиво ищущий человечности, не мог не заметить Вицке, серой шинели которого коснулся отблеск, пусть бесконечно далекий и им самим неосознанный, галилейского света. Уже одно это дает мне уверенность, что книги В.С. Варшавского не останутся мертвыми обитателями книжных полок — их уже сейчас читают в России, а те, что покинули Советский Союз недавно, из "Незамеченного поколения" узнают о мыслях и делах своих предшественников по эмиграции. Эти книги не только по выраженным в них мыслям, но по душевному складу автора, по самой сущности его творческого метода отметают советчину, ее, по слову Набокова, "батальные полотна", ее сусальность, мерзость и скуку...

В.С. Варшавский ушел от нас. Почта уже не будет приносить мне его писем, написанных крупным, несколько неуклюжим почерком, писем, в которых он неизменно писал лишь о том, что составляло содержание его жизни — о той борьбе между свободой и рабством, между творческим духом и мертвечиной, которой отмечен наш век.

Умирал он трудно, в тяжелых мучениях. "Как Иван Ильич"

— думалось мне; эту повесть Толстого Владимир Сергеевич считал одной из вершин мировой литературы. "Смерти не былс — был свет". Верю от всего сердца, что в свои последние часы на земле Владимир Сергеевич был удостоен этого света.

Прот. К. Фотиев

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 129-й, в повести В. Вейдле "Белое платье", на стр. 58-й в 12 строке снизу должно быть: "в сквере Лувуа" (а не Лувра). На стр. 51-й, 19 строка снизу, выпала строчка: "девочка с большими прекрасными но чрезмерно выпяченными Базедовой болезнью, черными глазами". Кроме того под первой стр. повести должно было стоять: Copyright by the author, New York, 1977.

Ю. П. Иваск просит исправить его авторские недосмотры в очерке "Эмилия Дикинсон" в кн. 128-й. На стр. 102-й, 2 строка сверху должна читаться: "Не в силах умереть", а 13 строка снизу: "Отсутствие биографии у смерти пугает" и в след. строке должно быть "но корсар", (а не "разбойник").

* * *

О. А. МОЧАЛОВА

Ольга Алексеевна Мочалова родилась в 1898 г. близ полустанка Фили Белорусской (прежде Александровской) дороги. Отец был директором красильно-набивной фабрики. Мать — дочь ювелира. Окончила Мариинскую гимназию и уже в советское время филологическое отделение Московского университета, Писать стихи начала рано. Но в советских журналах не печаталась. У меня хранятся рукописи ее записок о встречах с Брюсовым, Бальмонтом, Сологубом, Гумилевым, Цветаевой и опубликованные в 130 книге Нового журнала воспоминания о Вячеславе Иванове.

В 1940 г. О. А. встречалась с Мариной Цветаевой. Читала ей свои стихи. — Вы большой поэт, сказала Марина Ивановна, но без второго рождения, а оно должно быть. Не значит ли это, что О. А. как-то не взглянула на свое стихотворство со стороны, с некоторой дистанции. Не нашла своего стиля, своего лица. Лучшие стихи Ольги Мочаловой — не лирические, а описательные, отчасти эпические, напр., ее поэма о Камчатке, опубликованная в 1964 г. в Новом Журнале (кн. 76), под псевдонимом: Неизвестный. К сожалению, эта вещь прошла незамеченной. Это повесть об истории Камчатки, о ее фауне, флоре. Там немало удачных стихов:

У котиков морских сложился веер Из задних взброшенных высоко ног. Как будто бы не слишком жарок север, Чтоб кто-нибудь обмахиваться мог.

Есть сила, есть размах в ее изображении камчатских землетрясений и извержений:

Земля безумнее всего земного, Что на земле привыкли звать земным... Зачем-то нужно начинать всё снова Горообразованье, магма, дым...

В других стихах Ольга Мочалова как-то сутулилась, а здесь встала во весь рост, взяла державинскую ноту. Об этой строфе и особенно о последней строке можно сказать, что говорил Сологуб, когда восхищался стихами другого поэта: завидую!

В юности О. А. посчастливилось: она близко знала многих лучших поэтов той эпохи, и они поощряли ее стихотворные опыты. Но позднее ей не с кем было общаться. Стихов О. А. не печатали, и она зарабатывала преподаванием. Последние годы жила в страшном одиночестве, крайней нужде, почти оглохла и с горечью писала:

Имею честь быть ненавидимой, Отверженной — имею честь.

Это она не только о себе сказала, а и о Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаме. Может быть, в стихотворении *Переселенцы* она имела в виду эмигрантов:

И страшная тоска по своему Осталась за пределом их изгнанья...

т. е. тоска тех, которые остались в России.

О. А. умерла в Москве 11 янв. 1978 г. Видимо смерть была мгновенной — от сердечного приступа. "Выражение лица — страшное нечеловеческое напряжение, будто она силилась разгадать какую-то тайну", писал мне один из немногих верных друзей О. А., "в смерти выступила ее тайная сущность: меня поразило, что лицо ее было не женское, а определенно мужское, и напоминало лик Гёте". — Тот же москвич пишет: "Не зная Г. П. Федотова, она своей жизнью подтверждала его максиму: живи так, как будто умрешь сегодня, и работай с ощущением, что перед тобою вечность. Не противоречие, но великая трудность".

Ольгу Алексеевну отпевали в храме Ильи Обыденного, что ниже Остоженки, близ Москва-реки. Это был канун памяти преп. Серафима. А незадолго до смерти она вернулась к истокам своих дней и написала замечательные воспоминания о поездке в Саровскую обитель.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОГОЛЯ В РИМЕ

Сейчас в Риме скопилось множество эмигрантов из СССР, до 3.000 человек, и единственный русский культурный центр, где они могут общаться, это старинная знаменитая Библиотека имени Гоголя. Эта библиотека содержит бесценные книжные богатства, главным образом, относящиеся ко времени русского Серебряного Века. В библиотеке насчитывается больше 20.000 томов, среди них редчайшие комплекты известных журналов: "Аполлон" (1909-1916), "Старые Годы" (1908-1916), "Золотое Руно" (1906-1909), "Геатр и Искусство" (1908-1913), "Весы" (1906-1907), редкие книги по искусству А. Бенуа, И. Гарбаря, Гнедича и др. Есть в библиотеке и полные комплекты дореволюционных "толстых" журналов — "Русская Старина" (1885-1916), "Русский Вестник" (1859-1916), "Вестник Европы" (1870-1916), "Мир Божий" (1900-1905) и др. Мы не говорим уже о русской классической литературе. Она широко представлена в библиотеке.

Не преувеличим, если скажем, что Библиотека имени Гоголя в Риме одно из главных бесценных книгохранилищ русских книг, журналов, брошюр, документов, листовок и пр. Сейчас библиотека живет и культурно окармливает большое число русских эмигрантов, оказавшихся в Риме. Но еще недавно, в 1968 году, ей грозила гибель и уничтожение. И не только потому, что русская колония в Риме была малочисленна и безденежна, и была не в состоянии содержать библиотеку, но и потому, что городские власти нашли, что ее помещение подлежит сносу, как опасное из-за своей ветхости. Спасения для библиотеки ждать было неоткуда. Но в самый критический момент для этого единственного русского культурного центра в Риме спасение неожиданно пришло. Помог один богатый меценат, американец, большой и известный друг русской культуры. Он дал средства не только на перевоз всей библиотеки в новое обширное помещение на Piazza San Pantaleo 3, но и пожертвовал средства на ее содержание. Не только русская колония в Риме, но русские во всем Зарубежье должны быть благодарны этому американцу (пожелавшему остаться неизвестным) за сохранение такого очага русской культуры в Зарубежье. Дабы рассказать об истории Русской Библиотеки имени Гоголя в Риме мы перепечатываем ниже краткую брошюру о ней, изданную еще в 1913 году.

РУССКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ В РИМЕ

На Piazza di Spagna в Риме находится английская библиотекачитальня; лет одиннадцать назад некоторые русские, постоянные римские жители, стали пересылать в эту библиотеку свои номера русских газет. Молва об этом разнеслась, число посетителей читальни возросло. Так зародилась мысль о необходимости создать в Риме русскую читальню; осуществлению этой мысли вскоре помогли обстоятльства.

В феврале 1902 г. некоторыми членами русской колонии было устроено чествование памяти Гоголя у маркизы Campanari на вилле Волконских, где в былое время читал свои произведения Гоголь; после лекции была собрана довольно значительная сумма и образован фонд имени Н. В. Гоголя, предназначавшийся для какого-нибудь общеполезного дела в память писателя. Спустя некоторое время было решено использовать фонд, достигший 1.800 лир, для основания читальни. Благодаря сочувствию этому делу со стороны посла А. И. Нелидова, оказалось возможным открыть Читальню в ноябре того же года. Она располагала скромным помещением на улице S. Nicili da Tolentino, заключавшемся в одной комнате с маленькой передней, и могла предоставить посетителям лишь чтение нескольких газет. Расходы на первое обзаведение составили около 2.500 лир; перерасход против названного фонда был покрыт пожертвованиями частных лиц; годовая смета сводилась в размере 2.000 лир. Из книг, оставшихся от прежде существовавшего клуба художников, Читальня унаследовала значительное количество томов, и было положено таким образом основание библиотеке. На первых порах Читальня находилась в единоличном заведовании Л. В. Иславина, а затем Г. П. Забелло. Но с расширением дела, оно естественно должно было принять организацию, свойственную общественному учреждению: в феврале 1905 г. состоялось первое общее собрание членов Читальни, которое избрало из среды русской колонии комитет для непосредственного управления Читальней. Через год общим собранием был утвержден устав Читальни,

согласно которому члены ее на ежегодном собрании избирают из своей среды комитет Читальни; последний избирает заведующего Читальней и других должностных лиц, на обязанности которых и лежит вся многообразная деятельность управления*. В комитете участвовали некоторые художники, старожилы Рима, — Сведомския, Бакалович, Рейман и др. В конце 1905 г. Читальня была переведена в новое более обширное помещение на мшф Пкупшкшфтфю Применяясь к потребностям русских, проживающих в Риме, комитет продолжал развивать начатое дело и сообразно с этим в январе 1907 г. пришлось снова перевести Читальню в другое, большее помещение на мшф вудду Сшдшттуееу №27, бывшую мастерскую Кановы, где имеются просторный зал, отдельная комната для чтения и другая для библиотеки. С 1909 года Читальня согласно постановлению общего собрания приняла название "Читальни имени Н.В. Гоголя".

В настоящее время *библиотека* заключает в себе около 3.000 томов (не считая журналов), причем отдел истории итальянского искусства на русском языке представлен почти исчерпывающим образом. Избранная в 1912 году библиотечная комиссия занята выработкой плана систематического пополнения всех отделов библиотеки; на покупку книг ежегодно отчисляется не менее 5 процентов валового дохода Читальни.

В текущем году выписывается 18 газет и 25 журналов. Ввиду интереса к русской Читальне, обнаруженного со стороны других славян (так, например, имеется нес влько членов Читальни сербов и болгар), комитет с 1912 г. выписывает одну болгарскую и одну сербскую газету, что за неимением других славянских читален не может не привлечь новых посетителей. Из польских газет получается "Кurjer Warszawski". Чтение газет и журналов в помещении Читальни бесплатно; месячный абонемент на получение книг и журналов на дом по одной книге — 2 лиры, по две книги — 3 лиры; годовой членский взнос — 15 лир. Читальня открыта ежедневно. Зимою от 10 до 12 утра и от 4 до 10 вечера; с мая по октябрь — от 10 до 12 утра и с 4 до 8 вечера.

В зимнее время в Читальне устраиваются чтения и концерты; сбор с этих собраний составляет одну из главных статей ее дохода. Публичные

^{*}В минувшем году устав был утвержден общим собранием в новой редакции, согласно которой права членов Читальни расширены, а именно общее собрание получило право избирать из своей среды ревизионную комиссию для поверки хозяйственной деятельности комитета.

чтения, согласно новой редакции устава, могут быть на самые разнообразные темы и сопровождаться диспутами. В качестве лекторов выступали П. Д. Боборыкин, кн. С. М. Волконский, Н. К. Подгурский, прив.-доц. В. Ф. Эрн, Н. В. Поггенполь, арх. Дионисий, маг. Н. В. Малицкий, С. М. Соловьев, В. В. Юрьев, проф. Забугин. Концерты происходят главным образом при участии заканчивающих , , име свое музыкальное образование русских, а также известных артистов, как Сапельникова, пианиста виолончелиста артистки Макаровой-Бронской, пианиста Тарновского, болгарской певицы Геодоровой; все эти лица любезно соглашались давать концерты в помещении Читальни в пользу последней. Концерты не ограничивались участием только русских сил: неоднократно выступали в пользу Читальни и представители итальянского искусства Маркони, столь известный петербуржцам Котоньи и др. Кроме того, за время существования Читальни в ней два раза устраивались выставки произведений местных русских художников и однажды базар русских кутарных изделий. С 1905 г. начали устраивать раз в неделю дневные собрания, на которых все желающие могли встретиться за самоваром с соотечественниками. "Среды" нередко бывают переполнены, и число посетителей доходит до 80 человек, что способствует материальному успеху Читальни и облегчает объединение русской колонии. Теперь вошло в обычай, чтобы в среду на Святой неделе русские находили на этих собраниях куличи, пасхи и пр., напоминающие им пасхальную обстановку на родине.

В Читальне имеется справочный отдел, предлагающий бесплатно всем обращающимся к нему всевозможные справки относительно посещения римских досо доотопримечательностей, о квартирах, пансионах, мастерских для художников, а также по мере возможности служащий посредником для ищущих занятий, уроков, переводов, переписки и пр. Чтобы всякий приезжий мог найти в Читальне кого-либо знакомого с Римом и получить необходимые справки, теперь учерждены ежедневные дежурства из среды желающих членов и посетителей Читальни.

Сообразно с оживлением деятельности Читальни возрос и годовой бюджет последней; в 1912 году он достиг 6.000 лир;; значительно увеличившиеся расходы уравновешиваются соответственно увеличившимися поступлениями, вследствие расширения круга лиц, пользующихся Читальней.

Находясь совершенно вне политических партий, Читальня стремится стать одинаково доступной всем соотечественникам независимо от их политического направления. С полной беспартийностью желая предоставить каждому то, что он ищет, она выписывает самые разнообразные русские газеты от "Правительственного вестника" до "Товарища", от "Луча" до "Речи" и до "Киевлянина" включительно. Но идя навстречу самым различным требованиям и признавая за каждым свободу воззрений, Читальня вместе с тем не допускает у себя никаких собраний с политическими целями.

Русская колония в Риме относится к Читальне очень сочувственно: кому под силу годовой 15-франковый взнос, те записываются в члены; другие поддерживают личным участием, пожертвованиями книг; иные жертвуют деньги. Некоторые русские редакции способствуют успеху Читальни, любезно присылая свои издания даром или за уменьшенную плату. Но чтобы иметь возможность полностью достичь своей основной цели — общедоступности, чтобы быть в силах служить лицам самых широких кругов почти безвозмездно и в то же время пополнять свою библиотеку, Читальня нуждается в дальнейшей общественной поддержке из России. Заканчивая Этот краткий обзор десятилетнего суцествования Читальни, комитет позволяет себе обратиться ко всем слоям общества, приглашая их принять посильное участие в этом благом деле, жертвуя деньгами, книгами, всевозможными изданиями. Комитет выражает также надежду, что люди науки, литераторы, общественные деятели, публицисты, нередко приезжающие в Рим то для отдыха, то для участия в международных конгрессах, не оставят без внимания этого учреждения: быть может они найдут час досуга, чтобы в стенах Читальни имени Гоголя рассказать русской колонии свои впечатления, прочесть свое новое произведение, поделиться с нею из запаса своих знаний и мыслей.

Весна 1913 г.

Комитет Читальни

КНИГА РУССКОГО УЧЕНОГО

Недавно по-английски вторым изданием вышла книга известного офтальмолога, профессора Елены Тереньтьевны Федукович: "External Infections of the Eye: Bacterial, Viral and Mycotic." В книге много прекрасных цветных иллюстраций. Среди офтальмологов книга имеет большой успех. Готовятся ее переводы на другие языки. Проф. Е.Т. Федукович в течение 25 лет преподавала на медицинском факультете Нью Иоркского У-та.

О ее книге выдающийся офтальмолог Derrick Vail, быв. редактор "Американского офтальмологического журнала", пишет: "Книга является великолепной, своевременной и единственной американской книгой в этой области. Проф. Федукович долго работала директором офтальмологической бактериологической лаборатории при Нью Иоркском У-те и в Бельвю Госпитале. Много времени проф. Федукович уделяла и преподаванию (имевшим счастье слушать ее) студентам и резидентам. У автора ясный стиль, отчетливое мышление и большое знание литературы. В нашу эру антибиотиков описанная доктором Федукович техника исследования глаза является существенной для практических офтальмологов. Эта книга — образец труда, знания и искусства".

Другой известный офтальмолог, специалист в области наружных инфекций глаза Henry F. Allen в "Медицинском журнале" пишет: "Автор книги дает обзор защитного механизма и реакций ткани на инфекции. Блестящие иллюстрации привлекают внимание к богатому клиническому материалу. По форме, по охвату, по содержанию это превосходная книга. Она заслуживает восторженного приема".

Директор офтальмологического института и кафедры офтальмологии при Колумбийском У-те Dr. Gerald De-Voe отзывается столь же лестно: "книга может быть названа "первоклассной". Это результат большого и разностороннего опыта в этой области. Книга может быть весьма рекомендована студентам, резидентам и практическим офтальмологам."

Столь же лестно о книге проф. Федукович отозвался знаменитый английский "офтальмолог Ее Величества королевы Елизаветы" Дюк Элдер, а также известный профессор Иерусалимского У-та С. Михальсон.

О НЕПРИЛИЧИИ И ОГЛОБЛЯХ

В "Вестнике РХД", №123, ответственный редактор Никита Струве поместил статью "Пушкин и Бродский", подписанную какими-то инициалами. Почему не "Бродский и Пушкин"? Скажем честно, статья развязная и глупая. Сопоставление же имен, на наш взгляд, является литературно-общественным неприличием. Хотим думать, что в ближайших номерах "Вестника" не будут напечатаны статьи "Достоевский и Никита Струве" и "Граф Лев Толстой и Наталья Горбаневская". Кстати, пиша о Бродском, Никита Струве приводит известнейшую строку Н. Гумилева и сообщает, что это — Иннокентий Анненский.

В дополнение к статье "Пушкин и Бродский" — нескольно слов о русском языке Бродского. В своем "гениальном" письме "Дорогому Леониду Ильичу Брежневу" Бродский пишет о "наличии знания английского языка". По-русски может быть знание к. н. языка или незнание. Но "наличия знания языка" в русском языке нет. Это — жаргон. В том же № "Вестника" напечатана такая стихотворная строка Бродского пару стекол!" В "Господа, разбейте хоть русском есть пара лошадей, пара брюк и др., но "пары стекол" еще никогда не было. В жаргоне есть. В другом недавнем стихотворении Бродского есть чудесная по незнанию и нечувствованию русского языка строка: — "Лошади бьются среди оглобель". Общеизвестно, что лошадей запрягают в оглобли, а не среди оглобель. И посему "биться" лошадь может только в оглоблях, а никак не среди них. Конечно, если к. н. дуралошадь случайно забредет в пустой сарай и увидит там на земле валяющиеся какие-то оглобли и начнет среди них "биться", то это возможно. Но такую лошадь надо намедленно отправить к ветеринару, ибо у нее по всей вероятности начался менингит. Бродский русский язык до глубины не чувствует и сопоставления его с русскими классиками смехотворны.

тайная агентура ссср

КГБ ИМЕЕТ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ АГЕНТОВ, ЧЕМ ВСЕ ЗАПАДНЫЕ КОНТРРАЗВЕДКИ

Американские эксперты считают, что КГБ имеет в пять раз больше агентов, чем все вместе взятые разведывательные органы западных государств, включая и США. Гак, в Вашингтоне из 136 советских дипломатов 35% — агенты КГБ. К ним следует прибавить тех, которые выдают себя за агентов ГАСС, представителей коммерческих учреждений, служащих Аэрофлота и т. д. Надо еще прибавить некоторых членов семей этих агентов. Гак, в 1972 году в США было 1.154 чиновника восточноевропейских стран (СССР и его сателлитов), вместе с семьями — 2.488. В 1977 г. соотвественно 1.835 и 3.747.

За десять лет общее число заграничного персонала советского блока и других коммунистических стран увеличилось в два раза. Дело, конечно, касается официального персонала, не считая тайно работающих закамуфлированных шпионов. Согласно данным ЦРУ, за последние два года персонал этот увеличился на 20%. Все эти агенты используют подслушивание телефонных разговоров в США из помещений советского посольства в Вашингтоне и консульств в больших городах США. Некоторые даже — из своих собственных квартир. Они имеют возможность подключаться почти ко всем телефонным разговорам.

Больше всего они интересуются экономическими вопросами. Так в 1972-73 г. им удалось заключить выгодный контракт на покупку американского зерна, только потому, что они были в курсе переговоров между продавцами зерна в Миддл-Уест и ньюйоркской биржей.

Подслушивание на расстоянии ведется с помощью ультракоротких волн, а также через систему спутников "Космос". Как это ни странно, но после соглашения США-СССР в 1972 г., спутники-шпионы были узаконены.

Все получаемые сведения передаются в специальный центр при КГБ в Москве, где работают 30.000 человек и где сведения обрабатываются электронно-вычислительными машинами. Чтобы дать представление о размере этого учреждения, заметим, что такой же "обработкой" занимаются и американцы, но у них этим делом заняты всего 4.000 человек.

Что же касается, если так можно выразиться, "классических"

шпионов, работающих без этой усовершенствованной техники, то по американским сведениям, КГБ располагает 10.000 агентов первого ранга и минимально 80.000 "второстепенного", к которым нужно причислить простых осведомителей за границей. ЦРУ располагает значительно более скромным персоналом, к тому же 820 агентов ЦРУ были недавно уволены новым директором управления адмиралом Тэрнером.

Еще несколько цифр: ФБР (Федеральное бюро расследования) имеет 20.000 служащих с бюджетом в 513 миллионов долларов, тогда как бюджет КГБ, согласно американцам, равен десяти миллиардам долларов!

С 1951 по 1976 г. в США было раскрыто 39 больших дел, в которых были замешаны шпионы СССР и других восточноевропейских стран. Только в 1970 г. из США было выслано шесть советских шпионов.

("Русская Мысль")

БИБЛИОГРАФИЯ

GEORGE F. PUTNAM. RUSSIAN ALTERNATIVES TO MARXISM. CHRISTIAN SOCIALISM AND IDEALISTIC LIBERALISM IN TWENTIETH CENTURY RUSSIA. Knoxville (University of Tennessee Press). 1977. XII + 233 pp.

Культурное наследие русского Серебряного Века было под запретом и подозрением в СССР. Но оно никогда не переставало играть творческую роль в "зарубежной России" и, через нее, влияло на художественные, литературные, философские и научные течения на Западе. Естественно, что западные историки, литературоведы и искусствоведы проявляют большой интерес к этому периоду русской культуры и не мало сделали для его изучения.

В первую очередь внимание сосредоточилось на литературных и художественных призведениях Серебряного Века — был опубликован (главным образом в США, Германии и Англии) ряд исследований, биографий выдающихся деятелей того времени и большое количество мемуарного и эпистолярного материала. За последнее десятилетие, в связи в дискуссиями по поводу марксизма, русской революции и советского режима, появились книги и статьи о политических и философских идеях Серебряного Века. Опубликованы содержательные биографии видных деятелей разных политических направленый (напр., Ю. Витте, П. Струве, П. Милюкова, С. Трубецкого, о социал-демократах).

Все эти работы дают углубленное понимание Серебряного Века. Культурные и идеологические стороны последней четверти века царской России разработаны за Западе лучше и подробнее, чем какой-либо другой период дореволюционной истории России.

Рецензируемая книга интересна и ценна тем, что в ней впервые дается обстоятельный очерк основных идей С. Н. Булгакова и П. Н. Новгородцева — двух видных участников общественно-политической жизни Думского периода, — которые сыграли большую роль в возрождении христианского мировоззрения и идеалистической философии в

России. Булгаков (впоследствии священник и видный профессор богословия) выработал основные положения критики марксизма с точки зрения идеалистической метафизики, социалистической этики и глубоко прочувственного православия. Тем самым он является предшественником, и одним из основоположников, идеологии христианского демократического социализма, выдающаяся роль которого в реставрации послевоенной Италии и Германии общеизвестна.

Характерно для эволюции мировоззрения Булагкова "От марксизма к идеализму" (как называется его книга, вышедшая в 1903 г.) его острое чувство социальной справедливости и сознание, что только благодаря повышению уровня производительности (при более справедливом распределении) можно преодолеть бедность и культурную обездоленность большинства народа. Но экономическое благоустройство Материальное благополучие не может создать лишь предпосылка. истинную культуру. Необходимо обосновать общество на началах христианской метафизики и этики с помощью правильно устроенной церковной жизни. Поэтому Булгаков не только боролся за экономические и социальные реформы, но и старался установить тесное духовное сотрудничество между Церквью, интеллигенцией и народом (напр., его деятельное участие в Религиозно-философских Собраниях). Таким образом, Булгаков является и "прогрессивным славянофилом" и демократическим социалистом-реформистом. Представляется, что при мирном социально-экономическом развитии России после революции 1905 г. это было совсем не утопической политической программой, хотя она и не уделяла должного внимания конкретным проблемам правового порядка.

Именно на эту сторону жизни страны обращено было главное внимание П. Н. Новгородцева — профессора философии права в Московском университете. Путнам не совсем ясно определяет его мировоззрение как "идеалистический либерализм". Если я правильно понял, автор хочет сказать, что методологически и философски Новгородцев примыкает к идеализму нео-кантианства и в то же время он истинно верующий православный христианин (но в противоположность Булгакову, он исключал вопросы религии и церкви из своих чисто научных работ). Либерализм Новгородцева заключался в утверждении, что человеческая личность является самоценностью и что политический строй и правовой порядок обязаны эту личность охранять. В отличие от

Булгакова Новгородцев был против "Соборного начала", т. е. против растворения личности в группе, или обществе, и подчинения ее прав и свободы мнимому общему благу в будущем, "перерожденном", человечестве. Поэтому для него, как и для В. Маклакова и П. Струве позже, автономия юридических институтов, точное соблюдение их формальных правил, были важнейшей стороной политической борьбы.

Интересно отметить, что Булгаков и Новгородцев выработали свои философские и общественно-политические взгляды не только в противодействие позитивизму и марксизму, которые властвовали над умами части русской интеллигенции конца 19 века, но и под влиянием немецкой философии и общественно-юридической мысли. Даже Новгородцев, чьи взгляды многим обязаны английскому либерализму (Дж. С. Милль), неохотно признает это влияние и предпочитает ссылаться на немецкую социологию и нео-кантианство (Г. Зиммель). В этом сказывается паралоксальное раздвоение русского либерализма: с одной стороны — индивидуализм, острое правосознание и защита правопорядка, свободолюбие и уважение личности сближают его с английской либеральной, демократически-конституционной традицией; с другой же стороны — методологические и метафизические корни русского либерализма в немецкой идеалистической философии и ее романтически-гностическом соблазне.

Мы должны быть благодарны профессору Путнаму за обильный данный им материал, который знакомит с идеями двух видных деятелей Серебряного Века. Это особенно ценно в отношении Новгородцева, которого мало знают. К сожалению, иногда вместо ясного полного изложения писаний и мыслей Булгакова и Новгородцева, автор прибегает к общим утверждениям и обобщениям. Исторический фон, на развивалось мировоззрение двух русских мыслителей, нарисован бегло; и хотя нет явных фактических ошибок, суждения Путнама иногда упрощены. Библиография, хоть и обширня, не полна и не приводит недавние публикации и докторские диссертации. Но несмотря на эти мелкие недочеты, русский читатель может порадоваться, что главные мысли Булгакова и Новгородцева в предреволюционные годы стали доступны всем, кто интересуется судьбами России и культурным и общественно-политическим расцветом накануне октябрьськой катастрофы 1917 года.

ALAIN PRECHAC. LA LITTERATURE SOVIETIQUE. Paris. 1977. 128pp.

Эта небольшая книга вышла в популярной серии французской университетской библиотеки, уже издавшей около 1700 книг. Аллен Прешак хорошо знает русский язык и прекрасно осведомлен в русской литературе. Он издал краткую историю России и переводил, редактировал Пушкина, Чехова, Булгакова, Войновича, Солженицына. В предисловии он дает очень объективную характеристику предреволюционной России: утверждает, что за последние 20 лет перед Октябрем императорская Россия модернизировалась и становилась демократическим государством, в котором печать была уже фактически свободна. Он отмечает творческое богатство русской культуры в начале столетия (Серебряного века), высоко оценивает символистов, футуристов, нео-реалистов и дает список писателей-эмигрантов: это Бунин, Зайцев, Ремизов, Мережковский и другие, но, по-видимому, он был ограничен заказом издательства и, поэтому пишет только о писателях, оставшихся в России. Книга охватывает целое 60-летие: 1917-1977. Прешак утверждает, что приблизительно до 1927 г. советская литература в какой-то мере еще продолжала традиции дореволюционной литературы: в поэзии - Пастернак, Ахматова, Мандельштам, в прозе Белый, Серапионовы братья, в критике — формальная школа. Немало внимания он уделяет футуристам, выступившим еще до революции.

В эпоху сталинизма и господства т.н. "социалистического реализма", пишет Прешак, советская литература омертвела, и остались только немногочисленные островки свободного слова — это, напр., поэзия Заболоцкого и обереутов. Он отмечает гибель Мандельштама (в концлагере) и вернувшейся на родину Цветаевой. Далее он пишет о литературе военного и послевоенного периода (до 1956 г.). Некоторая либерализация в начале этого периода кончилась ждановским осуждением Ахматовой и Зошенко. По общему впечатлению, сжатые характеристики Прешака советских писателей совпадают с тем, что о них говорилось в эмиграции и позднее в кругах самиздата, которому Прешак уделяет несколько страниц. Он называет Солженицына, Максимова, Кузнецова, Некрасова и многих других: они оказались в эмиграции. В самом конце Прешак упоминает о демократическом движении и борьбе за права человека Сахарова. В заключительных строках книги говорит о

мученической смерти Галанскова и Конст. Богатырева, по-видимому убитого агентами КГБ. Прешаку, несомненно удалось дать достаточно объективную информацию о советской литературе для широких читательских кругов Франции, часто вводимых в заблуждение коммунистической пропагандой.

Юрий Иваск

IGOR GOLOMSHTOK AND ALEXANDER GLEZER. SOVIET ART IN EXILE. New York. Random House, 1977. 172 pp. Illustrated.

Эта книга является обширным фактологическим исследованием темы: "нон-конформизм" в советском исскустве. По охвату темы и по деталям книга выгодно отличается от монографии Поля Щеклоча и Игоря Мида "Неофициальное искусство Советского Союза" (Berkley, 1967) и от каталога выставки "Современные русские художники", имевшей место в Пале до Конгресс в 1976 г. в Париже. Первоначально она вышла под названием "Неофициальное искусство из Советского Союза" (London: Secker & Warburg, 1977) и являлась каталогом одно-именной выставки в Институте Современных искусств, Лондон, 1977.

"Советское искусство в изгнании" содержит новые и значительные данные во всех разделах: две статьи Голомштока и Глезера, биографии авторов, манифесты, подробную библиографию и многочисленные черно-белые и цветные репродукции. Предисловия сэра Роланда Пенроуза и Мишеля Скаммеля дополняют текст. Широкий охват и точность сведений показывают, что авторы затратили много времени и сил на составление книги. Упомянуто большинство художников, связанных с "неофициальным" движением в Москве, Ленинграде и провинциальных городах, в том числе — Кандауров, Кропивницкая, Нусберг, Рабин, Рухин, Штейнберг, Свешников, Целков. Идеи и цели этих художников часто диаметрально противоположны, одни из них "радикальны", некоторые — как, например, Целков — являются, или, по крайней мере, были членами Союза Художников СССР, многие (как Нусберг, Рабин, тот же Целков) недавно эмигрировали. При таких условиях рискованно говорить о единстве неофициального советского искусства, хотя сами авторы подчеркивают, что все художники, представленные ими, работают или работали под постоянной угрозой расправ и репрессий. Например, декларация Калугина рисует ясную

картину столкновения советского художника с государственной идеологической машиной.

Статья Голомштока "Неофициальное искусство в Советском Союзе" отличается своей информативностью от бойких, но банальных статей журналистов, затрагивающих эту тему. Голомшток дает историческую перспективу зарождения советского неофициального искусства, зигзагообразный путь его развития, как следствие политических и социальных событий: образование АХРР (Ассоциации Художников Революционной России) со своей реалистической программой в 1922 г., ликвидации авангарда во второй половине 20-х гг., постановления "О перестройке литературно-художественных организаций" 1932 г., и, наконец, становления и развития (путем пропаганды) "социалистического реализма" после 1934 г. Голомшток совершенно верно отмечает, что советские "нон-конформисты" на самом деле продолжают потерянную традицию старого авангарда, в особенности Филонова и Малевича.

Статья Глезера более субъективна, но не менее ценна. Непосредственный участник "нон-конформистского" движения до своей эмиграв 1976 г., Глезер имеет прямую возможность описывать подпольный художественный мир Москвы и Ленинграда, общее настроение и напряженность такового, те махинации, которые привели к скандалу на выставке в Манеже 1962 г., проблемы, стоявшие перед организаторами "официальных выставок неофициальных художников" в разных научно-исследовательских институтах в 60-е годы, трагедию так называемой "бульдозерной" выставки в Москве в 1974 г., и свои собственные столкновения с КГБ. К сожалению, ни Глезер, ни Голомшток, не касаются вопроса о дальнейшем развитии художников-нон-конфромистов на Западе, например, оценки Неизвестным художественной жизни Нью-Йорка и Цюриха или отношения Щемякина к école de Paris. Голомшток и Глезер считают, что сейчас в культурной политике Советского Союза наблюдается будто бы некоторое смягчение. На это указывают появление ряда публикаций о художниках старого авангарда, новых "официальных выставок неофициальных", таких, как персональная выставка Михнова-Войтенко в январе 1978 г. в Ленинграде и прием некоторых нон-конформистов в члены Союза Художников СССР. Если это даже так, то все же сила современного советского искусства, как нам кажется, находится ныне в изгнании.

John E. Bowlt

УСТАМИ БУНИНЫХ. ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА И ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ И ДРУГИЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПОД РЕДАКЦИЕЙ МИЛИЦЫ ГРИН. В трех томах. Том І. "Посев". Франкфурт, 1977.

Посмертная слава Бунина растет. В СССР его книги нарасхват, появляются о нем новые и новые научные труды советских буниноведов — Бабореко, Михайлова, Ниннова и др., его память увековечена в 84 томе "Литературного наследства", в стране есть кружки "бунинистов". За рубежом русские литературоведы пополняют пробелы в публикациях бунинского наследства, в той области его творчества, которая, увы, до сих пор не "дозволена цензурой" в СССР. Обнародование дневников "Устами Буниных" под ред. Милицы Эдуардовны Грин, доктора филологии и профессора Эдинбургского университета, хранительницы остатков бунинского архива — огромный вклад в общее дело изучения жизни и творчества И. А. Бунина.

О Бунине принято говорить, как о писателе "сложном", еще до конпа не раскрытом, тем ценнее новые материалы, разъясняющие его личность и его писательское лицо. М. Э. Грин не раз упоминает, что в архиве попадаются "пожелтевшие листки", написанные рукой Ивана Алексеевича или Веры Николаевны Муромцевой-Буниной. И вот из таких пожелтевших от времени листков создалась большая книга, не только по размеру, но и по значению.

Вся прелесть этих записей прежде всего в том, что они не обработаны, а напечатаны в "сыром" виде, они запечатлевают мгновение, кусочек жизни, схваченный зорким глазом Яна (так Вера Николаевна называла мужа) или Веры Николаевны. Этот "двойной" дневник не только оригинален по своему построению, но и сугубо важен, так как благодаря записям Веры Николаевны пополнены пропуски в записках И. А. Первый том состоит из двух частей и охватывает огромный период времени: первая часть — с поступления Бунина в Елецкую гимназию в 1881 году до приезда в Одессу в начале июня 1918 года, и вторая — жизнь в Одессе до отъезда в Константинополь в конце января 1920 года.

Записей о детских и юношеских годах очень немного. Об этом периоде жизни Бунина известно подробно из книги В. Н. Муромцевой-Буниной "Жизнь Бунина" (Париж, 1958). Самые интересные записи относятся ко времени между революцией 1905 года и октябрьской. В

них даны разные события из жизни Буниных на фоне России начала $\chi\chi$ го века, на фоне путешествий на Ближний Восток, на Цейлон, в Северную Африку, в Западную Европу, и, в частности, в Италию, где им, пололгу случалось жить бок о бок с Горьким.

Бунин вырос в деревне, где повседневно сталкивался с "народом" т.е. с русским мужиком, и его замечания о жизни последнего весьма ценны. Бунин подчеркивает, что пишет о мужиках "только сотую долю того, что следовало бы написать", но и этого вполне достаточно — под пером Бунина возникает картина далеко нерадостная. Бунин не верит в миф о народе-богоносце, считает, что "русский народ религиозен в несчастии", что ему присущи "жажда саморазорения, атавизм", что он лишен всяких организаторских способностей, что всюду царят безалаберщина, грязь и невежество. Бунину ненавистна либеральная интеллигенция типа Михайловского, Златовратского, Короленко, Чирикова и др., все "эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать."

Бунин сетует на общий упадок русской литературы, резко отзывается о многих писателях-современниках (за много лет до публикации нашумевших "Воспоминаний" в 1950-ом году!). Вот стиль и манера бунинской записи: — "Пьеса А. Вознесенского "Актриса Ларина". Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь доказать, что этого безграмотного удавить мало! Герой — Бахтин — почему он с такой дворянской фамилией? — называет свою жену Лизухой. "Бахтин, удушливо приближаясь..." — "Вы обо мне не тужьте..." (вместо "не тужите") и т.д. О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!"

Очень много говорится (во второй части первого тома) о революционной России. Бунин точно определил свое отталкивание от событий 1917 года в "Окаянных днях" (Изд. "Заря", Лондон, Канада, 1971), которые не вошли в книгу "Устами Буниных". Вера Николаевна вела тоже свой одесский дневник об "окаянных днях", в котором с большим искусством записала свои наблюдения о начале большевицкой власти. С поразительным провидением она высказалась о характерных чертах большевизма: — "Я хотя и не выхожу, но ощущаю то "безвоздушье", которое всегда бывает при большевиках. Это чувство я испытывала в Москве в течение пяти месяцев, когда они еще не были так свирепы и кровожадны, как стали после нашего отъезда [23 мая 1918 г., С. К.], но все же дышать было нечем. И я помню, когда мы вырвались из их

милого рая, то главная радость, радость легкого дыхания прежде всего охватила нас... И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, т.е. большевики, могут дать что-нибудь положительное, и ждут от них "устройства жизни".

Таких цитат можно привести много. От чтения этих записей невозможно оторваться. Книга открывается весьма компетентно написанным предисловием М.Э Грин, а в конце ее помещены "Примечения" и тщательно составленный "Указатель имен". В предисловие вкралась досадная опечатка. Можно было бы не обратить на нее внимания, но она касается даты смерти И. А. Бунина, который умер 8 ноября 1953г., а не 14 октября, как сказано на 13-й странице. Выход второго тома, как пишет М.Э. Грин, всецело будет зависеть от успеха первого. Второй том охватывает эмиграционный период жизни Буниных во Франции. Я имел возможность ознакомиться с его содержанием в рукописи и могу заверить читателя, что он во многом может быть даже более интересен, чем первый. Кончая свой отзыв, хотел бы остановиться на записи Бунина от 23 февраля 1916 г., где он говорит, что "дневник одна из самых прекрасных литературных форм", и считает, что "в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие".

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

ИРИНА САБУРОВА. "КОРОЛЕВСТВО". Мюнхен. 1976 г.

Ирина Сабурова не поддалась охлаждению времени и до сего дня живет в той сказочной стране, в которой слились географическое понятие Прибалтики, старая Европа прошлых веков и вечно-юная душа писательницы.

"Королевство" — сборник фантастических, больше рождественских, рассказов. Но Рождество у Сабуровой не православное, скорее лютеранское, или даже языческое, если таковое возможно. Елка и свечи — важнее всенощной; Младенец Христос — только предлог к сказке. А вот нечисть всякая, милая лесная и домовая нечисть — она почти в каждой сказке.

Сказки Сабуровой населены и людьми: принцессами, до того бедными, что им приходится штопать свои чулки; королями, добрыми и злыми, и потерявшими королевство; и больше всего — мудрыми звездочетами и колдуньями, умеющими добрым словом помочь страдающе-

му сердцу. Латыши у нас в Прибалтике считались колдунами, немудрено, что у Сабуровой они (колдуны, конечно) главные действующие лица, которые вмешиваются в дела людей и выпрямляют их зигзагистые пути. Без них пропал бы человек. И конечно, больше всего у Ирины Евгеньевны тоскующих, ищущих и прошедших мимо любви и счастья юношей и девушек.

Принцы, рыцари и маги, простолюдины и нищие — казалось бы, в "Королевстве" не должно быть социальных проблем. Но вот в сказке "Королевский пирог" нищий получает кусок пирога с запеченным в него золотым. Его объявляют королем на этот вечер, надевают корону и мантию. Так радуйся же, несчастный! Но среди общего веселья он рассказывает о холодном и голодном детстве, о безрадостных скитаниях. Он убил радость, погасил свечи на елке и огоньки в глазах принцессы.

Рига разрушена сейчас. В ней царит нынче иной, трезвый, вроде этого нищего, дух. Но в сказках Сабуровой останется навеки жить красавица Рига, старый ганзейский город, копивший легенды и сказания с тринадцатого века. И поэтому прощаешь писательнице, так воспевшей немеркнущую старину, ее немного старомодное презрение к людям, покупающим новые диваны и кресла. К вещам Ирина Сабурова относится нежно. Вещи ведь не мертвые, их "делали руками, головой и не без прикосновения души". Вещи входят в нашу жизнь, живут и старятся с нами. Но нынче вещи не создаются, а делаются, чаще машинами. И поэтому они мертвые. Наше дело оживить их. Ирина Сабурова и опрыскивает живой водой все: вещи, цветы, деревья, ветер... "В замке были башни по углам, чтобы было где ветрам спать". И если срубят на площади старый платан, площадь "осиротеет", как живое тоскующее существо.

На протяжении книги, может быть чаще, чем следует, Ирина Сабурова твердит о необходимости в жизни сказок, о нужности легенд для того, чтобы жить полной жизнью. Читателей Сабуровой нет надобности убеждать в этом. Они понимают правдивость сказки и реальность легенды.

Тамара Петровская

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. Автор-составитель А. М. Гордин. Научный редактор академик М. П. Алексеев. Изд-во "Художник РСФСР". Ленинград. 1974.

Редко приходится видеть среди книг, издаваемых в СССР, столь роскошное издание альбома-книги, напечатанного со вкусом и с весьма обстоятельными статьями А. М. Гордина и А. Н. Савинова, недавно скончавшегося.

210 больших красочных и черных репродукций с картин, акварелей. гравюр и литографий дают прекрасное представление о Петербурге начала 19-го века. Даны репродукции работ художников С. Щедрина, Мартынова, Галактионова, Алексеева. Чернецова, Орловского. Беггрова, Садовникова и ряда иностранных, а также неизвестных мастеров, передававших с любовью водные просторы Невы и ее набережные, мосты через Фонтанку, Мойку и Екатерининский канал. Соборы и церкви, дворцы и площади, парки и окрестности Петербурга всё замечалось внимательными глазами художников. Но это были не пустые улины, а населённые самыми разнообразными людьми: тут видны военные, дамы в модных костюмах и простой народ; видны кареты, извозчики, ломовики. На Невском — по литографиям Садовникова и Иванова 1835 года — можно прочесть вывески магазинов, а на углу Мойки можно заметить кондитерскую Вольфа и Беранже, где Пушкин поджидал в день дуэли своего секунданта Данзаса. На одной из литографий виден строящийся Исаакиевский Собор и то, как поднимают при помоши блоков огромные колонны. На Марсовом поле виден парад 1831 г., на котором среди публики — группа писателей — Пушкин, Жуковский, Крылов и Гнедич.

Ценны сопровождающие этот альбом статьи. Они помогают воскресить "атмосферу" прошлой жизни, дают справки о составе населения, о быте, балах и театрах, с ссылками на свидетельства современников.

Издание альбома явно расчитано на экспорт. Роскошный, тиснёный золотом переплет, меловая бумага. Вызывает удивление, что альбом напечатан в Дании, на острове Борнгольм, в городе Нексе. Подобные издания, очевилно, напечатать в СССР невозможно.

БЕЛЫЕ НОЧИ, сентиментальный роман Ф. М. Достоевского. Рисунки И. Глазунова. Изд-во "Художественная Литература". Москва. 1973.

При знакомстве с книгой естественно вспоминаются прекрасные

иллюстрации к "Белым ночам" М. Добужинского, исключительно тонкие и проникновенные, овеянные духом Петербурга и так отвечающие тексту Достоевского. Сравнение рисунков Глазунова с рисунками Добужинского явно не в пользу Глазунова. В его рисунках нет подлинного знания и чувства Петербурга 1840-х годов. Нарочитая небрежность рисунков, выдаваемая за свободу исполнения, есть, собственно, подделка под свободу, совершенно не убеждающая и фальшивая. Рисунки Глазунова скучны и, что самое главное, — они дурного вкуса, никакого очарования "белых ночей" Петербурга не передающие. Видны не только погрешности в изображении отдельных моментов быта, но и небрежное отношение к самому тексту.

Одно время советская критика выдвигала Глазунова, как одного из ведущих художников. Он не плохой рисовальщик, прошедший академическую школу, но, судя по его иллюстрациям к произведениям гр. А. К. Толстого, он лишен и чувства исторической эпохи и выдержанности стиля.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК А. ПУШКИНА. Гравюры на дереве Ф. Константинова. Изд-во "Детская Литература" Москва. 1975.

Как опасно конкурировать с уже известными иллюстрациями, как надо быть осмотрительным, имея первоклассные рисунки предшественников! Смотря на гравюры Константинова вспоминаются рисунки Александра Бенуа к "Медному Всаднику", в которых столько вдохновенной прелести и вживания в текст Пушкина! Ведь это похоже на то, что современным музыкантам писать заново музыку к "Евгению Онегину", "Борису Годунову" или "Пиковой даме".

Ф. Константинов как будто хочет ошеломить зрителя точкой зрения с птичьего полёта, почему-то им излюбленной. Его гравюры однообразны и тяжеловесны, в них нет взлёта, поэтичности, ни сострадания к герою повести, ни торжественной величественности Петербурга. Перегруженность деталями говорит, как и у Глазунова, об отсутствии вкуса. Спрашиваешь себя: а не лучше ли было бы переиздать "Белые ночи" с рисунками М. Добужинского, а "Медного Всадника" с рисунками А. Бенуа? Ведь эти издания давно распроданы?

Е. Климов

Эммануил ШТЕЙН. ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ: 1920-1977. Издательство 'Ладья'. 1978. 182 стр.

Название этой книжки не может не ввести в заблуждение заочного покупателя или заказчика, который, прочтя объявление о ней, решит что это — книга о русской зарубежной поэзии. Он может, правда, удивиться ее небольшому размеру и скромной (надо надеяться) цене, но может в таком случае подумать, что это — антология избранных призведений русской зарубежной поэзии. На самом деле это ни то и ни другое. Хотя книга и не носит никакого подзаголовка, открыв ее и начав читать предисловие "От составителя", читатель сразу увидит, что задачей г-на Штейна было дать библиографию русской зарубежной поэзии за годы 1920-1977. Скажем сразу: составитель правильно сделал, не решившись назвать свой труд ни "библиографией", ни даже "опытом библиографии", ибо, как библиография, эта книга не выдерживает критики: библиографии так не составляются.

Нет сомнения, что составитель затратил большой труд и много времени на собирание преподносимого им читателю материала. Но это — труд, затраченный более или менее впустую. "Библиографию" эту придется не дополнять, не исправлять, не переделывать, а собирать и готовить наново.

В своем вступлении г-н Штейн зачем-то останавливается довольно долго на выпущенной в 1966 году библиографии покойного советского литературоведа А. К. Тарасенкова "Русские поэты ХХ века: 1900-1955", говоря, что, хотя Тарасенков и "задался целью создать библиографический указатель, который охватывал бы всю русскую поэзию нашего века", он, мол, все равно не мог эту цель осуществить, ибо почти не давал сведений о зарубежных русских поэтах. Как будто этого можно было ожидать от советского литературоведа, даже если он для себя и собирал такие сведения! Но, если отрешиться от этого, библиография Тарасенкова отвечает в основном требованиям, предъявляемым к библиографиям. Г-н Штейн упоминает также гораздо более честолюбивый труд Людмилы Фостер — двухтомную "Библиографию русской зарубежной литературы, 1918-1968" (1970), говоря, что эта работа вызвала ряд справедливых упреков. Пишущий эти строки принадлежал к тем, кто о труде г-жи Фостер дал весьма суровый отзыв в одном американском журнале, хотя почему г-н Штейн считает, что именно поэзия ею "освещена поверхностно, как бы мимоходом", мне, надо признаться, не вполне понятно. Во всяком случае г-жа Фостер, взяв на себя гораздо более трудную, почти непосильную задачу, справилась с ней, при всех недочетах ее работы, гораздо более успешно, чем он.

Главный недостаток работы г-на Штейна не в отдельных пробелах (их, пожалуй, и не так уж много, хотя некоторые сразу бросаются в глаза) и не в отдельных ошибках, а в порочности всей его методологии, в неполноте и непоследовательности библиографических записей, в неоговоренности сокращений (читатель должен, например, сам догадываться, что буквы "н. ф." означают "настоящая фамилия" — там, где дело идет о псевдонимах). В том, как Э Штейн трактует псевдонимы, царит полный хаос. В самом начале книги под заголовком "Анонимные авторы" дано по крайней мере два псевдонима. Набокова мы находим и под Набоковым и под Сириным, причем под Набоковым сказано, что его псевдоним — В. Сирин, и здесь перечислены два ранних сборника его стихов, сборник стихов, выпущенный "Рифмой" в 1952 году, и английский сборник стихов и шахматных задач, в который вошло 39 русских стихотворений и в подлинниках и в переводе. Под Сириным же, где сказано, что его "н. ф." — Набоков, назван один из уже ранее указанных сборников, "Горний путь" (причем сведения не совсем совпадают с тем, что дано раньше, и в обоих случаях в названии ошибка: "Горный" вместо "Горний"), а также сборник "Возвращение Чорба", в который вошли и стихи и рассказы. При этом пользующийся библиографией не узнает, что и "Горний путь", и "Гроздь", и "Возвращение Чорба" вышли под фамилией Сирина. Во многих случаях, когда в скобках указан псевдоним, остается неясным, есть ли это псевдоним, которым автор вообще когда-либо пользовался или это псевдоним, под которым вышло данное призведение. Для пражского поэта Вячеслава Лебедева дан в скобках псевдоним "Виктор Ляпин", но этот Ляпин в книге не фигурирует больше, и не сказано, что под этим псевдонимом стихи Лебедева печатались в "Новом Журнале" после Второй мировой войны, много лет спустя после выхода единственного сборника стихов автора. И вот еще пример: под "Дядя Саша" (о котором я, сознаюсь, никогда не слыхал) мы читаем: "(псевдоним) — см. Александрович А."). А под Александровичем находим указание на то, что его псевдоним — "дядя Саша", а назване его сборника стихов "Стихом по прозе". Но под каким именем был выпущен этот сборник, предоставляется догадываться читателю. Таких примеров небрежной и неудовлетворительной трактовки псевдонимов можно привести очень много.

Или другой и совсем уже недопустимый род ошибок: включение советских или дореволюционных писателей (или изданий). Так, на стр. 36 мы находим интересного советского поэта Константина Вагинова (без имени, только с инициалом, и недавнее зарубежное издание его стихов). А на стр. 50 — дореволюционного поэта Виктора Гофмана, скончавшегося в 1911 году (его стихи были переизданы в Берлине в 1923 г.) Попал в библиографию Штейна и В. В. Гиппиус, никогда в эмиграции не бывший; попал только потому, что его поэма "Лик человеческий" вышла в Берлине в 1922 г. Но там же, в те же годы, вышли и "Сестра моя жизнь" и "Гемы и варьяции" Пастернака и многие другие произведения поэтов, никогда не ставших эмигрантами. И какое отношение к поэзии русского Зарубежья могуть иметь анонимные "Песни мстителя: 1904-1906 гг."? Или составленный Е. А. Ляцким сборник "Русь страждущая. Стихи народные о любви и скорби"? Или вышедший в Нью Иорке в 1943 году сборник "Молодые поэты Советской России"? Или сборник "Мы" (Гель-Авив, 1969), про который прямо сказано, что он переиздан с дореволюционного издания? Таких примеров еще много, особенно в разделе "Альманахи — Антологии — Сборники", где налицо номенклатурная путаница (различие между "альманахом" и "сборником" нигде не определено) и куда попали даже и некоторые журналы (наперекор установленному самим составителем принципу), тогда как такое ценное и важное издание, как "Мосты", именовавшее себя именно альманахом, отсутствует.

В этом же разделе мы находим такие известные английские антологии русской поэзии, как знаменитая Oxford Book of Russian Verse составленная Морисом Бэрингом и Д. П. Святополк-Мирским, или Penguin Book, составленная Д. А. Оболенским. Во вторую из них вошли, правда, некоторые зарубежные русские поэты, но Штейн не указывает какие (что он в некоторых случаях делает). А в первой представлены Бальмонт, Гиппиус и Вячеслав Иванов, но только своими дореволюционными стихами.

Есть у Штейна и еще один перл: как и г-жа Фостер, он включил в свою библиографию Ангела Силезского (т. е. Ангелуса Силезиуса, или немецкого поэта XVII века Иоганна Шефлера). Фостер включила его на основании отметки в числе полученных для отзыва книг в одном из

номеров "Современных Записок", очевидно не зная, кто автор "Двустиший из Херувимского странника". Штейн, включавший в свою библиографию переводы, мог бы включить эту книгу, если бы знал, что перевод сделан русским зарубежным поэтом. Но его запись гласит просто: "СИЛЕЗСКИЙ АНГЕЛ. Избранные двустишия из херувимского странника (до 1926 г.)". Ни имени переводчика, ни какого-либо вообше указания на то, что это — перевод.

Для того, чтобы дать более или менее полный перечень всех ошибок и гафф г-на Штейна, понадобилось бы много страниц. Надо прямо сказать, что в таком виде "библиография" Штейна не заслуживала издания. Задача его была, конечно, нелегкая. Для него она оказалась просто непосильной. В результате перед нами покушение с негодными средствами.

Глеб Струве

К сожалению мы получили от А. И. Солженицына текст его Гарвардской речи, когда эта книга "Н. Ж." была уж в печати. Но считая речь А. И. совершенно исключительной по своему значению, мы не откладываем ее печатанья до сентябрьской книги "Н. Ж.", а даем сейчас. По техническим типографским причинам, к сожалению, мы можем дать речь А. И. только в самом конце книги. И не очень крупным шрифтом, в чем приносим извинения Александру Исаевичу и нашим читателям. Но лучше напечатать эту замечательную речь хоть так, но сейчас (когда к ней проявляется такой интерес), чем через три месяца.

Редакция.

РАСКОЛОТЫЙ МІР

Речь на ассамблее выпускников Гарвардского университета 8 июня 1978

Раскол сегодняшнего міра доступен даже поспешному взгляду. Любой наш современник легко различает две міровые силы, каждая из которых уже способна нацело уничтожить другую. Но понимание раскола часто и ограничивается этим политическим представлением: иллюзией, что опасность может быть устранена удачными дипломатическими переговорами или равновесием вооружённых сил. На самом деле мір расколот и глубже, и отчуждённей, и большим числом трещин, чем это видно первому взгляду — и этот многообразный глубокий раскол грозит всем нам разнообразной же гибелью. По той древней истине, что не может стоять царство — вот, наша Земля — разделившееся в себе.

СОВРЕМЕННЫЕ МІРЫ

Есть понятие "третий мір" и, значит, уже три міра. Но их несомненно больше, мы не доглядываем издали. Всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура, да ещё широкая по земной поверхности, уже составляет самостоятельный мір, полный загадок и неожиданностей для западного мышления. Таковы по меньшему счёту Китай, Индия, Мусульманский мір и Африка, если два последние можно с приближением рассматривать собранно. Такова была тысячу лет Россия — хотя западное мышление с систематической ошибкой отказывало ей в самостоятельности и потому никогда не понимало, как не понимает и сегодня в её коммунистическом плену. И если Ипония в последние десятилетия всё более стала "Дальним Западом", всё тесней примкнула к Западу (судить не берусь), то, например, Израиль я бы не отнёс к западному міру хотя бы по тому решающему обстоятельству, что его государственный строй принципиально связан с религией.

Как ещё сравнительно недавно маленький новоевропейский мірок легко захватывал колонии во всём міре, не только не предвидя серьёзного сопротивления, но обычно презирая какие-либо возможные ценности в міроощущении тех народов! Успех казался ошеломляющим, не знал географических границ. Западное общество развёртывалось как торжество человеческой независимости и могущества. И вдруг в XX веке так ясно обнаружилось, что оно хрупко и обрывчато. И теперь мы видим, каким коротким, шатким оказалось это завоевание (очевидно свидетельствуя и о пороках того западного міросознания, которое на эти завоевания вело). Сейчас соотношение с бывшим колониальным міром обратилось в свою противоположность, и западный мір нередко переходит к крайностям угодливости — однако трудно прогнозировать, как ещё велик будет счёт этих бывших колониальных стран к Западу, и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже всё своё достояние.

конвергенция

Всё же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем, теоретически наивысших, практически наиболее привлекательных; что все те міры только временно удерживаются — злыми правителями или тяжёлыми расстройствами, или варварством и непониманием — от того, чтоб устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни. И страны оцениваются по тому, насколько они успели продвинуться этим путём. Но такое представление выросло, напротив, на западном непонимании сущности остальных міров, на том, что все они ошибочно измеряются западным измерительным прибором. Картина развития планеты мало похожа на это.

Тоска расколотого міра вызвала к жизни и теорию коннергенции между ведущим Западом и Советским Союзом — ласкательную теорию, пренебрегающую, что эти міры друг во друга нисколько не развиваются, и даже непревратимы друг во друга без насилия. А кроме того конвергенция неизбежно включает в себя принятие также и пороков противоположной стороны, что вряд ли кого устраивает.

Если бы сегодняшнюю речь я произносил в своей стране, я, в этой общей схеме раскола міра сосредоточился бы на бедствиях Востока. Но поскольку я уже 4 года вынужденно нахожусь здесь и аудитория передо мною западная, — думаю, будет содержательней сосредоточиться на некоторых чертах современного Запада, как я их вижу.

ПАДЕНИЕ МУЖЕСТВА

- может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мір потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединённых Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и ещё более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, ещё особо иронически оттеняется при внезанных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров - против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осуждённых течений, заведомо не могущих дать отпор. Но коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора.

Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живёт на земле для того, чтоб иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую декларацию независимости). И вот наконец в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое: государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обеспечить его счастье - в том сниженном понимании, как в эти же десятилетия создалось. (Упущена лишь психологическая подробность: постоянное желание иметь ещё больше и лучше и напряжённая борьба за это запечатлеваются на многих западных лицах озабоченностью и даже угнетением, хотя выражения эти принято тщательно скрывать. Это активное напряжённое соревнование захватывает все мысли человека и вовсе не открывает свободного духовного развития.) Обеспечена независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодёжь, звать и готовить её к физическому процветанию, счастью, владенью вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений, - и кто же бы теперь, зачем, почему должен был бы ото всего этого оторваться и рисковать драгоценной своей жизнью в защите блага общего и особенно в том туманном случае, когда безопасность собственного народа надо защищать в далёкой нока стране?

Даже биология знает, что привычка к высоко-благополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску.

ЮРИЦИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму существования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системою законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически — и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически - ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске - это выглядело бы просто нелепо. Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки. (Юридически безупречны нефтяные компании, покупая изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать. Юридически безупречны отравители продуктов, удолжая их сохранность: публике остаётся свобода их не покупать.)

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в

котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. Общество, ставшее на почву закона, но не выше — слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благодетельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими — создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека.

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно.

направление свободы

В сегодняшнем западном обществе открылось неравновесие между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он всё время облешен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага. По сути человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может — ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности.

Напротив, свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например, от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной: все они попали в область свободы и теоретически уравновешиваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась неспособна защитить себя от разъедающего зла.

Что же говорить о тёмных просторах прямой преступности? Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления её, даёт преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов. Немало подобных примеров.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого міра, не несёт в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном со-

ветском обществе. (Под именем уголовных у нас там сидит в лагерях огромное множество людей, но подавляющее их большинство — не преступники, а те, кто против беззаконного государства отстаивали себя неюридическими способами.)

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕССЫ

Широчайшей свободой естественно пользуется и пресса (я употребляю дальше это слово, включая всю media). Но — как?

Опять: лишь бы не перешагнуть юридические рамки, но безо всякой подлинной нравственной ответственности за искажение, за смещение пропорций. Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей? Если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам — известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На этом случае может потерять государство, но журналист всегда выходит сух. Скорее всего он будет теперь с новым апломбом писать противоположное прежнему.

Необходимость дать мгновенную авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирать слухи и предположения, которые потом никогда не опровергнутся, но осядут в памяти масс. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей — и так застывает! Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение и воспитать его извращённо. То создаётся геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом: "все имеют право всё знать" (ложный лозунг ложного века: много выше утерянное право людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздной чепухой. Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном отягощающем потоке информации).

Поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века, более всего и выражена в прессе. Прессе противопоказано войти в глубину проблемы, это не в природе её, она лишь выхватывает сенсационные формулировки.

И при всех этих качествах пресса стала первейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому йзбирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? на какой срок и с какими полномочиями?

И ещё одна неожиданность для человека, пришедшего с тоталитарного Востока, с его строгой унификацией прессы: у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные допустимые границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы, и всё это вместе действует не соревновательно, а унифицированно. Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для

читателей: достаточно выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственным и этому общему направлению.

мода на мысли

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных - и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр. Дух ваших исследователей свободен юридически - но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам, устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно-думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие. В Америке мне приходилось получать письма замечательно умных людей, какого-нибудь профессора дальнего провинциального колледжа, который много способствовал бы освежению и спасению своей страны - но страна не может его услышать: его не подхватит media. Так создаются сильные массовые предубеждения, слепота, опасная в наш динамичный век. Например, иллюзорное понимание современного мірового положения — такой окаменелый панцырь вокруг голов, что через него уже не проникает ничей человеческий голос из 17 'стран Восточной Европы и Восточной Азии - а только проломит его неизбежный лом событий.

Я перечислил несколько черт западной жизни, которые поражают человека, пришедшего в этот мір понову. Размеры и задачи этой речи не позволяют продолжить обзор: как эти особенности западного общества отражаются на таких важных сторонах национального существования, как образование начальное, образование высшее гуманитарное и искусство.

СОШИАЛИЗМ

Почти все признают, что Запад указывает всему міру выгодный экономический путь развития, последнее время сбиваемый, правда, хаотической инфляцией. Но и многие живущие на Западе недовольны своим обществом, презирают его или упрекают, что оно уже не соответствует уровню, к которому созрело человечество. И многих это заставляет колебнуться в сторону ложного и опасного течения социализма.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу. Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть — глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге "Социализм"; скоро 2 года, как она опубликована во Франции — но ещё никто не нашёлся ответить на неё. В близком времени она будет опубликована и в Америке.

НЕ ОБРАЗЕЦ

Но если меня спросят напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашею страною в этом веке — западная система в её нынешнем, духовно-истощённом виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение.

Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы, прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада. Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чём повышение, а в чём и понижение — и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёплому, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой.

И это всё видно глазам многих наблюдателей, изо всех міров нашей планеты. Западный образ существования всё менее имеет перспективу стать ведущим образцом.

Бывают симптоматичные предупреждения, которые посылает история угрожаемому или гибнущему обществу: например, падение искусств или отсутствие великих государственных деятелей. Иногда предупреждения бывают и совсем ощутимыми, вполне прямыми: центр вашей демократии и культуры на несколько часов остаётся без электричества — всего-то, — и сразу же целые толпы американских граждан бросаются грабить и насиловать. Такова толщина плёнки! Такова непрочность общественного строя и отсутствие внутреннего здоровья в нём.

Не когда-то наступит, а уже идёт — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету. В своё решающее наступление уже идёт и давит міровое Зло — а ваши экраны и печатные издания наполнены обязательными улыбками и поднятыми бокалами. В радость — чему?

НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ

Ваши весьма видные деятели, как Джордж Кеннан, говорят: вступая в область большой политики, мы уже не можем пользоваться моральными указателями. Вот так, смешением добра и зла, правоты и неправоты, лучше всего и подготовляется почва для абсолютного торжества абсолютного Зла в міре. Юридическое мышление с какого-то уровня проблем каменит: оно не даёт видеть ни размера, ни смысла событий.

Несмотря на множественность информации — или отчасти именно благодаря ей — западный мір весьма слабо ориентируется в происходящей

действительности. Таковы, например, были анекдотические предсказания некоторых американских экспертов, что Советский Союз найдёт себе в Анголе свой Вьетнам, или что наглые африканские экспедиции Кубы лучше всего умерятся ухаживанием за ней Соединённых Штатов. Таковы ж и советы Кеннана своей стране — приступить к одностороннему разоружению. О, знали бы вы, как хохочут над вашими политическими мудрецами самые молоденькие референты Старой Площади! А уж Фидель Кастро откровенно считает Соединённые Штаты ничтожеством, если, находясь тут рядом, осмеливается бросать свои войска на дальние авантюры.

Но самый жестокий промах произошёл с непониманием вьетнамской войны. Одни искренно хотели, чтоб только скорей прекратилась всякая война, другие мнили, что надо дать простор национальному или коммунистическому самоопределению Вьетнама (или, как особенно наглядно видно сегодня, - Камбоджи). А на самом деле участники американского антивоенного движения оказались соучастниками предательства дальневосточных народов — того геноцида и страданий, которые сегодня там сотрясают 30 миллионов человек. Но эти стоны - слышат ли теперь принципиальные пацифисты? сознают ли сегодня свою ответственность? или предпочитают не слышать? У американского образованного общества сдали нервы — а в результате угроза сильно приблизилась к самим Соединённым Штатам. Но это не сознаётся. Ваш недальновидный политик, подписавший поспешную вьетнамскую капитуляцию, дал Америке вытянуться как будто в беззаботную передышку, — но вот уже усотерённый Вьетнам вырастает перед вами. Маленький Вьетнам был послан вам предупреждением и поводом мобилизовать своё мужество. Но если полновесная Америка потерпела полноценное поражение даже от маленькой коммунистической полу-страны — то на какое устояние Запад может рассчитывать в будущем?

Мне пришлось уже говорить, что в XX веке западная демократия самостоятельно не выиграла ни одной большой войны: каждый раз она загораживалась сильным сухопутным союзником, не придираясь к его міровозрению. Так во 2-й міровой войне против Гитлера, вместо того чтобы выиграть войну собственными силами, которых было конечно достаточно вырастили себе горшего и сильнейшего врага, ибо никогда Гитлер не имел ни столько рессурсов, ни столько людей, ни пробивных идей, ни столько своих сторонников в западном міре, пятую колонну, как Советский Союз. А ныне на Западе уже раздаются голоса: как бы ещё в одном міровом конфликте заслониться против силы — чужою силой, загородиться теперь — Китаем. Однако, никому в міре не пожелаю такого исхода: не говоря, что это — опять роковой союз со Злом, это дало бы Америке лишь некоторую оттяжку, но затём, когда миллиардный Китай обернулся бы с американским оружием — сама Америка была бы отдана нынешнему камбоджийскому геноциду.

^{*} Старая Площадь — резиденция ЦК КПСС, истинное название того места, которое на Западе условно называют Кремлём.

потерянность воли

Но и никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли. При такой душевной расслабленности самое это вооружение становится отягощением капитулянту. Для обороны нужна и готовность умереть, а её мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия. И тогда остаются только уступки, оттяжки и предательства. В позорном Белграде свободные западные дипломаты в слабости уступили тот рубеж, на котором подгнётные члены хельсинкских групп отдают свои жизни.

Западное мышление стало консервативным: только бы сохранялось міровое положение, как оно есть, только бы ничто не менялось. Расслабляющая мечта о статус-кво — признак общества, закончившего своё развитие. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, как перестали принадлежать Западу океаны, и всё стягивается под ним территория земной суши. Две так называемых міровых — а совсем ещё не міровых — войны, состояли в том, что маленький прогрессивный Запад внутри себя уничтожал сам себя и тем подготовил свой конец. Следующая война — не обязательно атомная, я в неё не верю, — может похоронить западную цивилизацию окончательно.

И перед лицом этой опасности — как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как будто преданности ей — настолько потерять волю к защите?!

ГУМАНИЗМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Как сложилось нынешнее невыгодное соотношение? От своего триумфального шествия — каким образом западный мір впал в такую немощь? Были в его развитии губительные переломы, потери взятого курса? Да как будто нет. Запад только прогрессировал и прогрессировал в объявленном социальном направлении, об руку с блистательным техническим Прогрессом. И вдруг оказался в нынешней слабости.

И тогда остаётся искать ошибку в самом корне, в основе мышления Нового Времени. Я имею в виду то господствующее на Западе міросознание, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения, легло в основу всех государственных и общественных наук и может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической автономностью — провозглашённой и проводимой автономностью человека от всякой высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке как о центре существующего.

Сам по себе поворот Возрождения был, очевидно, исторически неизбежен: Средние Века исчернали себя, стали невыносимы деспотическим подавлением физической природы человека в пользу духовной. Но и мы отринулись из Духа в Материю — несоразмерно, непомерно. Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями. За пределами физического благополучия и накопления материальных благ, все другие, более тонкие и высокие, особенности и потребности человека, остались вне

внимания государственных устройств и социальных систем, как если бы человек не имел более высокого смысла жизни. Так и оставлены были сквозняки для зла, которые сегодня и продувают свободно. Сама по себе обнажённая свобода никак не решает всех проблем человеческого существования, а во множестве ставит новые.

Но всё же в ранних демократиях — также и в американской при её рождении, все права признавались за личностью лишь как за Божьим тнорением, то есть свобода вручалась личности условно, в предположении её постоянной религиозной ответственности - таково было наследие предыдущего тысячелетия. Ещё 200 лет назад в Америке — да даже и 50 лет назад, казалось невозможным, чтобы человек получил необузданную свободу просто так, для своих страстей. Однако с тех пор во всех западных странах это ограничение выветрилось, произошло окончательное освобождение от морального наследства христианских веков с их большими запасами то милости, то жертвы, и государственные системы принимали всё более законченный материалистический вид. Запад наконец отстоял права человека и даже с избытком - но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. В самые последние десятилетия этот юридический эгоизм западного міроощущения окончательно достигнут — и мір оказался в жестоком духовном кризисе и политическом тупике. И все технические достижения прославленного Прогресса, вместе и с Космосом, не искупили той моральной нищеты, в которую нпал XX век, и которую нельзя было предположить, глядя даже из XIX-го.

НЕОЖИДАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): "коммунизм есть натурализованный гуманизм".

И это оказалось не совсем лишено смысла: в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенность на социальном построении и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно все словесные клятвы коммунизма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в міросознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока? — но такова логика развития материализма.

Причём, в этом соотношении родства закон таков, что всегда оказывается сильней, привлекательней и победоносней то течение материализма, которое левей и, значит, последовательней. И гуманизм, вполне утерявший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так, в течение минувших веков и особенно последних десятилетий, когда процесс обострился, в міровом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот был вынужден уступать социализму, а социализм не устаивал против коммунизма. Именно потому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая

с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечали его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм идеологически потерял всё, он упал уже до ноля, и ниже ноля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачу устояния против Востока.

ПЕРЕД ПОВОРОТОМ

Я не разбираю случая всемірной военной катастрофы и тех изменений общества, которые она бы вызвала. Но пока мы ежедневно пробуждаемся под спокойным солнцем, мы обязаны вести и ежедневную жизнь. А есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это — катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного сознания.

Мерою всех вещей на Земле оно поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. И вот, ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке её вытаптывает партийный базар, на Западе коммерческий. Вот каков кризис: не то даже страшно, что мір расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь.

Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья — он не был бы рождён и для смерти. Но оттого, что он телесно обречён смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлёб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом весёлого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал её. Неизбежно пересмотреть шкалу распространённых человеческих ценностей и изумиться неправильности её сегодня. Невозможно, чтоб оценка деятельности президента сводилась бы к тому, какова твоя заработная плата и неограничен ли в продаже бензин. Только добровольное воспитание в самих себе светлого самоограничения возвышает людей над материальным потоком міра.

Держаться сегодня за окостеневшие формулы эпохи Просвещения — ретроградство. Эта социальная догматика оставляет нас беспомощными в испытаниях нынешнего века.

Если и минет нас венная гибель, то неизбежно наша жизнь не останется теперешней, чтоб не погибнуть сама по себе. Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек, и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли разнивать её в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

Если не к гибели, то мір подошёл сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению — и потребует от нас духовной вспышки, подъёма на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная.

Этот подъём полобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх.

А. Солженицын

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ГИНЗБУРГ

Биографическая справка

Родился 21 ноября 1936 года, в Москве. В школе увлекался поэзией, театром. Кончив среднюю школу, работал токарем на заводе и одновременно репортёром в газете "Московский комсомолец". В 1956 поступил на вечернее отделение факультета журналистики МГУ. В 1958 — 59, продолжая учиться в университете, работал режиссёром и актёром в драматическом театре города Кимры под Москвой. В 59 — 60 выпустил под своей редакцией 3 номера машинописного литературного журнала "Синтаксис", который, в числе других, включал стихи молодых тогда поэтов Ахмадуллиной и Окуджавы. За издание этого бесцензурного журнала арестован, исключён из университета и осуждён на 2 года лагеря (1960).

В 1966 Александр Гинзбург составил "Белую книгу" максимально полный и объективный сборник документов о деле арестованных и осуждённых писателей Синявского и Даниеля. В связи с этим был арестован в январе 1967 и, после 12 месяцев следствия, приговорён к 5 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. Срок отбывал в лагере в Мордовии и в крытой тюрьме во Владимире, где содержат "особо опасных государственных преступников". Рядом с ним в заключении были осуждённые за веру в Бога, за проявление национальных чувств, за несогласия с подавлением свобод, гарантируемых в конституции. Трагические судьбы этих людей, унижения и одинокое горе их жён, матерей и детей — привели Александра Гинзбурга к решению посвятить свою жизнь помощи невинно страдающим.

В 1972 году А. Гинзбург вышел на свободу, тяжело больным. Ему не разрешили жить в Москве, где жила его жена и мать, а поместили "под надзор" в г. Тарусе Калужской области. (Надзор: жизнь в указанном месте без права уезжать куда бы то ни было, без права появляться в публичных местах, без права покидать свой дом с 8 вечера до утра и с обязанностью регулярно отмечаться в местной милиции.) В 1972 году Александр Гинзбург и Александр Солженицын решили организовать регулярную помощь заключённым современного Архипелага ГУЛага и их семьям. Помощь начала осуществляться в 1973. Немедленно после высылки из СССР в 1974 году А. Солженицын основал в Швейцарии "Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям", главным распорядителем которого на территории СССР стал Александр Гинзбург. Его работа протекала при постоянном всестороннем преследовании властей: ему не давали никакой работы в Тарусе и одновременно препятствовали поездкам в Москву в поисках работы; у него регулярно устраивали обыски, отбирали

медикаменты и теплые вещи, предназначенные заключённым, отбирали адреса их семей. Однако он сумел помочь деньгами, вещами, лекарствами и продуктами: — в 74 году (год основания Фонда) — 120 семьям, в 75 году — 720, в 76-630 семьям.

В 1976 Александр Гинзбург вместе с профессором Орловым основал Московскую группу "Хельсинки". Деятельность этой и других советских групп "Хельсинки" хорошо известна в мире и заслужила столь глубокое уважение, что выдвинута на Нобелевскую премию мира 1978 года.

В феврале 1977 Александр Гинзбург был арестован вновь. В течение следствия по его делу было допрошено небывало большое число свидетелей и было допущено много грубых нарушений уголовно-процессуальных норм, о чём имеются письменные свидетельства у американского адвоката А. Гинзбурга Эдварда Вильямса. Его обвиняют по ст. 70, ч. 2. Ему грозит 10 лет лагерей и крытой тюрьмы ОСОБОГО режима, самого жестокого режима из 4-х, используемых советской карательной системой.

Семья Александра Гинзбурга: 70-летняя тяжело больная мать, уже проведшая 8 с половиной лет в ожидании сына из неволи; жена, взявшая на себя опасную обязанность руководителя Фонда помощи заключённым и находящаяся под постоянной слежкой и давлением властей; двое сыновей, которым в момент ареста отца было 2 и 4 года.

Адрес жены Гинзбурга — Ирина Сергеевна Жолковская-Гинзбург Москва, ул. Волгина, дом 13, квартира 31 телефон: 336 65 40

Адрес матери — Людмила Ильинична Гинзбург Москва, Тёплый Стан, микрорайон 8а, корпус 3-В, квартира 195 телефон: 339 30 53

Эта биографическая справка об А. И. Гинзбурге прислана нам А. И. Солженицыным. В сопроводительном письме Н. Д. Солженицына пишет: "скоро будет над Гинзбургом "суд", получит 10 лет "Особого", что равно смертному приговору с его расстроенным здоровьем". Мы рады напечатать эту краткую биографию замечательного, героического человека Александра Гинзбурга. Редакция

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

АНДРЕЙ СЕДЫХ

"КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ"

Нью-Йорк 1978 (стр. 138)

Цена — 5 дол, (с пересылкой 5 д. 50 ц.) Книготорговцам — обычная скидка.

Заказы направлять по адресу: NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 243 West 56th Street, New York, N.Y. 10019 с приложением стоимости книги и перссылки.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА РОМАНА ГУЛЯ

«Я УНЕС РОССИЮ»

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

Книга охватывает литературную, артистическую, церковную и общественно-политическую жизнь первой, второй и третьей эмиграций с 1920 г.г. по 1970-е г.г. (Берлин, Париж, Ню-Йорк). Даны зарисовки видных русских зарубежных писателей и общественно-политических деятелей: Бунина, Керенского, Зайцева, Церетели, Цветаевой, Степуна, Милюкова, А. Белого, Маклакова, Станкевича, Николаевского, Гучкова, Вишняка, Ключникова, Лукьянова, Абрамовича, Мельгунова, Карповича, Алданова, Г. Иванова, Вейдле, Адамовича и многих других. В книге — около 600 стр., много фотографий, факсимиле и текстов писем к автору. Также даются зарисовки советских писателей, бывших в Европе: Ал. Толстого, Эренбурга, Пильняка, Федина, Сейфуллиной, Никитина, Есенина, Кусикова, Слонимского, Груздева и др.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1978 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1978 год 20 долларов (за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов Во Франции — 20 франков

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон реавкции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня